

IV

A MENTOR BOOK



MT644
75c

AN INTRODUCTION TO
NEW CONCEPTS IN
MODERN PSYCHOLOGY

WOLFGANG KÖHLER

GESTALT PSYCHOLOGY



A DISCUSSION OF BEHAVIORISM.
PSYCHOLOGY AS A YOUNG SCIENCE.
A CRITICISM OF INTROSPECTION.
DYNAMICS AS OPPOSED TO MACHINE THEORY.
SENSORY ORGANIZATION.
THE CHARACTERISTICS OF ORGANIZED ENTITIES.
BEHAVIOR.
ASSOCIATION.
RECALL.
INSIGHT.

PUBLISHED BY THE NEW AMERICAN LIBRARY



THE FRONTIERS OF PSYCHOLOGY

Freud, Jung, Adler, William James, Wertheimer and Wolfgang Köhler . . . these are the modern psychologists who have brought new concepts and new interpretations to the science of psychology.

In this penetrating and thought-provoking study of the Gestalt Theory, Professor Köhler explains how the nervous system gives a unitary answer to the total stimulating situation with which it is confronted at a given time—how we see, feel and hear as an integrated whole rather than as a combination of separate parts.

"Gestalt Psychology's challenge to the Behaviorists opens new roads for advance in the study of human reactions."

—NEW YORK TIMES

"Bids fair to be the most significant and vital point in psychology since William James."

—NEW YORK HERALD TRIBUNE



Wolfgang Köhler

Professor Emeritus of Swarthmore College, from which he received an honorary doctorate in 1959, and Visiting Professor of Psychology at Dartmouth College, WOLFGANG KÖHLER left Germany in 1935 when the Nazis began to interfere with his research. As a student he invented a procedure by which the vibrations of the living eardrum can be registered. A few years later, he began his investigations of anthropoid apes, the results of which he described in *The Mentality of Apes*. He is also the author of *The Place of Value in a World of Facts* and *Dynamics in Psychology*. The revised edition of *Gestalt Psychology*, his best known work, was published in hardcover form by Liveright Publishing Corporation.

DESIGN: HENRY WOLF

PUBLISHED BY THE NEW AMERICAN LIBRARY

GESTALT PSYCHOLOGY

*An Introduction to New Concepts
in Modern Psychology*

DR. WOLFGANG KÖHLER



A MENTOR BOOK

Published by THE NEW AMERICAN LIBRARY,
New York and Toronto
THE NEW ENGLISH LIBRARY LIMITED, London

To MAX WERTHEIMER

COPYRIGHT, 1947, BY LIVERIGHT PUBLISHING CORPORATION

All rights reserved—no part of this book may be reproduced in any form without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review written for inclusion in a magazine or newspaper. For information address Liveright Publishing Corporation, 386 Park Avenue South, New York, New York 10016.

This is an authorized reprint of a hardcover edition published by Liveright Publishing Corporation.

EIGHTH PRINTING

MENTOR TRADEMARK REG. U.S. PAT. OFF. AND FOREIGN COUNTRIES
REGISTERED TRADEMARK—MARCA REGISTRADA
HECHO EN CHICAGO, U.S.A.

MENTOR BOOKS are published *in the United States* by
The New American Library, Inc.,
1301 Avenue of the Americas, New York, New York 10019,
in Canada by The New American Library of Canada Limited,
295 King Street East, Toronto 2, Ontario,
in the United Kingdom by The New English Library Limited,
Barnard's Inn, Holborn, London, E.C. 1, England

PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA

ВОЛЬФГАНГ КЁЛЕР

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ

**ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ ПОНЯТИЯМИ СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ**

Перевод и научная редакция профессора А. А. Алексева

**Санкт- Петербург
2018**

МАКСУ ВЕРТГЕЙМЕРУ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

ВОЛЬФГАНГ КЁЛЕР – ТЕОРЕТИК, ЭКСПЕРИМЕНТАТОР И ПРОПАГАНДИСТ ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ

Вольфганг Кёлер (1887–1967) – выдающийся немецкий психолог, один из основателей гештальтпсихологии наряду с Максом Вертгеймером и Куртом Коффкой. Из богатого научного наследия В. Кёлера на русский язык переведены только три работы: его знаменитая книга «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян» (Кёлер, 1930; переиздана в 1998 г.), фрагмент «Об изоморфизме» (Кёлер, 1980) и статья «Некоторые задачи гештальтпсихологии» (Кёлер, 1980а). Вряд ли стоит удивляться, что в России Кёлер известен большинству как зоопсихолог, а не как крупный теоретик и методолог гештальтпсихологии. Впрочем, и в Америке, как отмечает У. Найссер (Neisser, 2002), несмотря на вполне достаточную представленность его работ на английском языке и активную пропаганду идей гештальтпсихологии в Новом Свете (с этой целью Кёлером и была написана книга *Gestalt Psychology*), Кёлер наиболее известен своими эмпирическими исследованиями решения задач шимпанзе (*The Mentality of Apes*, 1925). Кёлера не могло не беспокоить недостаточное внимание американских психологов к принципам и эмпирическим данным гештальтпсихологии. Впрочем, он не ставил им это в вину, видя возможную причину в том, что достоверность данных и выводов гештальтпсихологии в те годы не всегда соответствовала американским стандартам, а некоторые ее понятия были нестрого определены и трудны для понимания (Köhler, 1959, p. 729). По его словам молодая гештальтпсихология была движима энтузиазмом ее создателей, открытием новых фактов и новых объяснительных принципов, иногда в ущерб строгим методам и доказательствам.

Начало XX века было временем соперничества нарождавшихся и набирающих силу школ в психологии – структурализма Э. Титченера, американского функционализма (Дж. Энджелл, Р. Вудвортс), психоанализа З. Фрейда, бихевиоризма Дж. Уотсона, рефлексорной теории И. П. Павлова. К тому же еще были сильны позиции ассоцианизма и классической интроспективной психологии. Именно в это время возник «тройственный союз» основателей нового направления в психологии, «психологии гештальта» – М. Вертгеймер, К. Коффка и В. Кёлер. Их «союз» не был теоретически монолитным, поскольку Вертгеймер учился в Вюрцбургском университете у Освальда Кюльпе, а Кёлер и Коффка в Берлинском университете у Карла Штумпфа. Однако все трое были немецкими психологами, с интеллектуальными корнями, уходящими в философию Канта и феноменологию Гуссерля (Neisser, 2002). Они считали себя борцами с позитивизмом; как сторонникам гуманистического похода в науку, им приходилось вести непримиримую борьбу против витализма с одной стороны и, как писал Кёлер, против «навевающих скуку» образчиков механистической психологии с другой. Механистичность как результат гиперболизации научной объективности, так манящей психологов в начале XX века, по мнению Кёлера сильно портила репутацию возникшей в ту пору в Америке новой науки о поведении, которой он, в известной степени, симпатизировал. Поэтому в своей «*Gestalt Psychology*», ориентированной, прежде всего на американскую аудиторию, он выбрал в качестве главной мишени для критики именно бихевиоризм. Сопоставляя бихевиоризм с его антиподом, классической интроспективной психологией, Кёлер показывает, что платой за «объективность» метода стала бедность функциональных понятий, грозящая бихевиоризму застою, подобным застою

в интроспективной психологии. Критика Кёлера была конструктивной, он не призывал к полному отказу от методов бихевиоризма. В своем президентском обращении к 67-му ежегодному съезду Американской психологической ассоциации (1959) он призывал американских коллег, стоящих на позициях бихевиоризма, к сотрудничеству: «Бихевиорист убежден, что его функциональные понятия – это именно те понятия, которые мы все должны использовать. Гештальтпсихолог, имеющий дело с большим разнообразием как феноменальных, так и физических понятий, ожидает большего от работы, основанной на таких предпосылках. Обе стороны считают свои процедуры научно обоснованными. Почему мы должны сражаться? Многие эксперименты бихевиористов кажутся мне очень хорошими экспериментами. Могу ли я теперь попросить бихевиористов рассматривать использование некоторых феноменальных фактов, а также физики поля, как совершенно допустимое? Если бы мы сошлись в этих вопросах, то смогли бы, я уверен, прекрасно работать вместе. Это был бы необыкновенный опыт – именно такой, какой и нужен для психологии» (Köhler, 1959, p. 734). Такая позиция Кёлера объясняется, видимо, не только его научными взглядами, но и фактами его биографии. Волею судеб Кёлеру суждено было стать активным пропагандистом гештальтпсихологии на североамериканском континенте.

Вольфганг Кёлер родился 21 января 1887 г. в немецкой семье, жившей в то время в Ревеле (ныне Таллин, Эстония). Семья вернулась в Германию, когда Кёлеру исполнилось шесть лет. Кёлер обучался в трех немецких университетах. В Берлинском университете он изучал физику у Макса Планка и специализировался в области акустики. Там же в 1909 г. он получил докторскую степень за исследование по психоакустике, выполненное под руководством Карла Штумпфа. Не случайно в работах Кёлера, включая и «Gestalt Psychology», сравнительно много иллюстраций из области восприятия музыки, а физика (в ее развитии) выступает своего рода эталоном для психологии. В 1910 г. он переехал во Франкфурт, заняв вакантную должность ассистента по психологии у Фридриха Шумана, и уже через год стал приват-доцентом. Во Франкфурте произошла встреча с Вертгеймером, в экспериментах которого по изучению кажущегося движения Коффка и Кёлер приняли участие не только как испытуемые, но и как партнеры по анализу и интерпретации полученных результатов. Как принято считать, эта судьбоносная встреча положила начало новому направлению в психологии – гештальтпсихологии, а Вертгеймер, Кёлер и Коффка стали его официальными основателями. Они строили планы развития совместных исследований, но эти планы были нарушены неожиданным событием.

В 1913 г. Кёлер был назначен Прусской академией наук директором Центра исследования приматов на о. Тенериф (Канарские о-ва). Все это было нехотенно, в это время у Кёлера не было опыта исследования поведения животных, но согласие нужно было дать срочно, так как у прежнего директора кончался срок договора. Кёлер с семьей прибыл на Тенериф в декабре 1913 г., рассчитывая проработать там год и вернуться в Германию для продолжения исследований в русле гештальтпсихологии. Однако через восемь месяцев началась Первая мировая война, задержавшая Кёлера на Канарах на целых семь лет, на протяжении которых он оставался директором центра до его закрытия в 1920 г.

Результат работы Кёлера на Тенерифе хорошо известен – его научный отчет «Intelligenzprüfungen an Anthropoiden», опубликованный в 1917 г. (в 1921 г. вышло его дополненное издание, «Intelligenzprüfungen an Menschenaffen», с которого сделан перевод в 1925 г. на английский, а в 1930 г. – на русский). Так уж случилось, что именно эта книга стала визитной карточкой Кёлера для психологического сообщества. Однако исследование

интеллекта обезьян не было главным занятием Кёлера в период работы на Тенерифе. Как пишет У. Найссер, почти все его важные эксперименты были завершены в первые шесть месяцев пребывания на острове. Все остальное время было занято работой над совершенно иной книгой, в которой он надеялся заложить прочный научный фундамент гештальтпсихологии (Neisser, 2002, p. 5). Ее название – «Die physische Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand» («Физические гештальты в покое и стационарном состоянии»).

Эту книгу Кёлер издал по возвращении в Германию в 1920 г. Интересно, что в ней он поместил два предисловия: одно для философов и биологов, а другое для физиков. Для психологов у него слов не нашлось, видимо, по причине неверия в их способность понять дифференциальное и интегральное исчисление. Однако главную идею книги легко понять и без погружения в математические премудрости. Кёлер хотел показать, что Gestalten могли встречаться в сугубо физических системах, в том числе и в электрохимических системах, которые, как он предполагал, существуют в головном мозге. После публикации работы Христиана фон Эренфельса «Über Gestaltqualitäten» (1890) термин «гештальт» стал употребляться для обозначения психических феноменов и процессов, типичные качества и эффекты которых не могут быть выведены из соответствующих качеств и эффектов их «частей». Коротко говоря, гештальт – это такое целое, которое больше суммы его частей.

Как отмечает У. Найссер (Neisser, 2002), представленные в этой книге Кёлера иллюстрации и доказательства предвосхитили многие динамические понятия, которые стали «хлебом насущным» для современной когнитивной психологии. Самоорганизующиеся системы, параллельные распределенные сети и состояния аттрактора – все это примеры физических гештальтов. К сожалению, ученые, развивавшие эти новые понятия в 1980-х и 1990-х годах, в большинстве своем не были знакомы с этой стороной работы Кёлера. У. Найссеру удалось найти единственное исключение: Стив Палмер (Stephen Palmer) из Калифорнийского университета в Беркли в своей книге «Vision Science» (1999) ссылается на книгу «Die physische Gestalten...» (Neisser, 2002, p. 6).

Кёлер сетовал на то, что даже после последующих публикаций, в которых популярно излагалось содержание теории физических гештальтов, американские психологи не проявляют должного интереса к этим вопросам, но ничего не мог поделать. Разве что ставил им в пример физиков, которые с момента появления этой теории проявили к ней живой интерес: «Макс Планк как-то сказал мне, что по его ожиданиям наш подход может прояснить трудный вопрос, который только что возник в квантовой физике, – а то и само понятие кванта. Несколько лет спустя Макс Борн, великий физик, который придал квантовой механике ее нынешнюю форму, сделал почти такое же заявление в одной из своих работ. И всего несколько недель назад (1959 г. – А. А.) я прочитал статью, в которой Перси У. Бриджмен из Гарварда интерпретирует знаменитый принцип Гейзенберга в таких терминах, что мне хочется назвать его ‘гештальтфизиком’» (Köhler, 1959, p. 729).

И все-таки было бы несправедливо утверждать, что книга «Die physische Gestalten...» осталась незамеченной психологами. Интерес (и критику) психологов вызвало введенное Кёлером в ее последней главе новое понятие «Pragnanz», – самое расплывчатое и неопределенное из всех понятий гештальтпсихологии. Тем не менее, именно это понятие стало крайне важным как для самого Кёлера, так и для гештальтпсихологии как школы.

Кёлер рассуждал так. Когда динамический процесс достигает устойчивого состояния, то это устойчивое состояние должно как-то отличаться от предшествующих ему неустойчивых состояний. Физические процессы стремятся к минимуму свободной энергии, а

к чему стремятся психические процессы? Будут ли их финальные состояния характеризоваться особой простотой, регулярностью или симметричностью? Кёлер так и не смог остановиться на какой-то из этих характеристик психологического гештальта и придумать для него название. Позже он писал: «Временно мы будем ссылаться на этот неполностью определенный параметр как на ‘тенденцию к установлению более простой структуры гештальта’ или, короче, на [тенденцию к] ‘Pragnanz of the Gestalt’» (цит. по Neisser, 2002, р. 7). Увы, в этом случае оказалась верной фраза «нет ничего более постоянного, чем временное», приписываемая американскому анархисту-либертарианцу Альберту Дж. Ноку. Как вспоминает У. Найссер, когда он принимал участие в «семинаре Кёлера» в Суотморе спустя тридцать лет после публикации «Die physische Gestalten...», то на поставленную Кёлером задачу дать определение «Pragnanz» никто из участников семинара так и не смог предложить ничего полезного (Neisser, 2002).

Зато одно из главных понятий гештальтпсихологии – понятие изоморфизма – Кёлеру удалось здесь четко сформулировать и доступно описать. Согласно принципу психофизического изоморфизма структура сознательного опыта во время восприятия, вспоминания или решения проблем с необходимостью отражает физическую структуру активности в головном мозге. Это не зеркальное отражение; как поясняет Кёлер в книге «Gestalt Psychology»; в общем случае «самостоятельные ‘единицы’ в опыте соответствуют обособленным функциональным ‘единицам’ в связанных с ними физиологических процессах (Köhler, 1929, р. 63). Кёлер сделал больше чем кто-либо другой, чтобы прояснить принцип психофизического изоморфизма как теоретически, так и эмпирически.

1920-е и начало 1930-х гг. были особенно удачными в научной карьере Кёлера. В 1920 г. он возвращается в Германию, в Геттинген, на должность профессора, сменив ушедшего в отставку Г. Мюллера. В 1922 г. Кёлер получает приглашение из Берлинского университета занять пост руководителя психологического института и место профессора философии и психологии на кафедре, которую с 1894 г. возглавлял его учитель К. Штумпф. Считается, что положительную роль здесь сыграла публикация в 1920 г. его книги «Die physische Gestalten...». В Берлинском институте Кёлер развернул широкую программу исследований, которая охватывала психофизику, перцепцию (кажущееся движение) и память.

В 1925/26 учебном году Кёлер по приглашению читал лекции в Гарвардском университете и университете Кларка. Вполне вероятно, что опыт общения с американскими студентами сыграл свою роль в намерении Кёлера написать простую книгу о гештальтпсихологии на английском языке, которая была опубликована в 1929 г. В том же году Кёлер выступил одним из основных докладчиков на IX Международном психологическом конгрессе, который проходил в Йельском университете.

Германия в этот период переживала нелегкие времена: фашистская диктатура быстро набирала силу. В этой атмосфере жить и работать было нелегко, особенно тем, кто не одобрял действия властей. В 1933 г. Кёлер открыто выступил в печати с неодобрением проводимых в университетах национальных чисток. После этого оставаться в Германии было не только бесполезно, но и опасно. В 1934/35 учебном году Кёлер по приглашению поехал читать лекции в Гарвардском университете и больше на родину не возвращался.

В 1935 г. Кёлер занял должность профессора философии и психологии в Суотморском колледже (Пенсильвания) и оставался там до своей отставки (1955 г.).

Американский период деятельности Кёлера был менее продуктивным, чем европейский, особенно в плане развития теории гештальтпсихологии. В Суотморском

колледже Кёлер вместе со своим берлинским ассистентом Хансом Уоллаком (Hans Wallach), тоже перебравшимся в Америку, проводил эксперименты, целью которых было косвенное эмпирическое подтверждение принципа психофизического изоморфизма. В наиболее известных из них изучался феномен последействия фигуры (их результаты кратко изложены в книге *Dynamics in Psychology*, 1940). По мнению У. Найссера (Neisser, 2002), тогда было получено надежное подтверждение последействия фигуры, однако на сегодняшний день нельзя утверждать, что этот феномен лучше всего объясняется гипотезой изоморфизма в формулировке Кёлера. Позднее Кёлер предпринял попытку более прямой проверки своей гипотезы методом регистрации электрических токов с помощью электродов, закрепленных на черепе человека, а также на коре головного мозга кошки. Результаты показали ему обнадеживающими, однако он так и не смог убедительно доказать, что такие токи играют ту ключевую роль, которую приписывает им гипотеза психофизического изоморфизма.

В американский период деятельность Кёлера не ограничивалась исследовательской работой; ему приходилось читать лекции студентам, а также участвовать во многих конференциях и съездах, пропагандируя идеи гештальтпсихологии среди далеко не всегда доброжелательно настроенных американских коллег. Здесь ему и пригодилась написанная еще в 1929 г. в Германии книга «*Gestalt Psychology: An Introduction to New Concepts in Modern Psychology*», которая по праву считается лучшим изложением содержания гештальтпсихологии. По-видимому, высокое качество было не последней причиной ее второго издания в 1947 г., еще при жизни Кёлера. Это издание отличается от первого только несколькими ссылками на публикации, вышедшими после 1929 г. В последующем, уже после смерти Кёлера (1967 г.), книга несколько раз переиздавалась в Америке в разных издательствах – неоспоримое свидетельство ее востребованности в англоязычном психологическом сообществе. Можно без преувеличения сказать, что эта книга идеально подходит для знакомства и нашей аудитории с основными понятиями гештальтпсихологии.

При первом знакомстве с оглавлением «*Gestalt Psychology*» возникает впечатление, что это просто серия очерков по теоретическим и методологическим вопросам психологии. Однако на самом деле это целостный, структурно организованный текст, по жанру и по стилю – легкому, простому, почти разговорному, – ближе всего к курсу лекций для студентов-психологов. Его целостность обеспечивается не только ссылками на последующие главы и обращением в последующих главах к предыдущим. Она присуща этой книге в силу замысла автора и его успешной реализации, – так сказать, по врожденному свойству. «*Gestalt Psychology*» Кёлера – подлинный Gestalt, обладающий его главным качеством, тенденцией к *Pragnanz*. Это тот самый случай, когда целое больше суммы его частей.

Книгу условно можно разделить на три части. В первой части (главы I–IV) обсуждаются общие, теоретико-методологические проблемы психологии, раскрываются основные идеи и принципы гештальтпсихологии, демонстрируются их преимущества в сравнении с бихевиоризмом и классической интроспективной психологией. Вторая часть (главы V–VI) носит более частный характер и посвящена анализу и объяснению с точки зрения гештальтпсихологии ряда перцептивных феноменов, труднообъяснимых в рамках других школ психологии. В третьей части (главы VII–X) в свете гештальтпсихологии рассмотрены четыре важных понятия психологии (поведение, ассоциация, воспоминание и инсайт). Их выбор не случаен, поскольку они играют ключевую роль в теориях научения и поскольку их анализ с точки зрения гештальтпсихологии позволяет увидеть преимущества этого подхода по сравнению с бихевиоризмом и ассоциативной психологией. Чтобы

читателям было легче ориентироваться в расставляемых Кёлером акцентах, нелишне будет дать здесь краткий обзор содержания глав.

Книга начинается с главы «Обсуждение бихевиоризма», что вполне естественно, учитывая время ее написания и ее целевую аудиторию. Если резюмировать ее содержание тремя словами, это «гимн непосредственному опыту». Полюбившаяся Кёлеру феноменология Гуссерля обнаруживает себя уже с первой строчки: «...у психологии есть единственная отправная точка, равно как и у всех прочих наук: мир, каким мы встречаем его, – безыскусно и некритически» (Köhler, 1947, p. 3).

За свою многовековую историю естественные науки далеко ушли от этой отправной точки, открыв существование объективной реальности, обладающей, в отличие от субъективного опыта, воспроизводимыми, (почти) непротиворечивыми свойствами. Психология, находящаяся по сравнению с ними в младенческом возрасте, остается в самом начале этого пути. Какое-то время психологию считали наукой о непосредственном опыте, его внешних и внутренних аспектах, противопоставляемых физическим объектам и явлениям. Через описание непосредственного опыта психолог надеялся получить не только упорядоченный обзор всех его разновидностей, но также многое узнать о функциональных отношениях между этими фактами. Такое понимание психологии была подвергнуто жесткой критике со стороны новой психологической школы – бихевиоризма, который отвергает и предмет, и цель психологии в старом смысле как негодные. Бихевиористы предлагают следовать примеру физики. Во многом соглашаясь с критикой бихевиористов, Кёлер убедительно показывает, что их отказ от изучения непосредственного (объективного, хотя и являющегося генетически субъективным) опыта, которым и физика никогда не пренебрегала, ведет в тот же тупик, в который зашла интроспективная психология, разрушавшая этот опыт своей процедурой. И в том, и в другом случае содержание психологии как науки чрезвычайно обедняется.

Вторая глава – «Психология как молодая наука» – посвящена поискам ответа на вопрос, почему физика, до сих пор имеющая дело с непосредственным опытом как исходным материалом для выдвижения гипотез и постановки экспериментов, значительно опережает в своем развитии психологию, которая также имеет дело с непосредственным опытом. И что можно сделать, чтобы добиться аналогичных успехов в психологии?

В общем виде рецепт Кёлера звучит так: «Если мы хотим брать пример с естественных наук, мы не должны подражать им в их высокоразвитой современной форме. Скорее мы должны подражать им в их исторической молодости, когда их состояние развития было сопоставимо с нашим собственным в настоящее время. В противном случае мы будем вести себя как мальчики, которые пытаются копировать импозантные манеры взрослых мужчин, не понимая их *raison d'être*» (Köhler, 1947, p. 42).

Из этого следует, что в психологии не стоит пытаться всегда и везде применять косвенные количественные измерения, которыми пользуется современная физика, хотя и отказываться от них было бы неразумно. По мнению Кёлера вряд ли можно преувеличить ценность качественной информации как необходимого дополнения к количественному исследованию и в физике, и особенно в психологии. Измерение, чрезвычайно плодотворное как усовершенствование предыдущего качественного наблюдения, может легко стать мертвой рутинной без понимания природы измеряемого явления. В качестве примера Кёлер приводит Фехнера, который, будучи убежден, что измерение как таковое способно сделать из психологии науку, был первым, кто копировал взрослую физику, когда психология едва

родилась. В результате тысячи количественных психофизических экспериментов были проведены почти напрасно.

Прямые наблюдения нужны физике и психологии не только для развития количественных методов, но и для расширения предметного поля науки, поиска новых функций, для объяснения которых ученые выдвигают гипотезы, доступные проверке в экспериментах. Хорошая гипотеза столь же важна для прогресса науки, как наблюдение и измерение. Бихевиоризм же, претендующий на роль передового направления психологии, по мнению Кёлера, крайне беден гипотезами. Стремясь подражать естественным наукам и исключив непосредственный опыт из своей программы, он также исключил все богатство функциональных понятий, которые физическая наука, выступающая в роли его идеала, предложила для рассмотрения и выбора. В его арсенале остались только рефлексы и условные рефлексы. Как пишет Кёлер: «...некоторые простые физические системы гораздо богаче по разнообразию своих функций, чем нервная система человека в глазах бихевиориста. Конечно, никому еще не удалось выработать условный рефлекс у мыльного пузыря. Тем не менее, по своим функциональным характеристикам... мыльный пузырь явно превосходит организм, каким он выглядит в глазах бихевиориста» (Köhler, 1947, p. 53).

Расширение круга функциональных понятий стимулирует гипотетическое мышление. Поведение зависит как от внешних условий, так и от динамики организма. Поскольку внутренняя часть живой системы пока еще не доступна для наблюдения, задачей психологов будет выдвижение гипотез о происходящих событиях в промежутке между стимуляцией и реакцией. Реакцию живого организма невозможно понять только на основе периферической стимуляции. Те, кто знаком с историей физики, наверняка согласятся, что задача поиска плодотворных гипотез о скрытых antecedентах поведения является, возможно, самой важной из всех задач. По Кёлеру от ее успешного решения может зависеть все будущее психологии. Очевидно, что если характеристики сопутствующих физиологических процессов должны выводиться логическим путем из характеристик непосредственного опыта, психологам необходим руководящий принцип, который направлял бы этот переход от психологии к физиологии. В качестве такового Кёлер предлагает принцип психофизического изоморфизма, описание которого завершает эту главу.

Название третьей главы – «Критика интроспекции» – говорит само за себя. Кёлер крайне негативно относился к методу интроспекции и считал ее процедурой, посредством которой искусственная система психологии защищает себя от революции, отбрасывая особенно интересные наблюдения как артефакты. Интроспекция рассматривается здесь как общая установка исследователя, безотносительно к конкретным школам психологии.

Интроспекционисты заявляют, что среди подлинных сенсорных данных не может быть ничего похожего на объекты. Объекты существуют для нас только тогда, когда чувственный опыт наполняется смыслом, благодаря обучению (стихийному и организованному). Поэтому в психологии надо стараться игнорировать смысловое содержание опыта и сосредоточиваться исключительно на актуальных ощущениях. Для этого и была придумана специальная процедура – интроспекция.

Как пишет Кёлер: «С той поры как с опытом случилось несчастье быть так интерпретированным, его существование интересует их (интроспекционистов – А. А.) не больше, чем предмет астрономии. Это означает, что большая часть объективного опыта фактически не играет никакой роли в психологии интроспекциониста» (Köhler, 1947, p. 84).

Так или иначе, в обыденной жизни мы имеем дело почти исключительно с непосредственным объективным опытом. И его нельзя просто так отправить в мусорную корзину психологии. Выхолощенное содержание интроспективной психологии привело к восстанию психологов. Ведь бихевиоризм возник именно как реакция на интроспекционизм.

Что же заставляет интроспекционистов защищать свою территорию, населенную «чистыми» ощущениями? Кёлер показывает, что процедура и результаты интроспекции отстаиваются ими из-за соответствия постулату об отношении между стимуляцией и сенсорным опытом, сформулированному еще в старой физиологии органов чувств. В общей форме этот постулат звучит так: «подлинные сенсорные факты – это локальные феномены, которые зависят от локальной стимуляции, а вовсе не от стимулирующих состояний в их окружении» (Köhler, 1947, pp. 94–95).

Кёлер вскрывает здесь далеко не очевидное сходство базовых физиологических предпосылок интроспективной психологии и бихевиоризма, претендующего на роль новаторской школы. Главной характеристикой рефлекторного действия бихевиористы считают распространение нервных импульсов от рецептора по установленным путям к установленным центрам, а от них по дальнейшим установленным путям к эффекторному органу. Таким образом, порядок функции в известной степени предписан рефлекторной дугой; однако на более высоком уровне нервной системы связи могут создаваться (или блокироваться) другим фактором. Этот другой фактор есть не что иное, как обусловливание.

В интроспекционизме же признается, что, во-первых, локальное ощущение зависит только от локальной стимуляции и не зависит от других процессов в нервной системе, даже если они исходят из смежных частей того же органа чувств. Единственное объяснение этой автономности локального ощущения – предположение о проведении нервных процессов по изолированным путям из одной точки органа чувств в одну точку мозга, где активность сопровождается чувственным опытом. Таким образом, в отношении первой половины рефлекторной дуги интроспекционизм и бихевиоризм полностью сходятся во взглядах.

Если же опыт, как это часто бывает, не подчиняется этому принципу, на помощь призывается второй принцип. На более высоких уровнях нервной системы связи, которые изначально не существовали, могут еще формироваться и в ходе индивидуального развития. Как следствие, некоторые переживания будут регулярно сопровождаться другими, особенно в форме вспоминания, которое добавляет свой материал к этим переживаниям. По существу этот принцип совпадает с принципом обусловливания, поскольку в обоих случаях основным является формирование новых связей. Следовательно, и здесь не обнаруживается никакой реальной разницы между интроспекционизмом и бихевиоризмом.

Поэтому Кёлер не видит, почему следует отдавать предпочтение интроспекционизму перед бихевиоризмом. Он завершает эту главу так: «В своих фундаментальных понятиях эти две школы настолько похожи, что все их споры напоминают мне беспричинные ссоры в семье. В любом случае, принципиальные вопросы гештальтпсихологии относятся к проблеме, которая никогда не упоминается в их дискуссиях, потому что для этих школ она пока еще не существует: верно ли, что процессы, лежащие в основе опыта и поведения, зависят от связей между нервными путями, и что изменения проводимости этих связей составляет развитие индивидуума?» (Köhler, 1947, pp. 98–99).

В четвертой главе – «Динамика в противоположность механистической теории» – Кёлер рассматривает проблему, сформулированную им в последнем абзаце третьей главы.

Согласно Кёлеру, если наблюдаемые факты объективного опыта (феномены константности, стробоскопическое движение, перцептивные иллюзии и т. д.) принимать за чистую монету, то наши базовые предположения о процессах, лежащих в основе такого опыта, должны быть прямо противоположными по отношению к предпосылкам интроспекционизма и бихевиоризма. «Наша точка зрения, – пишет Кёлер, – будет заключаться в том, что вместо реагирования на локальные стимулы локальными и взаимно независимыми событиями организм отвечает на паттерн стимулов, воздействию которого он подвергается; и что этот ответ является унитарным процессом, функциональным целым, которое дано в нашем опыте в виде сенсорной сцены, а не мозаики локальных ощущений» (Köhler, 1947, p. 103).

В поисках причин устойчивости традиционных взглядов Кёлер обращается к истории науки. С первых дней европейской науки люди считали, что слепые силы природы никогда не производят порядок, порождая лишь хаос и разрушения. Наука того времени смогла сформулировать ряд законов, которым следуют изолированные процессы, но изначально предполагала, что одновременное действие множества факторов производит лишь хаос.

Впрочем, жизненный опыт подсказывал людям, что хаос можно предотвратить, а порядок обеспечить, если ввести извне надлежащий контроль над действующими факторами. Уменьшая число степеней свободы, можно заставить силы природы выполнять организованную работу. Навязывание своей воли природе люди считали единственным способом придать порядок физическим событиям; такого понимания природы они придерживались тысячелетиями. Как замечает Кёлер, и в наши дни мы все еще навязываем порядок природе таким же манером, конструируя и эксплуатируя машины. В таких машинах природе позволено вызывать движение, но его форма и порядок предписаны анатомией машин, которой их снабдил человек, а вовсе не природа.

На заре своего существования наука была склонна предполагать существование специальных ограничивающих устройств (конфигураций, структур и т. д.) при обнаружении того, что в неживой или живой природе распределение процессов следует строго организованному порядку. Аристотелевская астрономия и декартова биология – хорошие тому примеры. По мнению Кёлера, если физике удалось добиться прогресса в понимании природы, то современная ему биология и психология не далеко ушли от подобных взглядов.

В физической системе события определяются двумя группами факторов. К первой группе относятся силы и другие факторы, присущие некоторым процессам данной системы. Эти силы и факторы Кёлер называет *динамическими* детерминантами ее судьбы. Во вторую группу он включает характеристики данной системы, которые подвергают ее процессы воздействию ограничивающих условий. Их он называет *топографическими* детерминантами.

Динамические факторы работают во всех системах природы, влияние особых топографических условий может быть минимальным в одном случае и господствующим в другом. Предельное соотношение между динамическими факторами и наложенными топографическими условиями практически полностью реализуется в типичных машинах. Общий принцип везде одинаков: мы не строим машин, в которых динамические факторы являются главными детерминантами их формы работы.

Подобную машину представлял себе Аристотель, объясняя порядок движений небесных тел (его «сферы» и есть топографические условия порядка). Со времен Декарта неврологи прибегали к подобным предположениям всякий раз, когда нервная функция у животных и человека обнаруживала поразительный порядок. Предположение об особых

анатомических условиях стало само собой разумеющимся во всех случаях, когда нервная система демонстрировала упорядоченное поведение.

При таких обстоятельствах, замечает Кёлер, не вызывает удивления, что и интроспекционисты, и бихевиористы работают с предпосылками, в которых машинный тип функции молчаливо принимается как должное. Он пишет: «Так же как поезд остается на рельсах, потому что они представляют собой путь наименьшего сопротивления, и так же как огромная мощность локомотива не имеет никакого влияния на направление его движения, так и порядок в ассоциациях и воспоминании – это только вопрос проводящих путей, а природа процессов, которые распространяются по этим путям, не имеет никакого влияния на их течение» (Köhler, 1947, p. 112).

Однако за пределами узкого мира созданных руками человека машин существует множество других физических и биологических систем, в которых направление процессов далеко не полностью определяется топографическими конструкциями. На подборке примеров из физики и психологии Кёлер убедительно показывает главную роль «характеристик во взаимосвязи» в организации физических и сенсорных полей. Здесь он вводит понятие «организация чувственного опыта» – термин, указывающий на то, что у сенсорных полей есть, в известном смысле, своя собственная «социальная психология»: мы реально воспринимаем конкретные объекты и группировки, членами которых эти объекты являются. Это доказательство работы процессов, в которых содержание отдельных областей объединяется, оставаясь в то же время относительно отделенным от своего окружения.

Как известно из физики, пока динамика не нарушается случайными воздействиями извне, она имеет тенденцию приводить к упорядоченным распределениям. «Динамическое самораспределение в таком понимании, – пишет Кёлер, – это именно та функция, которую гештальтпсихология считает совершенно необходимой для неврологической и психологической теории. В частности, предполагается, что порядок фактов в зрительном поле с высокой степенью вероятности является итогом такого самораспределения процессов» (Köhler, 1947, pp. 132–133).

В следующих двух главах с этих позиций рассматривается организация чувственного опыта и обсуждаются дополнительные факты в пользу обоснованности динамических понятий гештальтпсихологии.

Пятая глава – «Сенсорная организация» – начинается с утверждения, что любое динамическое распределение представляет собой функциональное целое.

Значение динамических понятий для психологии Кёлер показывает преимущественно через критический анализ взглядов эмпиристов, начав с У. Джеймса, считавшего, что организация зрительного поля не является сенсорным фактом и что первичный чувственный опыт равномерно непрерывен, а все разрывы, края и границы позднее привносятся в сенсорное поле по прагматическим соображениям.

По мнению Кёлера такое утверждение не соответствует фактам. Несмотря на общую динамическую взаимозависимость на всей площади поля, в нем существуют границы, на которых действие динамических факторов ведет к увеличению степени изоляции (выделения из фона), а не к поддержанию равномерной непрерывности. Хорошие примеры в подтверждение этого можно найти в физике. Разумно предположить, что то же самое происходит и в нервной системе.

Зрительное поле демонстрирует два вида порядка. Один его вид – это порядок, которым занимается механистическая теория (пресловутая «мозаичная гипотеза»). Однако в

большинстве зрительных полей есть и другой порядок: содержания определенных областей “принадлежат друг другу” как контурированные единицы, отделенные от их окрестностей. Джеймс не соглашался, что такой порядок является сенсорным фактом, потому что находился под влиянием своих эмпиристских предубеждений. Нигде эти предубеждения, считает Кёлер, не вредят так, как при рассмотрении данного вопроса.

Отсылка к предшествующему знанию об объектах как причине выделения «единиц» в сенсорном поле не имеет под собой достаточных оснований. «Гештальтпсихология утверждает, что именно первоначальное выделение контурированных целых позволяет сенсорному миру представлять перед взрослыми людьми настолько наполненным смыслами, насколько это вообще возможно» (Köhler, 1947, p. 139).

Используя подборку наглядных примеров и описание классических экспериментов Матильды Герц с сойками, Кёлер раскрывает принципы спонтанной группировки дискретных объектов в сенсорных полях (внешнее сходство, пространственная и временная близость и т. д.). Те же факторы оказывают объединяющее влияние в случае непрерывных областей, причем независимо от того, репрезентируют ли они знакомые объекты или нет. Однако группы, состоящие из отдельных элементов, представляют особый интерес для теории в виду того, что они подтверждают важный факт: данная “единица” может быть выделена и, тем не менее, оставаться частью большей “единицы”.

В этой главе Кёлер поднимает два важных вопроса, на которые у гештальтпсихологии есть принципиальные ответы. Первый вопрос заключается в том, существует ли таинственная гармония между законами сенсорной динамики и тем, как физические объекты образуются в природе? Келер считает, что такое предположение было бы необоснованным, так как существует огромное множество исключений из соответствия сенсорной организации и физических фактов. Не только группы, но и континуальные сенсорные целостности могут появляться в отсутствие соответствующих физических единиц. Известные всем примеры – загадочные картинки в журналах и армейский камуфляж.

И все же воспринимаемые зрением “единицы”, по крайней мере, имеют тенденцию соответствовать физическим объектам. У Кёлера есть простое объяснение этому. Окружающие нас объекты либо сделаны человеком, либо являются продуктами природы. Рукотворные объекты изготавливаются для наших практических целей. И, естественно, мы придаем им формы и создаем поверхности, способствующие тому, чтобы они воспринимались и распознавались как “единицы”. Что касается объектов, которые произвела природа, ситуация мало чем отличается. Условие, которое выполняется для многих объектов природы, таково: в пределах области, занимаемой объектом, свойства его поверхности, как правило, более или менее однородны, тогда как поверхности соседних областей почти всегда имеют свойства другого рода. Вдоль границы между природным объектом и его окружающей средой обычно будет существовать некоторая неоднородность свойств, которой вполне достаточно для выделения и обособления объекта в сенсорном поле.

Второй вопрос состоит в том, обладает ли производимая нервной системой сенсорная организация какой-то объективной ценностью? Он вызван тем, что из-за неправильного понимания принципа изоморфизма встречается в корне неверное представление, будто «Gestalten» существуют вне организма и просто переносятся в нервную систему. С точки зрения гештальтпсихологии сенсорная организация производится нервной системой, а вовсе не привносится в нее извне.

Кёлер дает ответ на этот вопрос на примере зрительной перцепции. Световые волны как таковые не содержат ни малейшего указания на то обстоятельство, что некоторые из них отражаются частями одного физического объекта, а другие – объектами в его окружении. Каждый элемент физической поверхности отражает свет независимо; и в этом отношении два элемента поверхности объекта не более связаны друг с другом, чем один из них с элементом поверхности окружения этого объекта. В отраженном свете не остается ни малейшего следа “единиц”, которые фактически существуют в физическом мире. Следовательно, когда речь идет о стимуляции сетчатки, нет никаких оснований говорить ни об организации, ни о выделении и обособлении конкретных “единиц” или групп в ретинальном изображении. Однако физиологи и психологи склонны говорить о ретинальном процессе, который соответствует объекту, как если бы стимуляция в границах области ретинального объекта составляла выделенную “единицу”. Такое приписывание характеристик чувственного опыта мозаике раздражителей Кёлер называет *ошибкой опыта*, которая, по его мнению, приносит вреда не меньше, чем известная всем ошибка стимула. Только осознание этой ошибки позволяет увидеть огромную биологическую ценность сенсорной организации. В бесчисленных случаях организация означает воссоздание таких аспектов физических ситуаций, которые теряются в волновых сообщениях, воздействующих на сетчатку. Если бы сенсорное поле состояло из взаимно независимых сенсорных гранул, человеку было бы трудно ориентироваться в такой среде. Вряд ли будет преувеличением сказать, что сенсорная организация биологически гораздо важнее, чем специфические сенсорные качества, которые возникают в зрительном поле.

Учитывая это, не трудно понять, почему формула «стимул–реакция», которая поначалу звучит так привлекательно, в действительности вводит в заблуждение. Как считает Кёлер, своей привлекательностью она обязана нестрогости употреблению термина «стимул». Когда этот термин употребляется в строгом смысле, то это обычно не тот “стимул”, который вызывает реакцию. Даже самая первая реакция организма зависит от организации поля. По Кёлеру правильная психологическая формула такова: «паттерн стимуляции – организация – реакция на продукты организации». Когда «стимулом» называют «корм» или «мышь», этот оборот речи может быть безвредным, если употребляется как сокращенное наименование; однако если его употребление вызвано «ошибкой опыта», последствия могут быть самыми неблагоприятными.

В заключение Кёлер отмечает, что одна из главных задач гештальтпсихологии состоит в том, чтобы показать подлинные, а не какие-либо фиктивные части целых. Анализ в единицах подлинных частей является совершенно оправданной и необходимой процедурой в гештальтпсихологии. И конечно, в этом виде, он более продуктивен, чем любой анализ в единицах локальных ощущений, которые как таковые, безусловно, не являются подлинными частями визуальных ситуаций.

В шестой главе – «Характеристики организованных данностей» – на примере «качеств Эренфельса», в частности “Gestaltqualitäten” (самого важного качества, по мнению Христиана фон Эренфельса), раскрывается главная роль динамического распределения и регулирования в возникновении этих специфических эффектов в сенсорном поле. Используя графические иллюстрации и факты из психологии восприятия (Э. Рубин, К. Готтшальдт) и зоопсихологии (М. Герц, К. Лешли), Кёлер показывает, что эти качественные характеристики перцепции носят транслокальный характер. Они никогда не вызываются сугубо локальной стимуляцией *per se*; именно «близость» (пространственная и временная) ряда отдельных стимулов

выступает условием возникновения таких специфических эффектов в сенсорном поле, как твердость/рыхлость, мутность/прозрачность, грубость/гладкость и т. д. Общее определение термина «Gestalt» делает его применимым и к характерным особенностям слухового восприятия, например, к “мажорному” или “минорному” ладу мелодии. Движения как визуальные факты имеют «Gestaltqualitäten», которые одновременно являются темпоральными и пространственными. Примерами могут служить формы танцевальных движений людей и характерные движения животных, такие как “прыгание” или “ползание”.

Из приведенных Кёлером фактов с очевидностью следует, что ни интеллектуальное усилие, ни прошлый опыт не являются причинными факторами рассматриваемых транслокальных феноменов. Разумеется, те или иные конкретные данности, с их формами, легко и быстро приобретают смысловые значения. Но когда это происходит, эти данности представляются первыми, а значения за такими оформленными вещами закрепляются позднее. «Мне не известны какие-либо факты, – пишет Кёлер, – показывающие, что, наоборот, научение создает вещи и формы (Köhler, 1947, p. 192).

Анализируя отношение «фигура/фон» и явление «транспонирования», Кёлер приходит к выводу об универсальном характере процессов динамического самораспределения и применимости функциональных, динамических понятий гештальтпсихологии во всех сферах человеческого опыта, включая процессы научения, вспоминания, стремления, эмоционального отношения, мышления, действия и т. д. Так, транспонирование даже более характерно для слухового восприятия, чем для зрительного (в теории музыки есть даже специальный термин – транспозиция). Его универсальность – следствие универсальности динамического самораспределения, происходящего и в живой, и в неживой природе. Простой пример транспонирования в физической системе – электрический ток, который течет через проводник определенной формы, такой как электролит, заполняющий сосуд соответствующей формы. Сила тока не влияет на его распределение. Распределение тока не меняется и в том случае, если вместо одних ионов, таких как Na и Cl, электрические заряды несут ионы K и Br или любые другие (Köhler, 1947, p. 201).

В заключение Кёлер затрагивает особо нелюбимую бихевиористами тему речи. Он показывает, что локализованные состояния, в простейшем случае пары как «единицы», которые в нашем опыте образуются вследствие процессов динамической организации, обнаруживают себя в словах обыденного языка. Люди обычно не осознают, что значение многих слов выходит за пределы локальных фактов, с которыми они могут казаться связанными. Кёлер показывает их отнесенность к более крупным целостностям на примере разных частей речи: существительных, прилагательных, глаголов и т. д. Он отмечает, что это касается не только слов, указывающих на сенсорные факты. Референтами могут быть мелодии, занятия других людей, как они даны в нашем восприятии, или мыслительные процессы, которые идут своим ходом в голове человека. По существу, значения таких слов остаются одними и теми же во всех сферах опыта, ибо основные фазы организации не ограничиваются какими-либо особыми областями, – еще одно свидетельство валидности и объяснительной силы динамических понятий гештальтпсихологии.

Седьмая глава – «Поведение» – посвящена поискам ответа на вопрос, может ли поведение человека, в том виде как оно воспринимается другими, иметь сходство с психическими процессами этого человека? Этот вопрос крайне важен и для методологии общей психологии, и для социальной психологии в частности. Важен он и для понимания содержания оставшихся глав, поэтому следует подробнее остановиться на его обсуждении.

Поиски ответа на него Кёлер начинает с другого вопроса: как могут вещи выглядеть находящимися вне нас, когда на самом деле они локализируются в нашем внутреннем мире?

Все данное нам в опыте имеет функциональную основу или, иначе говоря, зависит от реальных физических событий. Ограничивая для простоты область анализа зрительным полем, Кёлер пишет, что все характеристики этого поля связаны с физиологическими событиями в головном мозге и что относительное положение данных в нашем перцептивном опыте объектов зависит от порядка в процессах, составляющих их физиологическую основу. Однако простое геометрическое расположение этих процессов не может быть коррелятом видимого пространственного порядка. В качестве такого коррелята лучше выбрать динамические отношения между частями нервного процесса, которые сохраняют эти части такими, какие они есть. Эти отношения непрерывно распространяются по всему процессу, и именно их «функциональная геометрия», предположительно, изоморфно связана с пространственными характеристиками перцептивных полей. К такому выбору Кёлера подталкивает физика поля, в частности понятие «процессов-в-распространении», позволяющее толковать распространенное состояние функции как «единицу». «Относительное положение процессов» всегда следует понимать как функциональное, а не как геометрическое (имеющее лишь вторичное значение).

Кёлер поясняет свои общие положения на простом примере. В зрительном опыте карандаш занимает внешнее положение относительно книги и лежит на некотором расстоянии от нее. При этих условиях в головном мозге имеют место два локальных процесса: один соответствует карандашу, а другой – книге. Эти процессы происходят в разных местах зрительной области мозга, а функциональные отношения между ними являются отношениями, которые отражают определенное функциональное расстояние. Наша рука, берущая карандаш, появляется в том же зрительном поле. Этот зримый объект является внешним относительно карандаша и книги в зрительном опыте, и соответствующий процесс в головном мозге должен быть внешним по отношению к процессам, соответствующим карандашу и книге, – как геометрически, так и функционально. Поэтому пространственное отношение между рукой и карандашом или книгой должно рассматриваться так же, как пространственное отношение между этими двумя вещами. В нашем мозге как физической системе происходят процессы, соответствующие частям нас самих, так же как и другие процессы, которые соответствуют внешним объектам. Кроме того, мозговые процессы, которые лежат в основе воспринимаемых книги, карандаша и всех других объектов вокруг нас, должны быть внешними по отношению к процессам, которые лежат в основе воспринимаемой зрением руки.

Кёлер полагает, что в принципе это можно считать решением данной проблемы. Наше тело как опыт – в обыденной речи мы часто называем его «Я» – без преувеличения является зримой вещью в том смысле, в котором карандаш или книга являются такими вещами. Так же как эти последние вещи выглядят внешними относительно друг друга, так и «Я» зрительно предстает внешним по отношению к ним, и наоборот. Таким образом, не нужна никакая особая гипотеза, чтобы объяснить, почему мы зрительно занимаем внешнюю позицию относительно таких объектов, а они выглядят внешними по отношению к нам. Обычно люди не осознают этого лишь потому, что они не проводят различия между телом как перцептуальным опытом и организмом как физической системой, который, как таковой, никогда не появляется ни в каком опыте. Во избежание путаницы Кёлер предлагает первое

называть “телом”, а термин “организм” закрепить за физической системой, которую исследуют анатомы и физиологи.

Ситуация не изменяется, если мы рассматриваем не только факты зрительного опыта, но и другие переживания. Все эти переживания локализуются в одном перцептивном пространстве. Более конкретно, все они получают локализацию относительно визуальных фактов. Так, голос может быть слышан как звучащий за окном, а комната как зрительная сцена может содержать запах сигареты. То, что все сенсорные переживания появляются в общем пространстве можно объяснить несколькими способами. Кёлер не отбрасывает в этом случае нативистские и эмпиристские объяснения, но напоминает и свое: с точки зрения гештальтпсихологии в самом раннем детстве переживания различных сенсорных модальностей могли быть более или менее адекватно объединены в одном пространстве по динамическим причинам.

В целом, данные незрительного опыта адекватно локализуются относительно зрительных феноменов. Из этого следует, что если внешняя локализация зримых объектов не составляет для нас проблему, то же самое должно оставаться в силе для всех случаев, в которых факты незрительного опыта появляются вне нас самих.

Следующий вопрос Кёлера: как такое возможно, что мы приписываем другим переживания более или менее похожие на те, которые есть у нас? Этот вопрос относится к фундаментальному факту социальной психологии – факту загадочному, ибо иногда другие люди распознают наши переживания извне более ясно, чем мы можем “увидеть” их изнутри.

Кёлер считает, что язык нам в этом деле не помощник. В чужой стране мы часто и без труда распознаем, что другие ведут себя вызывающе или любезно, хотя их язык может быть нам совершенно неизвестен. И поведение обезьян показывает, что обычно они достаточно хорошо понимают друг друга, хотя у них нет языка в том значении, которое люди вкладывают в это слово. Поэтому Кёлер обращается к анализу поведения.

Он отвергает построенное на эмпиристских аргументах философское объяснение (якобы мы свои суждения о переживаниях других строим по аналогии, исходя из многократно повторяемого восприятия связи между нашими собственными переживаниями и сопутствующими «выразительными» изменениями в наших телах), поскольку оно не подтверждается наблюдением. Объяснение в современной Кёлеру психологии не слишком отличается от философского, ибо отправная точка остается той же: сначала мы обнаруживаем наши собственные переживания, сопровождаемые определенными телесными событиями. Отличие лишь в том, что, по мнению психологов, постоянное повторение устанавливает прочные ассоциации между нашими переживаниями и сопутствующими телесными событиями. Как следствие, всякий раз, когда такие телесные события имеют место у других, в памяти сразу будут вызываться соответствующие переживания. Такое воспоминание не обязательно заключается в появлении образов и идей; оно может принимать форму так называемой ассимиляции, при которой тот факт, который вызывает воспоминание, выглядит окрашенным, пропитанным вспомнившимся фактом. В результате на лицах других людей мы можем разглядеть дружелюбие, а в крике животного услышать настоящий гнев.

Кёлер отвергает и это объяснение (тоже эмпиристское), указывая на факты, которые не согласуются с этим выводом: «Неужели мы совершенно неспособны понять других как людей, которые полностью отличаются от нас? Особая мужественность Дугласа Фэрбенкса раньше очень впечатляла меня, хотя, к сожалению, я не мог проявить ничего сопоставимого. С другой стороны, иногда я вижу на лице другого человека выражение такой отталкивающей

жадности, для которой у меня едва ли есть аналоги в моем собственном опыте» (Köhler, 1947, pp. 219–220).

Кёлер задается вопросом, почему в обоих случаях считается само собой разумеющимся, что наше понимание других должно быть всецело *косвенным* процессом?

По-видимому, и философы, и психологи предполагают, следуя за Декартом, что характеристики психических процессов, с одной стороны, и характеристики наблюдаемого поведения, с другой, различаются во всех отношениях. При этом допущении единственно возможным отношением между фактами первого и второго рода будет внешнее, хотя и регулярное, сопутствование. Но если бы это допущение было верным, пишет Кёлер, можно было бы без труда отделить в наших впечатлениях о других людях компоненты, имеющие свой источник в наших собственных переживаниях прошлого, от компонентов, которые являются фактами поведения. Несравнимые факты не могут объединяться в неподдающиеся анализу “единицы”. Но если на дружелюбно выглядящем лице попытаться отделить дружелюбие от характеристик лица как такового, мы найдем эту задачу крайне трудной.

По мнению Кёлера, трудности с ответом на поставленный вопрос возникают из-за употребления термина «факты поведения» в двух различных значениях. Независимо от того, являются ли аргументы философов и психологов правильными при применении к поведению как области физических фактов, проблема социального понимания не относится непосредственно к поведению в этом смысле. Она относится к фактам перцепции: тела и поведение других людей даны нам только как перцепты и изменения перцептов. Поэтому первоочередной вопрос должен заключаться в том, как воспринимаемое поведение может помочь человеку понять других людей. Поведение как область перцептуальных фактов должно быть нашим первым предметом рассмотрения, когда мы пытаемся решить проблему социального понимания. В конце концов, замечает Кёлер (ссылаясь на главу V), мы должны помнить, что иногда перцепты говорят нам больше о фактах, чем те события, которые выступают в роли посредников между этими фактами и перцептами. Точно так же воспринимаемое поведение может рассказать нам больше о психических процессах других, чем можно было бы заключить из изучения их реального поведения.

Опираясь собранную Л. Клагесом коллекцию слов, используемых при описании как субъективных переживаний, так и перцептуальных феноменов («сладкая» любовь, «темная» печаль и т. д.), а также на ряд наблюдений поведения, Кёлер формулирует важный тезис: определенные переживания внутреннего и перцептуального миров имеют сходство друг с другом. Тезис этот позволяет подойти к ответу на более конкретный вопрос, а именно, может ли поведение человека, в том виде как оно воспринимается другими, иметь сходство с психическими процессами этого человека? Утвердительный ответ на него Кёлер дает на основе анализа подборки жизненных примеров. Он показывает, что многие динамические события в субъективном опыте имеют тенденцию выражаться в формах воспринимаемого поведения, которые, в известной степени, схожи с этими событиями. Так, эмоциональным и интеллектуальным процессам присущи характеристики, известные нам из музыки, т. е. из слухового опыта. Крещендо и диминуэндо, аччелерандо и ритардандо – очевидные тому примеры. Эти термины применимы не только к слуховым фактам, но и к зрительно воспринимаемым событиям, например, движениям и действиям человека. По мнению Кёлера, философы и психологи, пытаясь решить обсуждаемую проблему, слишком много внимания уделяли сопровождающим эмоции «выразительным движениям». Возможно поэтому ими был пропущен не менее релевантный факт: поведение в самом практическом смысле этого слова

имеет тенденцию восприниматься организованным в формы, копирующие организацию соответствующих внутренних событий.

Аналитическая установка традиционной психологии мешает увидеть еще один релевантный обсуждаемой проблеме факт. При направлении на внешний объект объективного, да и субъективного опыта тоже, может иметь место *напряжение*. Проще всего его заметить на лице человека, смотрящего на что-то опасное, змею, например. Присутствующий при этом другой человек, увидев его лицо и глаза, направленные к месту нахождения этого объекта, получит зримую картину внутреннего напряжения, испытываемого первым человеком, и это напряжение будет отнесено им к тому же месту. Таково действие зрительной группировки: части поля, которые лежат в этом направлении, будут немедленно связаны в опыте наблюдателя с воспринимаемыми глазами, лицом и всей персоной наблюдаемого. Такого рода группировки столь же обычны, как и те, что обсуждались в предыдущей главе.

В обсуждаемой проблеме есть и генетический аспект. Даже если воспринимаемое нами поведение человека часто имеет сходство с его психическими процессами, спрашивает Кёлер, разве наше понимание других людей не остается косвенным процессом? Ведь из этого сходства не следует с неизбежностью, что такие перцептуальные факты тождественны внутренним переживаниям этих людей. Вроде бы нам по-прежнему необходим заключительный шаг – умозаключение, ведущее от определенных фактов перцептуального опыта к ментальным процессам других. Сходство может облегчить такое умозаключение, но логический вывод или какой-либо другой косвенный процесс кажется необходимым в любом случае. Кёлер, однако, не принимает эту аргументацию, заявляя, что будет защищать своего рода бихевиоризм, – хотя и не тот бихевиоризм, который обсуждался в главе I.

Анализируя собственный повседневный опыт общения с другими людьми, Кёлер отмечает, что у него не возникало каких-то особых трудностей с пониманием этих людей несмотря на то, что в это время он не занимался анализом их внутренних переживаний *per se*. Напротив, такой анализ, при попытке его провести, вызывал у него чувство затруднения и ненужности этой процедуры. В обычной жизни нам и в голову не приходит рассматривать окружающие нас вещи как просто перцептуальные копии физических вещей. Это верно и в отношении особых объектов – других людей. Все характеристики, наличие которых вещи и люди обязаны перцептуальной организации, обычно воспринимаются как характеристики этих вещей и людей как таковых. Мы также не проводим четкую разграничительную линию между субъективными феноменами в более узком смысле этого слова и такими перцептуальными фактами, которые образуют человеческие тела. Во многих случаях крайне трудно решить, является ли данный субъективный факт аффекцией нашего тела или нас самих в более ограниченном смысле. Почему иную точку зрения следует принимать в отношении тел других? Эти тела тоже часто проявляют характеристики, которые в некоторых отношениях в точности похожи на субъективные феномены.

По-видимому, этим можно объяснить, что в социальных контактах повседневной жизни редко совершается заключительный (логический) шаг от перцептуальных фактов к психическим процессам других людей. С точки зрения наивной феноменологии просто нет надобности его совершать.

Дополнительный аргумент в пользу наивной феноменологии Кёлер находит в том, что не только организм человека способен эмитировать стимулы, порождающие перцептуальные факты с «психологическими ингредиентами». Помимо тривиального примера изображений

людей, особенно «живых», как на киноэкране, множество других объектов живой и неживой природы вызывают аналогичные эффекты («грозные» раскаты грома, «тихие» дни и т. д.). Если бы только живые существа и их изображения демонстрировали подобные «характеристики Эренфельса», пишет Кёлер, то это стало бы серьезным основанием для возражения против изложенных здесь аргументов. Напротив, частое появление подобных феноменов в других частях перцептуального мира подтверждает тезис о том, что нет никакой нужды привлекать для этого интерпретации в терминах субъективных переживаний. Современный человек не приписывает такие переживания грозе или ландшафту; и все же он слышит угрозу в раскатах грома и видит приветливость в определенных ландшафтах.

Кёлер признает, что иногда проблема социального понимания все же представляет трудности, которые невозможно устранить на основе представленного здесь анализа. Во-первых, по известным причинам поведение не всегда имеет сходство с внутренними переживаниями, которые оно сопровождает. Во-вторых, прямое понимание как таковое имеет свои ограничения. Поэтому нет оснований утверждать, что внутренняя жизнь человека полностью раскрывается в его поведении.

В заключение Кёлер поднимает еще один важный вопрос: может ли понимание в этом смысле использоваться в качестве источника данных в психологической работе? На первый взгляд ответ на него должен быть отрицательным. Могут ли психологи полагаться на «прямое понимание», спрашивает Кёлер, если даже гром, погода и пейзажи демонстрируют факты такого рода? И отвечает, что при известных условиях могут. Он указывает, что в естественных науках используется не так уж мало перцептуальных фактов (цвет, форма, движение и т. д.), хотя всем известна их подверженность внешним влияниям, которые делают эти факты бесполезными для ученого. По этой причине им доверяют только в предварительном порядке и, за известными исключениями, к ним вообще не обращаются в реальных измерениях. Кёлер предлагает психологам последовать этому примеру и доверять непосредственному пониманию до тех пор, пока в конкретной ситуации не возникает повода для сомнений. Полный отказ от его использования грозит потерей фактов, которые ускользают от более ортодоксальных методов психологии.

Глава восьмая – «Ассоциация» – посвящена обсуждению понятия ассоциации в том виде, в каком оно существовало в современной Кёлеру психологии. Это обсуждение строится вокруг двух центральных вопросов. Во-первых, верно ли, что простое повторение двух смежных процессов приводит к образованию ассоциации между ними? Во-вторых, является ли ассоциация простой связью, которая соединяет переживания так, как веревка связывает два объекта?

Как и в предыдущих главах, Кёлер сначала создает контекст («фон»), в котором обсуждаемая проблема («фигура») приобретает особую ясность и включается в отношения с другими проблемами, которые (отношения) становятся направляющими в ее анализе.

Такой контекст в этой главе задается двумя утверждениями. С одной стороны, без должного внимания к непосредственному опыту есть риск построить искусственно упрощенную систему психологии вроде бихевиоризма. С другой стороны, невозможно развивать психологию и как науку исключительно о непосредственном опыте. Для этой цели область опыта слишком ограничена. «Никто не способен понять игру в шахматы, наблюдая только за ходами в одном углу доски. В этом случае наблюдатель вскоре начинает сознавать, что все это время важные события происходят за пределами узкого поля его наблюдения. Ибо шахматные ходы в этом секторе доски, очевидно, связаны с другими фактами, которые

должны лежать за его границами, в другой части доски, тем более что некоторые ходы берут свое начало там, а другие ходы там завершаются» (Köhler, 1947, p. 248).

Эта красивая аналогия с шахматами прямо выводит на один из самых распространенных в нашем опыте феноменов, прекрасно описанных У. Джеймсом, – готовность к продвижению в правильном направлении тогда, когда сам объект эксплицитно не задан; она сопровождается ясным ощущением, что части актуального опыта указывают за пределы этого опыта, в направлении чего-то конкретного, что, по нашему убеждению, там находится. Опыт сообщает нам о собственной неполноте.

Как заявляет Кёлер, для гештальтпсихологии в этом нет ничего удивительного. Именно этого мы должны ожидать, если из более крупного функционального целого в опыте представлена только его ограниченная часть. Конкретное направление, которое мы затем осознаем, соответствует тому факту, что часть поля, данная нам в актуальном опыте, функционально связана с процессами, у которых нет переживаемых эквивалентов. Хотя они фактически не переживаются, такие процессы должны быть высокоспецифичными. Именно поэтому, например, наше чтение и разговоры обычно идут в правильном направлении.

Еще более простой пример – последовательное сравнение в различных его формах. Мы без труда определяем относительную высоту второго тона, поданного через 5 секунд после первого, фактически не вспоминая при этом первый тон. Как нам это удастся, если мы переживаем только один из двух тонов? Дело в том, что мы не переживаем второй тон как отдельный факт: он воспринимается нами с конкретной отсылкой “к чему-то такому в прошлом” (или, как поясняет Кёлер на языке гештальтпсихологии, этот второй тон наделен качеством, которое принадлежит ему как второму члену пары). Следовательно, первый тон должен оставить после себя *след*; этот след первого тона не может во всех отношениях принадлежать к тому же классу, что и процесс, который пятью секундами раньше сопровождал переживание первого тона. Если бы это было так, то имело бы место соответствующее переживание, а оно, как правило, отсутствует. Однако он должен представлять этот процесс настолько хорошо, чтобы второй тон переживался в правильном отношении к первому.

По мнению Кёлера все разумные теории памяти, привычки и т. д. должны содержать гипотезы о следах памяти как физиологических фактах. Такие теории должны также предполагать, что характеристики следов более или менее схожи с характеристиками процессов, благодаря которым они образовались. Гештальтпсихология добавляет к этому, что любая специфическая организация, которую демонстрируют исходные процессы и сопутствующие им переживания, может сохраняться в этих следах. Если она сохраняется, то организация как таковая будет оказывать мощное влияние на воспоминание. В подтверждение этого заявления Кёлер ссылается на результаты экспериментов Э. Рубина, А. Мишотта и др. Они показывают, что следы действуют в соответствии с прошлой организацией, а не как простые совокупности независимых локальных фактов. В любом случае узнавание и воспоминание зависят настолько же от организации прошлых событий, насколько они зависят от локальных эффектов стимуляции, которые, были элементами прошлых переживаний. Более того, в бесчисленных случаях организация имеет решающее значение, и даже радикальные изменения стимулов не препятствуют узнаванию или воспоминанию – при условии, что организация остается такой же, как и раньше.

Как отмечает Кёлер, в прошлом экспериментальная психология не проявляла большого интереса к понятию следов памяти как таковых. В области изучения памяти

исследователей гораздо сильнее привлекало другое понятие – ассоциация. Ассоциация традиционно рассматривалась как связь между двумя переживаниями, которая позволяет нам вспомнить второе переживание при последующем появлении первого. Как утверждается, такая связь образуется, когда два переживания возникают одновременно и, в частности, когда их смежное появление повторяется. Почти все классические исследования памяти имели дело с ассоциацией по смежности – неизбежной фазой научения и сохранения.

По словам Кёлера, психологи гордятся (отчасти оправданно) своими достижениями в изучении ассоциаций, так как в этой области и методы, и результаты выглядят почти сопоставимыми с методами и достижениями естественных наук. Однако со временем пришло осознание, что в классических работах изучался очень специфический вид памяти, и что полученные результаты не следует поспешно распространять на память в целом.

Закон ассоциации по смежности всегда считался вполне удовлетворительным, так как дает научению чисто механическую интерпретацию. Казалось бы, что может больше соответствовать духу естественных наук? Но как раз с точки зрения науки, заявляет Кёлер, закон ассоциации по смежности выглядит весьма странным утверждением. В науке просто не найти примеров взаимодействия, в котором природа взаимодействующих факторов не играет никакой роли. В классическом же законе ассоциации по смежности природа вещей, которые становятся связанными, молчаливо игнорируется.

По мнению Кёлера эта интерпретация ассоциаций уже не является разумной. Ее слабость очевидна, даже если ограничиться рассмотрением исследований, проведенных с использованием классических методов. Первый же взятый из них эмпирический факт вступает в противоречие с такой интерпретацией. В предлагаемой испытуемому для запоминания серии слогов два смежных слога **A** и **B**, конечно, не индифферентны друг к другу, также как ни **A**, ни **B** не индифферентны даже к **F**, **G** и **H**, т. е. к более удаленным элементам в этой серии. При увеличении длины серии успешность запоминания снижается, так как все элементы такой серии имеют тенденцию служить помехой друг другу. Как тогда можно утверждать, что они взаимно нейтральны?

В качестве второго факта, который несовместим с традиционным взглядом на ассоциации, Кёлер указывает на некоторые изменения, которым слоги подвергаются в процессе заучивания. По ходу заучивания, и более всего во время первых чтений серии слогов, материал организуется каким-то определенным образом. В этом случае отдельные слоги должны приобретать особые характеристики, которые они получают благодаря их роли в организации. Объективно это влияние организации наиболее убедительно демонстрируется, когда после того как испытуемые заучили всю серию слогов наизусть и могут без запинок повторить ее вслух по памяти, им показывают одиночные слоги и просят вспомнить следующие за ними элементы. При таких условиях им с трудом удается вспомнить лишь треть слогов. В потоке организованных серий данные слоги, по-видимому, перестали быть тем, чем они являются поодиночке.

Кёлер также обращается к анализу экспериментов Эббингауза и его последователей, в которых отдавалось предпочтение бессмысленным слогам как наилучшему материалу для исследования ассоциаций, позволяющему избежать влияния старых ассоциаций на новые, экспериментально устанавливаемые связи. К тому же бессмысленные слоги, как казалось этим исследователям, составляют более однородный материал, чем любые другие элементы. Серьезный недостаток метода Эббингауза Кёлер видит в том, что на самом деле он не позволяет исследовать ассоциации, которые образуются автоматически, тогда как результаты,

полученные этим методом, обычно излагаются так, как если бы ассоциации образовывались спонтанно. Ведь испытуемому не просто предъявляют последовательность слогов; его просят заучить их наизусть. Если он следует этой инструкции, то не только смежность приводит к образованию ассоциаций, однако этот факт даже не упоминается при описании результатов.

По мнению Кёлера правильный ответ на вопрос, что делают испытуемые, когда они намеренно пытаются заучить серию слогов, дал Георг Элиас Мюллер, потративший большую часть своей научной жизни на исследование ассоциаций и сохранения материала в памяти: «Серии цифр, согласных звуков, слогов и т. п. выучиваются по существу в синтетической деятельности, в которой элементы серии объединяются так, что становятся прочными группами» (цит. по Köhler, 1947, p. 263). Из утверждения Мюллера, считает Кёлер, можно заключить, что преднамеренное заучивание равносильно преднамеренной организации. Следовательно, данные этих экспериментов не подходят для объяснения того, как ассоциации образуются в повседневной жизни, когда факты, приводящие к вспоминанию событий, не были до этого преднамеренно объединены с этими событиями.

Все ли наши переживания за стенами лаборатории спонтанно образуют между собой ассоциативные связи? Нет, конечно. Согласно Кёлеру ассоциация происходит спонтанно там, где организация является спонтанной, и ассоциация предполагает преднамеренное объединение тогда, когда материал как таковой вряд ли образует организованные группы. При этом Кёлер не отрицает важность фактора пространственной и временной смежности в образовании ассоциации. Но этот фактор не действует напрямую. По его мнению, пространственная и временная смежность способствует ассоциации только потому, что она, под именем «близости» (как в случае выделения сенсорных «единиц»), является благоприятным фактором организации.

Обсуждая природу связи, которая, как было принято считать в те времена, возникает между следами процессов, когда эти процессы становятся ассоциированными, Кёлер отвергает гипотезу о двух следах, согласно которой ассоциация предполагает повышенную проводимость нервных путей, соединяющих участки, где происходят процессы и образуются соответствующие следы. Его гипотеза состоит в том, что когда **A** и **B** образуют ассоциацию, они переживаются не как два независимых элемента, а как члены организованной группы. В соответствии с принципом изоморфизма в нервной системе формируется функциональная единица, в которой процессы **A** и **B** обладают лишь относительной независимостью. Тем самым создается только *один* след, репрезентирующий функциональную единицу, благодаря которой он образовался. И в нем **A** и **B** будут существовать только как относительно сегрегированные субъединицы. В результате **A** и **B** будут точно так же «связаны», как они могли бы быть связаны посредством специального связующего звена, задающего распространению нервной активности правильное направление от **A** к **B**. То, что **A** и **B** находятся в составе единого следа, будет иметь точно такой же эффект.

Кёлер дает более радикальную формулировку своей гипотезы: ассоциация утрачивает свой характер как специальное и самостоятельное теоретическое понятие. Она становится словесным ярлыком для обозначения того факта, что организованные процессы оставляют следы, в которых более или менее адекватно сохраняется организация этих процессов. Единственная новая проблема, которая возникает в этой ситуации, это проблема влияния интенций на организацию. И эта проблема связана не только с вопросами памяти.

Полезность своей гипотезы Кёлер видит в ее следствиях, допускающих проверку и потому имеющих теоретическое и практическое значение. В частности, эти следствия

касаются изменений в дизайне экспериментов по изучению памяти и научения у людей и животных. Такие изменения необходимы, поскольку рассмотренные им в этой и предшествующих главах факты в принципе не допускают объяснений на основе научения. Организация должна быть признана в качестве первичной фазы опыта. Любые воздействия, оказываемые научением на последующий опыт, являются последствием предшествующей организации. Научение, в том смысле, в котором данный термин употреблялся в этой главе, эквивалентно ассоциации, а ассоциация есть не что иное, как последствие организации.

В девятой главе – «Вспоминание» – Кёлер рассматривает главным образом процессы сохранения и вспоминания, попутно затрагивая вопросы научения и образования следов.

Почему вспоминается именно это событие, а не другое, и как это происходит, невозможно понять, не разобравшись в том, что и в каком виде сохраняется в памяти. Поэтому Кёлер начинает с анализа результатов экспериментов с животными по изучению выученной отсроченной реакции на парные стимулы – одного из способов изучения судьбы следов. Обучение дает два эффекта: реакции на каждый стимул в отдельности и «относительную» реакцию на пару. Сразу после фазы обучения из-за сохраняющихся следов всех реакций животные дают не только «относительные реакции» (правильные), но и «абсолютные» (ошибочные) – на каждый элемент тестовой пары. С увеличением времени отсрочки число правильных реакций существенно увеличивается. Из этого следует общий вывод: сохранение *организации* фактов является более прочным и длительным, чем сохранение отдельных фактов как таковых. Он согласуется с встречающимися в психологии утверждениями, что мы часто сохраняем способность вспомнить общую структуру событий, когда их более конкретное содержание больше не доступно.

Как показывает Кёлер, важная роль организации (в частности, группировки) в сохранении следов подтверждается также в экспериментах с отсроченной реакцией выбора из *n*-объектов, проводимых как на разных животных, так и на людях. Дополнительный вывод из этих экспериментов состоит в том, что следы фактов в памяти не являются жесткими образованиями; они наделены *динамическими* тенденциями, в частности, к упрощению организации с увеличением времени отсрочки, что проявляется в разрушении менее четко заданных частей группы стимулов. И эти тенденции гораздо сильнее у животных, чем у людей. Поэтому Кёлер считает, что изучение отсроченной реакции у животных должно иметь большое значение для общей психологии.

Впрочем, есть и такие ситуации, в которых следы хорошо сохраняются, но вспоминание, тем не менее, затруднено или даже невозможно. Помимо сохранности следов вспоминание зависит от ряда специфических условий. Вспоминание не может происходить с такой легкостью, как это предполагается в эмпиристских теориях. С одной стороны, ассоциация необходима для вспоминания, и ассоциация предполагает достаточную степень консолидации в смысле организации. С другой стороны, вспоминание, может происходить только в том случае, если процесс, который устанавливается в данный момент, имеет *сходство* с какой-то областью внутри организованного следа всего переживания. Между этими ограничивающими условиями, одно из которых накладывается природой ассоциации, а другое – сущностью вспоминания, существует довольно узкий диапазон, в котором только и может происходить вспоминание. Кёлер доказывает это, используя графические иллюстрации (фрагменты латинских букв и узоров) из своих экспериментов и данные экспериментов других исследователей.

Из-за процессов организации и даже небольших ее изменений экспериментальные результаты могут значительно отличаться от того, что предписывают классические законы ассоциации и вспоминания. Чтобы показать радикальные ограничения этих законов, Кёлер обращается к анализу более общей темы – *биполярной организации*. Рассматривая этот вид организации в широкой перспективе, от открытого К. Дункером «индуцированного движения» до группировок с динамической референцией (положительной и отрицательной), он обосновывает применимость понятия организации к нашему “Я” так же, как и к другим частям поля. Как утверждает Кёлер, биполярная организация имеет сходство с ситуациями в физике, в которых силовые линии или направленные процессы привязывают одну часть поля к другой. В гештальтпсихологии различные направленные установки “Я” рассматриваются как *векторы*, которые зависят как от “Я”, так и от наличных объектов, или, точнее, от отношения, которое образуется в данное время между характеристиками первого и характеристиками последних. Это полностью согласуется с представлением о том, как физические векторы между объектами зависят от “характеристик-во-взаимосвязи” этих объектов. Согласно принципу изоморфизма организация опыта и лежащие в его основе физиологические события, должны иметь одинаковую структуру. Поэтому когда наше “Я” чувствует себя так или иначе включенным в отношение с объектом, в головном мозге, как полагает Кёлер, действительно существует силовое поле, которое распространяется от процессов, соответствующих “Я”, до процессов, соответствующих объекту.

Эта его гипотеза выливается в программное заявление: «Игра психологических векторов, источники, из которых они возникают, напряжение, которое некоторые части поля испытывают под их влиянием, различные изменения, вызываемые вследствие этого, и, в конечном счете, прекращение действия векторов и напряжений после получения определенных результатов – все это составляет главный предмет психологии, равно как и главное содержание жизни» (Köhler, 1947, p. 301). В связи с этим понятен интерес Кёлера к тому, имеет ли факт биполярной организации какие-либо последствия для понимания результатов экспериментов по изучению запоминания и вспоминания.

Ассоциация подразумевает сохранение унитарных следов после того как произошли организованные процессы. Тогда, рассуждает Кёлер, если “Я” образует особенно сильные функциональные “единицы” с объектами, к которым его отсылают вектора, то следует ожидать, что не только переживания внешних событий, но и это действие векторов, вместе с состояниями “Я” и объектами, оставят такие следы в нервной системе. Конечно же, мы воскрешаем в памяти наши прежние установки, когда снова попадаем в определенные ситуации, так же как мы способны вспомнить эти ситуации, когда такие установки опять возникают. Действие векторов в психологических ситуациях имеет последствие. В подтверждение этого Кёлер ссылается на результаты экспериментов по запоминанию прерванных действий, впервые проведенных К. Левиним и Б. В. Зейгарник. Сохраняемое в следах напряжение, связанное с работой испытуемых, побуждало их в первую очередь и чаще вспоминать прерванные действия. Таким образом, вспоминание зависит от характеристик первоначальной ситуации. Однако оно также подвержено влиянию векторов, заданных во время вспоминания как такового, в частности, в силу следования (или не следования) инструкциям экспериментатора. Такой вывод Кёлер делает на основе анализа результатов экспериментов К. Левина и сопоставления их с наблюдениями действия установок (= векторов) в повседневной жизни. Эти результаты доказывают, что ранее установившиеся ассоциации не могут влиять на возникшее поле, если не действует соответствующий вектор.

Раньше считалось, что автоматическое, вызываемое ассоциациями вспоминание является одним из главных двигателей психической жизни и поведения. Новые экспериментальные данные не согласуются с таким взглядом.

Впрочем, Кёлер предостерегает против широких обобщений, так как полностью адекватной теории для объяснения этих фактов пока нет. С одной стороны, в свете новых данных неразумно считать, что когда образованы сильные ассоциации, вспоминание будет происходить спонтанно и независимо от того, как складывается текущая ситуация. С другой стороны, нет оснований утверждать, что в течение всего нашего времени жизни мы ни разу ничего не вспомним, если вспоминание не поддерживается вектором в соответствующем направлении. Вспоминание остается одним из самых частых и наиболее важных фактов психической жизни. Проблема заключается в том, чтобы объяснить, почему в целом вспоминание всегда ограничивается случаями, когда оно разумно относительно текущих общих ситуаций и их органического развития. Решение этой проблемы – дело будущего.

В заключение Кёлер подвергает критике неврологическую проводниковую модель ассоциации, основанную на мозаичной гипотезе, и предлагает свою, полевую модель, согласно которой именно природа процесса, а не его локализация в нервной системе имеет решающее значение для вспоминания.

Завершает книгу десятая глава – «Инсайт». И это не случайно, ибо Кёлеру была хорошо известна закономерность: лучше всего запоминаются крайние элементы серии стимулов. Книга, адресованная, прежде всего, американской аудитории первой половины XX века, должна была начинаться и заканчиваться рассмотрением вопросов, по которым имели место принципиальные разногласия между доминирующими тогда направлениями американской психологии и гештальтпсихологией. Инсайт и, в частности «решение посредством инсайта» у антропоидов в том виде, как оно было описано Кёлером в его книге «The Mentality of Apes» (1925), как раз и является одним из таких вопросов.

Кёлер спрашивает, какие факторы преимущественно определяет ход психической жизни. Если это не ассоциация, не привычное действие и не вспоминание, как было установлено в предшествующих главах, то остаются еще *каузальные переживания*, которые могут претендовать на эту роль. Он отмечает, что научная психология обычно их игнорирует, следуя авторитету Дэвида Юма, однако обыватели убеждены в их реальности. Обыватель убежден в том, что непосредственно чувствует, почему ему хочется делать одни вещи в одной ситуации, а другие – в другой. Его убеждение вырастает из повседневного опыта. Кёлер, как и в случае с фактами чувственного опыта, предпочитает следовать убеждению обывателя, а не вызывающей у него скуку механистической психологии. Кстати говоря, выбор Кёлера оказался верным, как и его предсказание, что обыденное мнение станет в будущем важной проблемой психологии, неврологии и философии.

Так Кёлер сохраняет единство подхода с позиции обыденного опыта ко всем рассматриваемым явлениям, включая и каузальные переживания, касающиеся динамических отношений между “Я” и объектами в тотальном поле. По его мнению, после признания конкретных вещей, групп, событий, “Я” и т. д. естественными частями тотального поля, вряд ли можно совершить ошибку хуже, чем ошибка их изолированного анализа. Разнородность изучаемых явлений не должна смущать исследователя. Возможно, наиболее интересные динамические отношения возникают как раз между членами совершенно разных классов. «В анатомическом музее может быть полезно увидеть вместе сотни сердец; но в физиологии функция сердца связана с функцией легких, а не с функцией другого сердца» (Köhler, 1947, p.

322). Теорией, способной справиться с разнородностью и одновременно функциональным единством таких явлений, утверждает Кёлер, может быть только теория поля. Ее возможности в объяснении непосредственно переживаемой детерминации он и демонстрирует в этой главе путем всестороннего анализа примеров из обыденной жизни.

Когда в жаркий день мы наслаждаемся прохладительным напитком, испытываемое нами удовольствие относится к вкусу напитка и утолению нашей жажды, а не к пауку на стене и не к множеству других вещей в нашем окружении. Это переживание причины нашего удовольствия происходит *непосредственно*, без научения, без опоры на воспоминание и без участия логического вывода. Как это возможно?

Согласно Кёлеру, есть только один способ разумно объяснить физиологический механизм переживаемой детерминации: использовать физику поля. Когда мы чувствуем, что это именно мы реагируем на характеристики конкретного объекта, то в мозге процессы, лежащие в основе переживаемого нами “Я”, должны подвергаться влиянию процессов, которые соответствуют данному объекту. Особые характеристики процессов, соответствующих объекту, должны быть представлены в той области, где происходят процессы, лежащие в основе “Я”, и под влиянием этого “поля” процессы, соответствующие “Я”, должны изменяться в определенном отношении. Короче, вкус напитка и наше удовольствие не переживаются как отдельные факты: в нашем опыте удовольствие вызвано вкусом напитка, потому что соответствующие процессы в мозге находятся именно в такой причинно-следственной связи.

Естественно, такая же интерпретация должна быть дана и в тех случаях, когда, наоборот, возникает ощущение, что объект изменяется из-за определенной установки “Я”. Если принять, что основные функциональные понятия физики применимы к динамике мозга, то такое объяснение оказывается простейшим.

По Кёлеру, в обыденном опыте нет ничего более очевидного, чем непосредственное сознание того, что те или иные факты опыта находятся в причинно-следственных отношениях. Именно такое сознание (чувство, знание) было названо им *инсайтом*. Здесь он поясняет этот термин в связи с отмеченными выше обстоятельствами. «Получение непосредственного знания о детерминации...можно еще назвать *инсайтом*. Когда я однажды употребил это выражение в описании интеллектуального поведения обезьян, с тех пор, похоже, не удалось полностью предотвратить досадное недоразумение. Как оказалось, иногда животные способны к достижениям, которых мы не ожидали от существ, стоящих в своем развитии ниже человеческого уровня. Тогда и было заявлено, что такие достижения очевидно связаны с инсайтом. Видимо, некоторые читатели истолковали эту формулировку так, как если бы речь шла о загадочной психической силе или способности, которая отвечает за поведение обезьян. Вообще-то, когда я писал отчет о своих экспериментах, ничего подобного не подразумевалось.... Это понятие никак не связано вопросом об изобретениях или о других выдающихся интеллектуальных достижениях и используется, безотносительно к умственной способности, в строго описательной манере.... Более того, термин инсайт, взятый в его основном смысле, относится к переживаемой динамике в эмоциональном и мотивационном полях не меньше, чем к переживаемой детерминации в интеллектуальных ситуациях» (Köhler, 1947, pp. 341–342).

Одним этим разъяснением Кёлеру не удалось преодолеть неправильное понимание этого термина со стороны американских (да и не только американских) психологов. Позже он не раз предпринимал попытки исправить ситуацию. Так, в своем президентском обращении к

67-му ежегодному съезду АПА он писал: «В строгом смысле слова этот термин (инсайт) относится к тому факту, что когда мы сознаем какое-либо отношение, это отношение переживается не как существующее само по себе, а скорее как нечто, вытекающее из характеристик включенных в него объектов. Когда приматы пытаются решить проблему, их поведение часто показывает, что они сознают некое важное отношение. Но когда они затем используют этот 'инсайт' и таким образом решают свою проблему, следует ли называть это достижение решением посредством инсайта? Нет – ибо совершенно не ясно, что именно инсайт стал причиной обнаружения этого специфического отношения. В данной ситуации мы или обезьяна можем сознавать множество отношений. Если в какой-то момент мы или обезьяна обращаем внимание на правильное отношение, это может произойти по целому ряду причин, совершенно не связанным с инсайтом. Следовательно, ошибочно называть весь процесс 'решением посредством инсайта'.... Когда правильное решение проблемы задается экспериментатором не произвольно, а более непосредственно связано с природой данной ситуации, инсайт может играть более важную роль. Но даже при таких обстоятельствах решение приходит не только благодаря инсайту. Сам факт, что решения часто появляются к собственному удивлению испытуемых, является ясным доказательством того, что один только инсайт не может быть ответственным за их возникновение» (Köhler, 1959, pp. 729–730). Увы, если судить по современным учебникам психологии, в которых излагаются взгляды Кёлера, ему так и не удалось полностью устранить из чужих умов ошибочные коннотации термина «инсайт» в его понимании.

Кёлер всегда точен в своих окончательных выводах. Он далек от того, чтобы считать инсайт универсальным механизмом понимания каузальных отношений. Признавая, что в бесчисленных случаях мы неспособны по непосредственному опыту понять, как одно событие вызывается другими событиями, он придает первостепенное значение непосредственному переживанию детерминации для развития теории психологии: «Иногда я с особой остротой чувствую, что независимо от того, являемся ли мы интроспекционистами, бихевиористами или кем-то еще, главная разделительная линия в сообществе современных психологов прошла бы, скорее всего, так: по одну сторону оказались бы признающие непосредственную детерминацию, как она объясняется в этой главе, а по другую – допускающие только “связи” в том смысле, который вкладывается в этот термин механистической теорией (Köhler, 1947, p. 352).

Возможно, кому-то покажется странным, но нынешнему читателю, особенно мало знакомому с гештальтпсихологией, лучше всего читать эту книгу с так полюбившейся ее автору установкой наивного реалиста, а критику (она, конечно, должна быть) оставить на потом. В этом случае помимо ее тривиальной полезности как дополнительного пособия по курсу истории психологии, читателю откроются прекрасные образцы подлинно научного мышления, которые, к сожалению, редко встречаются в современной психологической литературе. Большим грехом было бы не воспользоваться таким драгоценным подарком от Вольфганга Кёлера.

Перевод сделан мной по второму изданию 1947 г. Примечания переводчика, в отличие от авторских, помечены инициалами А. А.

Литература

Кёлер Вольфганг. (1930) Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. Пер. с нем. Л. В. Занкова и И. М. Соловьева; Под ред. и со вступит. статьей Л. С. Выготского. М., Изд-во Коммунистической Академии.

Кёлер В. (1980) Об изоморфизме // Хрестоматия по истории психологии. Период открытого кризиса (начало 10-х годов – середина 30-х годов XX в.). Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. М., Изд-во Моск. ун-та, С. 99–102.

Кёлер В. (1980а) Некоторые задачи гештальтпсихологии // Хрестоматия по истории психологии. Период открытого кризиса (начало 10-х годов – середина 30-х годов XX в.). Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. М., Изд-во Моск. ун-та, С. 102–120.

Köhler, Wolfgang. (1929; 1947, 2nd ed.) Gestalt Psychology: An Introduction to New Concepts in Modern Psychology.

Köhler, Wolfgang. (1959) Gestalt Psychology Today // American Psychologist, 14, pp. 727-734.

Neisser, Ulric. (2002) Wolfgang Köhler 1887–1967: A Biographical Memoir. Biographical Memoirs Series, Volume 81. Washington, D.C.: National Academy Press, pp. 186–197.

Июнь 2018

А. А. Алексеев

ОБСУЖДЕНИЕ БИХЕВИОРИЗМА

Кажется, у психологии есть единственная отправная точка, равно как и у всех прочих наук: мир, каким мы встречаем его, – безыскусно и некритически. Наша наивность может рассеиваться по мере продвижения вперед. Могут обнаруживаться проблемы, которые поначалу были полностью скрыты от наших глаз. Для их решения, возможно, придется изобрести понятия, не имеющие вроде бы никакой связи с непосредственным первичным опытом. И тем не менее, полный процесс должен начинаться с наивной картины мира. Такое начало является необходимым условием, потому что просто нет другой основы, на которой может образоваться и вырасти наука. В моем случае, а его можно принять за типичный пример многих других, эта наивная картина состоит, в данный момент, из голубого озера в окружении дремучих лесов, большого серого камня, твердого и холодного, который я выбрал в качестве сиденья, листа бумаги, на которой я пишу, слабого шума ветра, едва шевелящего листья деревьев, и сильного характерного запаха рыбацких лодок и рыболовных снастей. Но в этом мире сокрыто больше: каким-то образом я сейчас созерцаю другое озеро, которое, тем не менее, не сливается с существующим в настоящем голубым озером, – светло-голубое озеро, у которого я оказался несколько лет назад, разглядывая его с берега в Иллинойсе. Для меня стало совершенно привычным созерцать тысячи пейзажей такого рода, которые возникают передо мной, когда я нахожусь в одиночестве. И все же в этом мире есть кое-что еще: например, моя рука и пальцы во время того, как они слегка перемещаются по бумаге. Теперь, когда я перестаю писать и снова оглядываюсь по сторонам, у меня возникает ощущение, что я совершенно здоров и полон сил. Но в следующий момент я испытываю какое-то непонятное напряжение где-то в глубинах души, которое перерастает в ощущение, что меня неотступно что-то преследует, – я обещал закончить рукопись в течение нескольких месяцев.

Большинство людей постоянно живут в таком мире, как этот, и он является для них *единственным* миром, поэтому они почти никогда не обнаруживают серьезных проблем в его фундаментальных свойствах. Улицы, запруженные народом, могут занять место лесного озера, мягкое сиденье в седане – место моего камня, какие-то важные слова торговой сделки могут помниться вместо озера Мичиган, а неприятное внутреннее напряжение может испытываться не только в связи со сроками написания книги, но и по поводу сроков уплаты налогов. Все это – несущественные различия пока мы принимаем мир за чистую монету, оцениваем его по внешнему виду, как все мы и делаем, исключая часы, в которые наука нарушает наше естественное отношение к миру. Конечно, проблемы возникают даже у самых некритически настроенных людей, живущих в этом непосредственном мире. Но, по большей части, эти проблемы не относятся к его природе как таковой; скорее, они носят практический или эмоциональный характер и просто означают, что хотя этот мир принимается на веру, мы

не знаем как вести себя в той его части, которую мы представляем себе как нашу теперешнюю ситуацию.

Столетия назад различные науки, больше всего физика и биология, начали разрушать наивную веру, с которой люди склонны принимать этот мир за *реальность*. И хотя сотни миллионов все еще остаются непоколебимыми наукой, ученый теперь находит этот мир почти целиком наделенным противоречивыми свойствами. К счастью, он смог открыть за ним другой мир, свойства которого, совершенно отличные от свойств мира наивных людей, совсем не кажутся противоречивыми. Поэтому неудивительно, что сейчас, когда психология начинает быть наукой, некоторым из ее наиболее активных деятелей хотелось бы заставить психологию сразу же, без промедления, идти путем *естественных наук*. В самом деле, если естествоиспытатели давно обнаружили, что этот наивный мир непроницаем для их метода, можем ли мы, психологи, надеяться на большой успех? И поскольку гигантский скачок из мира непосредственного, но беспорядочного опыта в мир ясной и твердой реальности уже был совершен физиком, разве не было бы мудро для психолога воспользоваться этим великим событием в истории науки в своих целях и начать изучение психологии на такой же твердой основе?

Несколько слов об истории научной критики помогут нам лучше определить тот материал, от которого психология должна будет отказаться, и показать, что ей следует выбрать в качестве более адекватного предмета. Наш наивный опыт состоит, прежде всего, из объектов, их свойств и изменений, которые, по-видимому, существуют и происходят совершенно независимо от нас. Коль скоро это так, то для них несущественно, будем ли мы их видеть, чувствовать, слышать или нет. Когда нас нет или мы заняты другими делами, они очевидно остаются теми же самыми, какими они были тогда, когда мы уделяли им все наше внимание. При таких обстоятельствах был сделан огромным шаг вперед, когда человек начал задавать вопросы о природе зрения, осязания и слуха. И действительно произошла революция, когда он обнаружил, что цвета, шумы, запахи и т. д. были просто продуктами воздействия, оказываемого на него окружающей средой. Тем не менее, эта окружающая среда, казалось, существует в своих *первичных* свойствах и остается “реальным миром”. Даже если те *вторичные* качества вычитались как чисто субъективные ингредиенты, все равно казалось, что *первичные* качества остаются непосредственно данными как свойства реальности. Однако со временем стало ясно, что *первичные* качества наивного реализма являются столь же субъективными, как и их *вторичные* спутники: форме, весу и движению вещей была дана та же интерпретация, как цветам и звукам; они тоже зависели от воспринимающего организма и были просто конечными результатами процессов, происходящих внутри него.

Так что же осталось? С этого времени ответом стало утверждение, что *никакая* фаза непосредственного опыта не может рассматриваться как часть реального мира. Следовательно, если и *первичные*, и *вторичные* свойства переживаемого мира производны от воздействий, которые среда оказывает на организм, эта среда больше не может

отождествляться с воспринимаемой человеком средой. Его воспринимаемое окружение – только следствие таких воздействий. Поэтому эти среды не могут рассматриваться одновременно как причины, вызывающие воздействие на человека. В результате естественные науки были вынуждены сконструировать объективный и независимый мир физических вещей, физического пространства, физического времени и физического движения, а затем отстаивать утверждение, что этот мир никогда не предстает перед нами в непосредственном опыте.

В этом месте мы должны заметить, что та же самая аргументация применима к организму. С одной стороны, наше тело дано нам как особый, конкретный факт чувственного опыта. С другой стороны, этот индивидуальный чувственный опыт вызывается физическими событиями в конкретном физическом объекте, который мы называем нашим организмом. Наше тело непосредственно доступно нам только как часть чувственного опыта. Об организме, как и о других физических вещах, мы узнаем только благодаря процессу умозаключения или истолкования. На воздействие других физических объектов мой организм отвечает процессами, создающими вокруг меня сенсорный мир. Другие процессы в организме дают начало такому сенсорному факту, который я называю своим телом. Еще одни процессы ответственны за внутреннюю сторону моего опыта: за такие чувства, как голод и утомление, за такие эмоции, как страх и надежда, и т. д.

Нам нет надобности обсуждать, как созданный наукой мир, который не предстает перед нами в непосредственном опыте, может, тем не менее, исследоваться физиком. У нас нет оснований сомневаться в поразительном успехе этого дела. Тогда как мир наивного человека в известной степени лишен порядка и довольно противоречив, обнаруживая свой субъективный характер при любом критическом рассмотрении его свойств, в мире физика никакой путаницы и никакого противоречия не допускается. Хотя нас могут удивлять те быстрые изменения, которые в наше время претерпевает физическая теория, у нас все же сохраняется ощущение, что большинство этих изменений являются всего лишь уточнениями. Создается впечатление, что со временем все важные факты физического мира будут включены в ясную и единую систему знания.

Давайте теперь обратимся к психологии. Какое-то время эту дисциплину считали наукой о непосредственном опыте, его внешних и внутренних аспектах, противопоставляемых физическим объектам и явлениям. Через описание непосредственного опыта психолог надеялся получить не только упорядоченный обзор всех его разновидностей, но также многое узнать о функциональных отношениях между этими фактами. Он даже намеревался сформулировать законы, которые управляют потоком опыта.

Эта концепция психологии была подвергнута жесткой критике со стороны одной психологической школы – *бихевиоризма*, который отвергает и предмет, и цель психологии в старом смысле как негодные. По мнению бихевиориста, у старой психологии не получилось дать убедительный обзор непосредственного опыта; ничем закончились и ее попытки описать отношения между его разновидностями или сформулировать законы так называемой

“психической жизни”. Очевидно, для бихевиориста науки о непосредственном опыте, имеющей ясные методы и надежные результаты, просто не существует. Нескончаемые дискуссии о мелочах и, реже, о важных вопросах не могут быть приняты в качестве замены научного исследования, особенно когда фактам опыта, которые, по предположению, должны быть одинаковыми для всех, разные авторы дают совершенно разные описания. Взять хотя бы пример с мысленными образами. Один психолог утверждает, что у него их более чем достаточно, и многие из них почти такие же яркие и конкретные, как перцепты. Другие говорят нам, что в их непосредственном опыте нет таких вещей, и что первый психолог, вероятно, введен в заблуждение словами или другими моторными феноменами, связанными с объектами, которые на самом деле не представлены в опыте. Если в простом случае интроспекции, таком как этот, невозможно получить лучшего результата, что нам ждать от нее, когда возникают вопросы большей важности, а значит и большей сложности? По правде сказать, сами приверженцы интроспекции, похоже, не доверяют этой процедуре. По всей видимости, они сошлись на том, чтобы как можно реже ставить перед собой важные проблемы и заниматься, в основном, нюансами в области ощущений и восприятия, которые никого не могут заинтересовать кроме интроспекциониста. Если простое описание должно дать нам науку о непосредственном опыте, естественно ожидать, что те, кто придерживается этой точки зрения, сразу примутся за исследование центральных фактов их предмета. И все же они робко держатся его периферии. В европейских странах уже давно ходит шутка, что психология – это тяжеловесные рассуждения о легковесных фактах. Забавно видеть, что, скажем, в случае простого сравнения как психологического события, сотни страниц заполнялись описаниями минутных переживаний, хотя самому событию и точности сравнения никогда не давалась объяснение. Даже в состоянии затруднения наука может быть весьма интересной. Однако эта версия психологии не только закончилась полным провалом; она также стала вызывать скуку у всех, кто не делает ее своей профессией.

Бихевиорист бы добавил, что стойкое нежелание отказаться от интроспекции тесно связано с философским уклоном. Осознаем ли мы это или нет, понятие непосредственного опыта, в его отличии от физического мира, явно связано с такими понятиями, как разум и душа. Скрытно этот термин отсылает к активности психической субстанции, к которой не применимы законы физики и биологии. Как следствие, многим предрассудкам религиозной или метафизической экстракции оказалось легко спрятаться в значении этого понятия. В детстве психолог много слышал о душе и ее сверхъестественных силах. Все это до сих пор сохраняется в его суждениях о непосредственном опыте, и делает его интроспекцию простой защитой средневековой тьмы.

Если бы это был единственный аргумент против интроспекции, интроспекционист мог бы ответить, что эта критика не относится к описанию непосредственного опыта как такового; она лишь указывает на определенную опасность, о которой не все интроспекционисты могут быть достаточно осведомлены. В качестве мер предосторожности следовало бы рекомендовать занимающимся психологией усилить самокритику и исключить

религиозные или философские увлечения. В то же время такие меры послужили бы умиротворяющим жестом в сторону строгого бихевиоризма.

Однако у бихевиориста есть и другие причины не принимать непосредственный опыт как область научных исследований. Прежде всего, у интроспекции как метода нет главного методологического достоинства работы в физике: позиции наблюдателя за пределами системы, которую он наблюдает. Акт интроспекции и ее объекты являются событиями внутри одной и той же системы, и шансы, что первый не нарушит естественный ход последних, чрезвычайно малы. Любая попытка изучить печаль или радость с помощью интроспекции может служить в качестве примера. Если соответствующая попытка делается, такие переживания не остаются неизменными; скорее, они просто уйдут, так как тот же самый человек, который переживает горе или радость, пытается занять позицию наблюдателя за самим собой.

Но даже если бы эту трудность можно было преодолеть, по мнению бихевиориста, мы все равно должны считать этот метод бесполезным, потому что он неизбежно и в высшей степени субъективен. Какова основная характеристика объективного утверждения, формулирующего результат наблюдений в науке? Она состоит в том, что кто бы ни заинтересовался таким утверждением, он будет вынужден воспринимать его как имеющее точное значение. Для этого мы просто должны давать точные определения используемым нами терминам. Так, атомный вес и атомный номер элемента (в таблице Менделеева) имеют четкие определения; то же самое с аналогией и гомологией морфологических структур. Вряд ли найдется физик или биолог, который не знает точного значения этих слов. Но теперь прислушайтесь к психологам, которые обсуждают, скажем, нечеткость, характерную для периферического зрения. Какой точный смысл может быть передан этим словом, если оно не имеет точного определения? Однако дать такое определение, по-видимому, невозможно в ситуации, когда приходится иметь дело с первичными данными непосредственного опыта. Если психолога просят дать определение нечеткости, он может попытаться определить ее отрицательно, например, как отсутствие четкости. Но это не слишком помогает нам, так как мы должны теперь спросить его, что он понимает под “четкостью”. Он может теперь сказать нам, что высокая степень четкости является нормальным свойством центральной части организованного поля зрения. К сожалению, такое поле может иметь более одного нормального свойства, а в псевдоопределении нашего психолога не указан *differentia specifica*, – кроме того слово “организованное” нуждается в определении ничуть не меньше чем нечеткость и четкость. Как бы там ни было, психолог сейчас сделал единственное, что кажется осуществимым там, где, как и в области непосредственного опыта, к истинному определению прийти невозможно: он просто указал в определенном направлении. Если человек не может определить термин, он может дать намек на условия, при которых событие, о котором идет речь, может быть пережито. Если другие понимают слова, посредством которых эти условия описываются, они могут теперь закрепить неопределенный термин за

той фазой своего опыта, для указания на которую этот термин и служит. Но какая же это грубая и нечеткая процедура, если сравнивать ее с элегантными определениями точных наук!

До сих пор мы предполагали, что при одинаковых условиях человек, который не может знать больше того, что дает ему собственный опыт, всегда найдет в нем те же характеристики, объекты и явления, что и другой человек в своем опыте. Два разных физика, видимо, способны дать отчет об одном и том же событии. Они вроде бы могут, например, считать показания с одного и того же прибора или шкалы. Но в случае непосредственного опыта два человека всегда имеют два факта в двух отдельных переживаниях. На каком основании мы предполагаем, что при одинаковых условиях первичные данные опыта одинаковы для нескольких человек? К сожалению, мы никогда не узнаем, так ли это или нет. С одной стороны, цветовая слепота и похожие явления неопровержимо указывают на то, что такой согласованности, в общем, не существует. С другой стороны, у нас нет доказательств согласованности переживаний даже в тех случаях, когда все мыслимые тесты дают идентичные результаты, точно такие же, как и словесные отчеты. Один человек может всегда говорить “красный”, когда другой человек также говорит “красный”. И все же мы знаем только то, что первый человек имеет переживание некоторого постоянного качества там и тогда, где и когда второй человек говорит о красном. Мы не можем утверждать, что первый человек переживает именно то же качество, которое второй человек называет красным. Не помогает нам и знание, что то, что один человек называет красным, по-видимому, обладает таким же возбуждающим воздействием, какое другой человек находит в том, что он называет красным. Ибо они могут вкладывать разный смысл в термин “возбуждающий” и, в действительности, иметь разные переживания, хотя их выражения и не различаются.

Это и есть субъективность в ее предельной форме. Если каждый человек располагает только своим непосредственным опытом, и если он навсегда лишен доступа к непосредственному опыту всех других людей, то непосредственный опыт оказывается частной сферой каждого из нас, и в отношении него невозможна никакая общая наука. Действительно, коль скоро о схожем опыте других так мало можно заключить по непосредственному опыту одного человека, мы можем пойти дальше и спросить себя, есть ли даже у наших лучших друзей вообще какие-то непосредственные переживания. Все, что мы видим или слышим, когда говорим с ними, является частью нашего опыта. То, что в нашем опыте появляется, как, например, их голос, – это в первую очередь следствие физических событий в мышцах их ртов и глоток. Такие физические события должны истолковываться с точки зрения чистой физики и физиологии. А если так, то откуда нам знать, что у наших друзей такие процессы сопровождаются непосредственным опытом?

Бихевиорист, возможно, добавил бы, что он не отрицает определенного вклада, который, до появления бихевиоризма, старые школы психологии внесли в развитие этой науки. Но он непременно скажет, что, глядя на такие достижения с нынешней точки зрения, можно легко обнаружить простой факт: почти все они относятся не к заслугам интроспекции и описательного метода, а являются собой результаты объективного экспериментирования.

Смысл этого слова столь же очевиден в психологии, как и в естествознании. Вместо того чтобы приглашать испытуемого к наблюдению и описанию своего непосредственного опыта, мы помещаем его в четко определенную ситуацию, на которую он будет реагировать тем или иным образом. Мы можем наблюдать и измерять эти реакции, не требуя от него никакого описания своих переживаний. Таким путем был открыт закон Вебера; благодаря такого рода эксперименту Фехнер превратил психологию в экспериментальную науку; с помощью этого научного метода, при почти полном отсутствии интроспекции, были исследованы память и формирование навыков; и, идя таким же путем, Бинэ и Симон впервые измерили индивидуальные особенности интеллекта. Теперь даже убежденный интроспекционист предлагает нашему вниманию описания переживаний цвета и тона, чувств и желаний только до тех пор, пока он не нашел метод, в котором описание заменяется объективным измерением. К тому же, один интроспекционист, по-видимому, признает описания другого интроспекциониста только в той степени, в какой этот другой имел возможность верифицировать свои описания более объективными данными. И много ли тогда проку от непосредственного опыта и его описания в той или иной ситуации?

Из этой критики не все бихевиористы делают одинаковые выводы относительно непосредственного опыта как такового. Правда, практически никто из них не считает непосредственный опыт предметом, имеющим значение для науки, поскольку этот опыт – как частная сфера каждого отдельного человека – недоступен объективному и, следовательно, научному наблюдению со стороны других людей. Лишь немногие представители этого направления, кажется, заходят так далеко, что всецело отрицают существование непосредственного опыта. Эти конкретные люди очевидно терпеть не могут самого понятия “непосредственный опыт”. Но такие незначительные разногласия не имеют особого значения. Ибо, что касается вопроса о методе, то все бихевиористы придерживаются одних и тех же отрицательных и положительных оценок. В этом отношении их программа является простым следствием вышеизложенных аргументов. Выбрав в качестве своего метода объективное экспериментирование, психолог автоматически встал на строго научную почву. Его единственная слабость в том, что он еще не полностью осознал принципиальное различие между точными методиками исследования и просто поиском вслепую, направляемым субъективными соображениями. Физики и химики заинтересованы в получении сведений о том, как система, которую они исследуют, будет реагировать при ее помещении в определенные условия; они также хотят видеть, как меняется реакция, когда эти условия варьируются. Ответы на оба вопроса дают объективные наблюдения и измерения. Именно в этом и состоит соответствующий способ исследования в психологии: в качестве исследуемой системы выбирается испытуемый определенного типа (ребенок, взрослый, мужчина, женщина или животное). Задаются и объективно контролируются определенные условия, среди которых наиболее важными являются условия внешней стимуляции. А результирующая реакция испытуемого регистрируется или измеряется точно так же, как реакции систем в физике и химии.

Таким образом, единственное, что психологи должны теперь признать, сводится к тому, что одной этой процедуры может быть достаточно для достижения любой серьезной цели в их области. Поведение, т. е. реакция живых систем на факторы окружающей среды, является единственным предметом, который может исследоваться в научной психологии; и поведение никоим образом не требует описания непосредственного опыта. Экспериментальная работа будущего будет изучать даже высшие формы поведения в чисто объективном плане. Это должно быть так, поскольку непосредственный опыт не встречается ни в одной точке процесса реального эксперимента. Для некоторых эта истина несколько затенена тем, что во многих экспериментах речевые реакции, видимо, имеют какое-то значение. Если экспериментатор сам использует то, что он называет непосредственным опытом, и если его переживания включают в себя много такого, что ассоциируется со словами, он будет склонен воспринимать слова своего испытуемого как знаки схожих переживаний у этого человека. Тем не менее, такие слова следует рассматривать как реакции испытуемого; и как таковые, они являются чисто объективными физическими событиями, порожденными работой мышц гортани и рта испытуемого. Хотя экспериментатор знает, что другие объективные процессы, такие как процессы возбуждения, происходят до того, как определенные мышцы создадут слова как цепочку звуковых волн, он поступит мудро, если не пойдет дальше. Согласно нашему анализу, он никогда не узнает, сопровождаются ли эти процессы каким-либо непосредственным опытом. Возможно, нам следует приучать себя к менее частому использованию речевых реакций в психологических экспериментах, пока опасность ассоциирования речи с непосредственным опытом не будет со временем преодолена и пока интроспекция не исчезнет из психологии как науки.

Конечно, не все реакции испытуемого с одинаковой легкостью поддаются объективному наблюдению. Иногда даже сильная стимуляция не приводит к явному поведению, которое мы можем регистрировать существующими методами снаружи. В большинстве этих случаев, однако, весьма ценную информацию можно получить от физиологов, изучавших функции автономной части нервной системы и последующие реакции наиболее важных висцеральных органов, включая эндокринные железы. Одной из главных задач психологии станет разработка новых и адаптация имеющихся в наличии методик, пока такие висцеральные реакции не будут регистрироваться с совершенной легкостью. У нас также есть основания предполагать, что явление, называемое интроспекционистом "мышлением", на самом деле заключается в легких возбуждениях, которым мышцы, участвующие в вербальных реакциях, подвергаются в данное время.

Пока, надеюсь, мне удалось избежать искажения при изложении мнений, которые преобладают среди бихевиористов. Наверное, следует быть еще корректнее, так как в нескольких моментах я сочувствую этим мнениям и не питаю особой любви к интроспекции, которая здесь критикуется. По большей части нынешняя интроспекция выглядит работой впустую. Вопреки ее непомерным амбициям, она уводит исследования в сторону от насущных проблем. Позже мы обсудим, является ли это неотъемлемым свойством

интроспекции или просто следствием ошибок, которые особенно часто встречаются среди интроспекционистов.

В данный момент перед нами стоит более простая задача. В естественных науках, говорит нам бихевиорист, методы имеют дело с объективной действительностью, тогда как интроспекция непосредственного опыта – если такая вещь существует – имеет дело с чем-то полностью субъективным. Это правда? Это и есть настоящая причина того, почему естественные науки давно добились всеобщего восхищения, а психология все еще находится в зародышевом состоянии? Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что, начав с восторженного энтузиазма по поводу точности, бихевиоризм на этой стадии своего развития совершенно сбился с правильного пути, и что энергия, потраченная на возражения против любого использования непосредственного опыта, была в результате потрачена на движение в неверном направлении. Конечно, я не знаю, что происходило во время индивидуального развития наших увлеченных, нетерпеливых бихевиористов, но о себе я должен сообщить следующее, и это возвращает нас к нашей отправной точке.

В детстве, когда я еще и не помышлял о мире, существующем за пределами непосредственного опыта, таком как мир физики, у меня не было ничего кроме такого опыта. В то время я, конечно, не знал термина “непосредственный опыт”. Да и никакого смысла он не мог для меня иметь, пока я не узнал о мире физики, которому он затем стал противопоставляться. В моем первоначальном мире огромное разнообразие опыта представало передо мной в виде совершенно *объективных* событий, т. е. существующих или происходящих снаружи и независимо от меня. Другие переживания принадлежали мне лично, частным образом, и были на тот момент *субъективными*: ужасный страх перед некоторыми событиями и теплое, переполняющее ощущение счастья на Рождество.

В последующих главах мы будем заниматься главным образом *объективным* опытом. Однако этот термин может легко ввести в заблуждение. Поэтому я постараюсь определить его значение как можно точнее. При этом я даже рискну повторить часть своих аргументов, так как это и есть тот вопрос, при рассмотрении которого возникает большинство наших трудностей.

Название “опыт” (“experience”), вероятно, указывает на то, что окружающие меня вещи, хотя и предстают передо мной как объективные, на самом деле переживались как данные “в моем восприятии”. В этом смысле они все равно остаются субъективными. Но дело не обстоит так. Они просто были там, снаружи. У меня не было ни малейшего подозрения, что все они были только воздействиями на меня чего-то еще. Я должен пойти еще дальше. Не возникало даже вопроса об их зависимости от моего присутствия, необходимости держать глаза открытыми, и т. д. Так что абсолютно объективными были те вещи, которым в более объективном мире не осталось места. Даже сейчас их объективность настолько сильна и естественна, что я постоянно испытываю соблазн приписать их внешней стороне определенные характеристики, которые, по мнению физиков, являются фактами физического мира. Когда, на этих страницах, я употребляю термин “объективный опыт”, он

всегда будет иметь это значение. Например, стул как объективный опыт, будет чем-то находящимся снаружи, твердым, устойчивым, тяжелым. Ни при каких обстоятельствах он не будет чем-то только воспринимаемым, или только субъективным феноменом в любом смысле этого слова.

В некоторых случаях, правда, разграничение объективной и субъективной сторон непосредственного опыта может стать сомнительным, как в случае послеобразов или укола иглой в мой палец. Это не делает такое разграничение менее важным. Возьмем для сравнения пример из естествознания: в физике разграничение между проводниками и изоляторами сохраняет свою ценность несмотря на то, что между этими полярными группами мы находим очень много промежуточных случаев. В связи нашим обсуждением главным моментом является то, что в вещах, их движениях и т. д. достигается наивысшая объективность.

Повторюсь, когда я впервые начал изучать физику, то узнал не только о физическом мире. Другой урок оказался неразрывно связан с ее изучением: я познакомился со способом мышления, благодаря которому термин “непосредственный опыт” приобрел свое значение. Физический мир не мог быть тождественен объективному миру, который окружал меня все это время. Наоборот, я узнал, что физические объекты воздействуют на чрезвычайно интересную физическую систему, мой организм, и что мой объективный опыт возникает как следствие, когда под таким воздействием в этой системе произошли какие-то сложные процессы. Очевидно, я осознал, что не могу установить тождественность конечных продуктов, вещей и событий, данных в моем опыте, тем физическим объектам, от которых исходили воздействия. Если рана не тождественна пистолету, из которого вылетела пуля, то вещи, которые находятся передо мной, которые я вижу и чувствую, не могут быть тождественны соответствующим физическим объектам. Эти объекты просто производят определенные изменения в моем физическом организме, и конечные продукты этих изменений являются вещами, которые я созерцаю в моем зрительном поле или которые я чувствую своими пальцами.¹

Все-таки остается бесспорным факт, что вещи в последнем смысле были первыми объектами из тех, о существовании которых я узнал. Более того, теперь я понял, что о любых других объектах, таких как объекты физики, я никогда не мог узнать непосредственно. По правде говоря, свойства физического мира можно исследовать только в процессе логического вывода или конструирования, необходимого в той или иной мере. Именно тот, открывавшийся передо мной мир, в отличие от этого сконструированного мира, можно было бы теперь назвать миром непосредственного опыта.

¹ Мы покажем, что то же самое предупреждение применимо и к отношению между моим организмом как физической системой и моим телом как воспринимаемым фактом. Мое тело – это исход определенных процессов в моем физическом организме, процессов, которые начинаются в глазах, мышцах, коже и т. д., точно так же, как стул передо мной – это конечный продукт других процессов в том же физическом организме. Если стул видится как находящийся “передо мной”, то под местоимением “я”, стоящим в этой фразе в форме творительного падежа единственного числа “мной”, понимается мое тело как опыт, конечно, а не мой организм как объект физического мира. Даже психологи, кажется, не всегда полностью отдают себе отчет в этом различии.

Но как я могу заявлять, что стул, например, представляет собой объективный опыт, если я должен признать, что он зависит от определенных процессов в моем организме? Разве стул не становится субъективным переживанием на этом основании? И да и нет. В этот самый момент мы изменили значение терминов “субъективный” и “объективный”. В предыдущем абзаце слово “объективный” обозначало качество, которым некоторые части моего опыта, в отличие от других, обладают как таковым (точно так же, как они обладают размером, цветом, твердостью и т. д.). Но в том значении, в котором термин “субъективный” был только что употреблен, он указывает на генетическую зависимость всего опыта от моего физического организма. В этом последнем значении субъективность сама по себе не является переживаемым атрибутом; скорее, это отношение, которое мы приписываем *всем*, а, следовательно, и объективным переживаниям, как только мы научились рассматривать их как результаты органических процессов. Довольно часто эти два значения термина смешиваются совершенно недопустимым образом, как будто то, что генетически субъективно, должно также фигурировать как субъективное в опыте. Некоторые интроспекционисты, например, по-видимому думают, что, собственно говоря, стул передо мной должен быть субъективным феноменом, который появляется передо мной только как следствие научения или интерпретации. С другой стороны, поскольку такой субъективный стул невозможно обнаружить, бихевиорист высмеивает интроспекциониста как живущего в мире воображаемых призраков. Простая истина состоит в том, что некоторые из переживаний, которые зависят от процессов в моем организме, обладают качеством объективности, в то время как другие, которые зависят от иных процессов в том же организме, обладают качеством субъективности. Это различие не имеет отношения к генетической субъективности обоих видов опыта, т. е. к тому факту, что оба зависят от событий внутри организма. После этого, я надеюсь, неверные толкования термина “объективный опыт” уже не будут возможны. Когда я говорю о стуле, я имею в виду стул из моей повседневной жизни, а не какой-то субъективный феномен.

С другой стороны, как мы уже показали, стул, представленный в объективном опыте, нельзя отождествлять со стулом как частью мира физика. Так вот, поскольку мир непосредственного опыта – это первое, что я узнал, и поскольку все, что я теперь знаю о физическом мире, было позже выведено логическим путем из определенных событий в переживаемом мире, как можно ожидать, что я буду игнорировать переживаемый мир? Ведь он все еще остается моей единственной основой для любых догадок о физических фактах. Если бы мне пришлось выбирать, то я мог бы, конечно, поставить вопрос о том, является ли физический мир, в определенном смысле, более важным. Но даже тогда я должен был бы признать, что с точки зрения знакомства или доступа переживаемый мир предшествует миру физики; кроме того, мой единственный способ исследования физических реалий – это наблюдение за фактами объективного опыта и выведение из них правильных заключений. Уверен, что по мере развития физиологии появится возможность обнаружить нервные процессы, лежащие в основе моего наблюдения и умозаключения, и таким образом дать

физическую теорию этих событий. Но опять же, поскольку мир физиологии является частью физического мира, он никогда не сможет стать непосредственно доступным для меня. Любое продвижение вперед, которого я могу добиться в физиологии, зависит от моих наблюдений за тем, что я называю телом в непосредственном перцептуальном опыте. Если мы послушаем бихевиористов, то у нас может сложиться впечатление, что для них физический и физиологический миры как таковые непосредственно и полностью познаваемы, и что в их, бихевиористов, случае познание не имеет ничего общего с непосредственным опытом. Тем не менее, я не могу изменить это сообщение о своем случае, когда у меня не было и нет сейчас непосредственного доступа к физическим и физиологическим фактам. Естественно, с таким дефектом мне ужасно трудно стать бихевиористом.

Так что же можно сказать по поводу заявления бихевиориста, что в физике наблюдение имеет дело с объективной действительностью, тогда как в случае непосредственного опыта, оно имеет дело с чем-то, что не представляет никакой научной ценности?

Позвольте мне описать мою собственную процедуру, которую я применяю при исследовании свойств физического или химического объекта. Как определить, есть ли этой смеси химических веществ значительное количество $\text{H}_4\text{C}_2\text{O}_2$? Я узнаю о присутствии этой смеси передо мной благодаря определенным фактам объективного опыта и нахожу положительный ответ на вопрос посредством обоняния, т. е. в дальнейшем непосредственном опыте. Так как это довольно грубая процедура, рассмотрим случай точного измерения. Какова сила тока, который при данных условиях должен течь в этом проводе? Положение стрелки на шкале определенного прибора (амперметра) дает мне визуально доступный ответ, а прибор, являющийся частью моего зрительного поля, также как провод и заданные условия, проявляются как части объективного опыта. То же самое применимо ко всем возможным утверждениям и измерениям, которые я когда-либо смогу сделать в физике. Мои наблюдения физических фактов всегда остаются в том же общем классе, как и наблюдения, которые относятся к послеобразам, нечеткости, обнаруживаемой мной в периферическом зрении, или чувству, что я здоров. Следовательно, точность моих наблюдений в физике не может быть связана с якобы соблюдаемым избеганием непосредственного опыта в физических исследованиях. Я не избегаю непосредственного опыта, когда работаю в физике, просто потому, что я не могу его избежать. Тем не менее, мой метод работает. Таким образом, по крайней мере некоторые наблюдения, относящиеся к непосредственному опыту, должны составлять полностью пригодную основу для науки.

Если все конкретные утверждения, которые я могу сделать в физических исследованиях, первоначально основаны на наблюдениях в сфере опыта, то некоторые последствия просто неизбежны. Как я определяю мои термины, когда работаю как физик? Так как мое знание физики полностью состоит из понятий и наблюдений, содержащихся в непосредственном опыте или извлеченных из него, все термины, которые я использую в этой науке, должны, в конечном итоге, относиться к одному и тому же источнику. Если я попытаюсь определить такие термины, мои определения могут, конечно, включать ссылки на

какие-то дополнительные понятия и термины. Но окончательными шагами в этом процессе всегда будут два действия: указание на локус определенных фактов опыта, о которых я говорю, и рекомендации, где проводить определенные наблюдения. Даже самые абстрактные понятия физики, такие как энтропия, не будут иметь никакого смысла без ссылки, хотя она может быть и косвенной, на определенные факты непосредственного опыта. Без этого я никогда не смогу дать определение терминов в физике или понять такое определение, когда оно дано другими, что отличается в этом отношении от того, что я могу использовать в качестве определений в психологии. Тем не менее, здесь метод физики также хорошо работает. Я никогда не испытываю трудностей с определениями, когда физики говорят со мной о своей науке. Поэтому некоторые определения, которые, в конечном счете, содержат ссылку на непосредственный опыт, должны быть достаточно безопасными для использования в точной научной дисциплине. Точность определений в физике не может быть производна от якобы установленного факта, что в этой науке определения независимы от непосредственного опыта, ибо такой независимости просто нет.

Но бихевиорист говорит нам, что наблюдение непосредственного опыта – это личное дело отдельных людей, тогда как в физике два физика могут сделать одно и то же наблюдение, например, считывая показания гальванометра. Я отрицаю истинность последнего утверждения. Даже с точки зрения бихевиоризма это утверждение неверно. Если кто-то наблюдает за гальванометром, то он наблюдает что-то отличное от гальванометра как физического объекта. Ибо объектом его наблюдения является продукт определенных органических процессов, только начало которых определяется самим физическим гальванометром. У второго человека наблюдаемый гальванометр снова является лишь конечным продуктом таких процессов, которые во время наблюдения происходят в организме этого второго человека. Тогда оба человека ни в коем случае не наблюдают за одним и тем же прибором, хотя физически процессы в одном и другом начинаются с одного и того же физического объекта. И все же в большинстве случаев их высказывания о своих наблюдениях так хорошо согласуются, что они даже никогда не спрашивают себя, можно ли считать достаточным сходство двух данных им в непосредственном опыте гальванометров (и обоих этих фактов непосредственного опыта с физическим объектом). Опять же, метод работает. Приватность непосредственного опыта никого не беспокоит – в физике. Работая в данном случае с другими, каждый физик наивно убежден, что его коллеги-физики “имеют перед собой тот самый гальванометр”. Таким образом, он молча предполагает, что его коллеги по работе имеют объективные переживания, очень похожие на его собственные, и он не колеблясь воспринимает слова своих коллег как заявления об этих переживаниях. По мнению бихевиориста это означает, конечно, что физик позволяет сугубо личным событиям играть некую роль в точной науке. Как ни странно, это, видимо, совсем не мешает научной процедуре, так же как это не нарушает ход наших повседневных занятий, где подобное отношение к непосредственным переживаниям является вполне естественным и широко распространенным. Поэтому в некоторых случаях доверие к личным переживаниям других

людей не должно причинять вреда и не может рассматриваться как препятствие на пути научного прогресса. Таким образом, если психология не продвигается вперед в своем развитии так быстро, как хотелось бы, причиной этого не может быть подобное доверие как таковое.

Остается рассмотреть еще одно последствие того, что наблюдение в физике – это наблюдение в сфере непосредственного опыта. Как физик, наблюдающий за показаниями своего прибора, я не боюсь, что моя деятельность как наблюдателя оказывает какое-либо существенное влияние на характеристики того, что я наблюдаю – лишь бы я оставался как физическая система на достаточном расстоянии от прибора как другой физической системы. Впрочем, взятые как непосредственные переживания, и прибор, за которым ведется наблюдение, и мой процесс наблюдения зависят от процессов в одной и той же системе, а именно, в моем организме. И снова бихевиорист неправ, когда заявляет, что из-за включения наблюдателя и наблюдаемых фактов в одну систему наблюдение фактов непосредственного опыта не имеет научной ценности. Ибо в случае физического наблюдения ситуация одинакова: наблюдаемый материал и процесс наблюдения составляют части одной и той же системы. Таким образом, мы видим, что физик и психолог снова оказываются в совершенно одинаковом положении. Неважно, называю ли я себя физиком или психологом, когда наблюдаю за гальванометром. В обоих случаях мое наблюдение обращено к одному и тому же объективному опыту. Процедура работает в физике. Почему она не должна применяться в психологии? Наверняка можно отыскать случаи, когда наблюдение фактов в области непосредственного опыта не приводит к серьезным искажениям этих фактов.

Конечно, этот аргумент содержит в себе замечательное ограничение диапазона его применения. Из него не следует, что все виды так называемой интроспекции правомерны; еще менее он означает, что данные интроспекции в целом независимы от процесса интроспекции. В этом отношении критическую позицию бихевиоризма можно воспринимать просто как расширение сферы действия справедливого аргумента из-за необоснованного его применения ко всем утверждениям о непосредственном опыте. А как таковая, эта критика хорошо принимается во многих случаях.

Я описал как, будучи физиком, я должен обращаться с непосредственным опытом. Правда, экстремист, такой как бихевиорист, мог бы извлечь из этого описания некоторые сомнения по поводу объективности методов физики. Но, к счастью, такие сомнения ни разу не возникали с тех пор, когда во времена Галилея, Ньютона и Гюйгенса в области физики были сделаны первые очень важные шаги. Эти великие исследователи просто занимались своим делом, подходя к нему прагматически наивно и радуясь удачам, чему благоприятствовало отсутствие в физике бихевиоризма, который затормозил бы все ее развитие ради эпистемологической чистоты. Процедура работала несмотря на то, что оправдывать ее шаги на логических основаниях иногда бывало крайне сложно. Науки, которые стремятся проводить свои исследования продуктивным способом, обычно демонстрируют здоровое пренебрежение к таким сомнениям. Для психологии было бы

лучше, если после выслушивания полезного критического урока от бихевиоризма, она также вернулась бы к своим занятиям с более наивной установкой и использовала бы любые методики, которые дают результаты.

Как научная позиция, столь резкие выступления бихевиоризма против непосредственного опыта выглядят для меня весьма странно. Бихевиорист обычно не проявляет повышенного интереса к эпистемологическим соображениям. Но один момент вдруг привлекает его внимание: “Как я могу знать о непосредственном опыте других? У меня никогда не будет четкого доказательства достоверности такого знания. Физика – это другое дело. Там мы в безопасности”. Бихевиорист игнорирует тот факт, что доказать существование независимого физического мира, вероятно, так же трудно, как удостовериться, что другие люди имеют переживания. Если бы я был крайним пуристом, я мог бы оспаривать первое из упомянутых двух утверждений с тем же рвением, с каким бихевиорист оспаривает допущение о непосредственном опыте у других. Почему-то ему не приходит в голову применить свою критику к допущению о существовании физического мира. Он не говорит: “Не занимайся исследованием физического мира, существование которого всегда останется всего лишь допущением”. Напротив, он предполагает реальность этого мира со всей здоровой наивностью, которой ему не хватает в психологии. Причина, пожалуй, в том, что достижения физической науки впечатляющи и потому стали идеалом бихевиоризма. Но, как методологический пурист, бихевиорист не должен рассматривать “голые” достижения как удовлетворительные доказательства в таких вопросах. Конечно, лично я в этом отношении столь же убежден, как и любой бихевиорист. Я тоже полностью осознаю тот факт, что науки часто принимают на веру и постулируют там, где эпистемология может иметь свои сомнения. Но с этой точки зрения я могу, конечно, тоже полагать, что другие имеют непосредственный опыт. Решающим моментом является то, что это помогает сделать мою работу проще и продуктивнее. Повторяю, на этой позиции я чувствую себя увереннее, так как считаю, что моя работа в физике также основывается на непосредственном опыте; что в этой науке допущение о непосредственном опыте у других делается естественно; и что, следовательно, огромное превосходство физики над психологией не может вытекать из каких-либо различий в этом отношении.

В этот момент я вижу, как бихевиорист иронически улыбается. Наверное, он хочет сказать следующее: “Со всей его философией мистер Кёлер никогда не продвинется вперед в направлении, противоположном тому, в котором движется строгий научный бихевиоризм”. Мой ответ заключается в том, что основа бихевиоризма в той же мере философская, как и моя критика: бихевиоризм произрастает на эпистемологической почве. В этой связи единственное различие между бихевиористом и мной состоит в ширине наших зрительных полей. Бихевиорист видит только одну теорему эпистемологии – непосредственный опыт одного человека недоступен наблюдению других людей. Как экстремист, он сосредоточен исключительно на этом моменте и игнорирует контекст, из которого он взят. Я же учитываю

этот контекст, и он изложен в приведенной выше аргументации. И, очевидно, я предпочитаю делать выводы из этого более широкого взгляда на ситуацию.

II

ПСИХОЛОГИЯ КАК МОЛОДАЯ НАУКА

До сего времени, как нам известно, непосредственный опыт является исходным материалом как для физики, так и для психологии. Если, несмотря на это, физические науки пока значительно опережают в своем развитии психологию, что мы можем сделать для того, чтобы добиться аналогичных достижений?

Одно преимущество современной физики обязано своим появлением тщательному отбору фактов опыта, играющих важную роль в решающих моментах физических исследований. Вполне естественно, что физик игнорирует весь субъективный опыт в том виде, как мы его определили в первой главе, потому что ощущения, эмоции и т. д., похоже, не имеют аналогов среди событий физического мира. Все трудности психолога, который пытается наблюдать и описывать субъективные явления, таким образом, просто избегаются физической наукой.

Но отбор и исключение не останавливаются на этом. Хотя во времена ранних физических исследований в качестве доказательства соответствующих физических фактов выбирался самый объективный опыт, более критический взгляд на ситуацию с доказательствами позже способствовал устранению значительной части этого материала. В настоящее время процесс отбора становится крайне строгим. Например, прогресс науки сделал почти везде возможным переход от качественного наблюдения к количественному измерению. Практически все физические измерения теперь производятся косвенными методами. Редко современный физик непосредственно наблюдает то, что должно считаться опытным (непосредственно переживаемым) эквивалентом изучаемой физической переменной; скорее, его наблюдение относится к другому опыту, достоинство которого в том, что он идеально подходит для более точного определения. При этом знание связи между этим последним опытом и физической переменной должно, конечно, считаться само собой разумеющимся. Из всех фактов объективного опыта, которые могли бы отвечать требованиям физика, пожалуй, нет лучшего, чем положение визуальной линии (указателя, стрелки) на шкале других визуальных линий, особенно если это положение становится совпадением первой линии с одной из других. Диапазон фактов непосредственного опыта, которые до сих пор используются при измерении, действительно был сведен к минимуму. Такое впечатление, как если бы одна и та же шкала и одна и та же стрелка использовались везде и всеми. Эта простая ситуация позволяет физику получать сотни самых разных сообщений о физическом мире. Она обеспечивает получение данных об “атмосферах” или “вольтах”, “амперах” или “градусах”, и т. д., почти *ad infinitum*. Помимо наблюдения совпадений и проверки связи своего прибора с исследуемой системой, физику остается только читать определенные слова

и цифры на шкале. Нет более непосредственного опыта, чем опыт, входящий в эту процедуру. В таких условиях мало шансов совершить ошибку. Благодаря этому преимуществу, даже столь простой факт, как величина физического объекта, не измеряется непосредственно. Физик не измеряет длину объекта путем прямого сравнения с длиной эталонного объекта. Такое сравнение было бы недостаточно точным; кроме того, результат оказался бы искажен оптическими иллюзиями. Физик предпочитает метод совпадения линий или точек. Фактически он определяет физическую длину этим методом, а затем измеряет длину объекта, наблюдая совпадение его границ с определенными точками на шкале.

Если теперь мы спросим себя, следует ли нам в психологии перенять процедуру естественных наук, на этот вопрос нужно будет дать два ответа, потому что процедура эта имеет два аспекта. В *первую* очередь, она (процедура) включает в себя требование делать утверждения о физических системах на основе объективного опыта. В настоящее время поведение людей и животных также может изучаться как часть объективного опыта наблюдателя, в котором непосредственный опыт наблюдаемых не играет никакой роли. Очевидно, что такое изучение поведения полностью приемлемо и поэтому будет развиваться и в дальнейшем. Конечно, оно существовало и до появления бихевиоризма; но эта научная школа по существу права, восхваляя преимущества объективной процедуры в сравнении с интроспекцией. Хотя бихевиористы явно переусердствовали в этом, не сумев оценить, что даже в объективных методах непосредственный опыт наблюдателя остается исходным материалом, их ошибка не имеет особого значения до тех пор, пока на наш вопрос дается правильный *второй* ответ. К сожалению, бихевиоризм здесь склонен занимать неправильную позицию.

В современной физике, как мы видели, объективные процедуры характеризуются использованием небольшой группы отобранных фактов объективного опыта и, следовательно, исключением всех остальных, так как они не удовлетворяют требованиям количественного измерения. Должны ли мы делать то же самое в психологии как науке о поведении? Очевидно, ответ будет зависеть от характера наблюдаемого поведения. Трудно судить о методе как таковом. Метод хорош, если он приспособлен к изучаемому предмету; и плох, если он не учитывает специфику материала, или если он придает исследованию неверное направление. Следовательно, то, что оказалось отличной процедурой в одной науке или для решения одних проблем, может оказаться совершенно бесполезным или даже стать помехой в другой науке или для решения других проблем. В этом отношении легко увидеть, что поведение имеет явно различные формы и, таким образом, ставит перед психологом соответственно разные задачи. Всякий раз, когда косвенные количественные методы, такие как методы физики, могут быть применены в соответствии с нашей задачей, они, конечно, должны быть применены. Например, Курт Рихтер (Richter, С. Р.) и его сотрудники нашли способ, которым можно исследовать различные “драйвы” (внутренние импульсы) животных и их временные изменения. Метод состоит в регистрации величины общей или специфической

активности.² Естественно, все исследователи поведения будут глубоко заинтересованы в дальнейшей разработке этой методики. Это корректная процедура для случаев, в которых суммарное количество активности относительно внешних условий и внутренних состояний дает ценную информацию.

Но как быть с другими случаями, когда либо наши проблемы не относятся к классу количественных, либо когда мы не можем заменить непосредственное наблюдение наблюдением других фактов, которые лучше подходят для точного измерения? Очевидно, что различные качественные типы поведения не менее важны, чем количественные различия внутри данного типа. После того как мы узнали о таком качественном разнообразии поведения, а также о его особом, отдельном типе, с которым мы имеем дело в данном случае, вопрос количественного измерения становится чрезвычайно важным. Но в любом случае разграничение качественных типов должно быть проведено в первую очередь. Так, в ходе наблюдения за щенком мы, возможно, должны спросить себя, является ли поведение животного игровой активностью или более серьезной реакцией на существующие условия. Такой вопрос вовсе не обязательно подразумевает признание у щенка “психической жизни”; скорее, он обращен к отличительному признаку того, что фактически наблюдается. Отличие – это признак, создающий разницу, качественное различие между типами поведения. Опять же, наблюдая за человеком в какой-то критической ситуации, не лишне обратить внимание на то, разговаривает ли он с нами твердым (уверенным) или дрожащим голосом. В настоящее время это, по существу, качественное различие. В будущем, возможно, удастся найти метод, с помощью которого можно измерять твердость голоса. Но для правильного использования такого метода мы все равно должны знать из непосредственного наблюдения, что мы имеем в виду под твердостью или нетвердостью (дрожанием) как временными отличительными признаками голоса. В противном случае мы подверглись бы опасности измерить не то, что предполагалось.

Применение косвенных методов ко многим другим формам поведения столь же ограничено. Бихевиористы, как я понимаю, считают, что мы можем исследовать эмоциональное поведение испытуемых, не обращаясь к их субъективным переживаниям. По крайней мере, в этом случае психологи часто пытались перенести наблюдение в те области, где возможна точная регистрация и измерение. Было положено много сил на разработку пневмографических, плетизмографических, гальванографических и других физиологических методов. Результат, однако, совсем не обнадеживает; ибо снова наша интерпретация зарегистрированных таким образом кривых полностью зависит от одновременного непосредственного наблюдения либо за субъективными переживаниями испытуемого, либо за его поведением в более общем качественном смысле. У нас нет никаких оснований делать выводы только из подобных кривых. В настоящее время такие методы скорее сами являются проблемами исследования, чем вспомогательными средствами для решения психологических

² Cf. C. P. Richter, “Animal Behavior and Internal Drives”, *Quarterly Review of Biology*, 2, 1927.

проблем. Вообще говоря, наблюдать проявления гнева как таковые в поведении испытуемого все еще проще и надежнее, чем измерять, например, содержание адреналина в крови.

Почему психология испытывает эту трудность, хотя она, кажется, не существует в физике? Ответ достаточно прост: физика – старая наука, а психология находится в стадии становления. У физиков ушли столетия на то, чтобы постепенно заменить непосредственные и более качественные наблюдения другими, которые являются косвенными, но очень точными. Их успех был связан с ранее приобретенными знаниями о физическом мире. За большинством косвенных методов и измерений стоят обширные предварительные знания. Физике пришлось собирать эти знания по крупицам, когда ее наблюдения еще были более качественными и менее точными. Только идя таким путем, она смогла открыть те важные физические связи, на основе которых качественное непосредственное наблюдение в наши дни почти всюду заменяется косвенным и точным измерением. Эрстед должен был экспериментальным путем открыть связь между электрическими и магнитными явлениями, прежде чем точные измерения силы тока стали возможными. Его наблюдение (отклонение стрелки компаса при пропускании тока через лежащий рядом провод) было качественным и непосредственным, но плодом этого непосредственного качественного опыта стала косвенная количественная процедура измерения. Даже в наши дни Вильгельм Рентген не приступил немедленно к измерениям, когда открыл X-лучи. Сначала ему нужно было проанализировать их свойства в серии качественных экспериментов. Позже, конечно, его лучи нашли применение как средство измерения физических констант кристаллов. Слишком легко мы забываем о том, что в самом начале, а также когда возникают более узкие новые области исследования, естественные науки почти полностью полагаются на качественные наблюдения. Конечно, количественные косвенные методы сейчас являются наиболее впечатляющими приметами точных наук, особенно для обывателя, который восхищается этими дисциплинами со стороны. Но надо понимать, что в большинстве случаев такие методы представляют собой просто более поздние усовершенствования первоначальных методов, которые были прямыми и качественными. Только на этом фундаменте могло быть возведено современное изящное здание физической науки. В восемнадцатом веке Кавендиш измерял величину сопротивления разных материалов прохождению электрического тока, сравнивая ощущения от удара током, который проходил через геометрически эквивалентные образцы этих материалов, когда он, держа такой материал в одной руке, прикасался им к одному полюсу батареи, а свободной рукой касался другого полюса. Это было неправильно? Напротив, в той новой тогда области исследования эта процедура была вполне оправдана. Таким способом он получил предварительные знания фактов, которые затем можно было использовать для разработки более точных методов.

Отсюда следует, что везде, где мы встречаем в психологии подходящую количественную проблему и соответственно точный метод измерения, мы можем сразу применять процедуры, сопоставимые с теми, которые сейчас используются в физике. Проблемы, за решение которых Галилей взялся в семнадцатом веке, можно было сразу

решить количественно, потому что в данном случае качественный опыт повседневной жизни обеспечивал необходимую основу. Но для большинства психологических проблем дело обстоит не так. Где в психологии у нас есть то знание о важных функциональных отношениях, на котором могли бы основываться косвенные и точные измерения? Его не существует. Следовательно, если разработка более точных методов предполагает наличие такого знания, то его накопление должно быть нашей первой задачей. По большей части, наше предварительное продвижение в этом направлении неизбежно будет выглядеть неуклюжим и грубым. Поборники точности не понимают сложившейся в психологии ситуации. Они не понимают ни природы, ни исторических предпосылок возникновения косвенных количественных методов. Если мы хотим брать пример с естественных наук, мы не должны подражать им в их высокоразвитой современной форме. Скорее мы должны подражать им в их исторической молодости, когда их состояние развития было сопоставимо с нашим собственным в настоящее время. В противном случае мы будем вести себя как мальчишки, которые пытаются копировать импозантные манеры взрослых мужчин, не понимая их *raison d'être* и не сознавая, что невозможно перескочить через промежуточные этапы развития. В этой связи знакомство с историей физики наиболее поучительно. Если мы хотим подражать естественным наукам, давайте делать это с умом.

Поведение чрезвычайно богато нюансами. Только если мы признаем это богатство и непосредственно изучим его, можно будет постепенно найти количественные процедуры, соответствующие нашему предмету. В настоящее время, и в этой более широкой исторической перспективе, качественные наблюдения часто могут быть более продуктивными, чем преждевременные измерения.

Если бы организмы больше походили на системы, исследуемые в физике, то многие методы физиков могли бы быть внедрены в нашу науку без особых изменений. Но на самом деле сходство не очень большое. Одним из преимуществ, которые делают работу физика гораздо легче, является простота изучаемых систем. Его системы просты, потому что, до известной степени, экспериментатор сам определяет их свойства. Я далек от того, чтобы считать, будто органические процессы относятся к классу сверхъестественных. Напротив, самым поразительным отличием организма от простой физической системы является огромное множество физических и химических процессов, которые, находясь в сложных взаимосвязях, происходят в каждый момент времени в организме. Мы совершенно не способны создавать упрощенные органические системы для первоначального изучения. Амеба – это более сложная система, чем все системы неживого мира. Мы также знаем, что при изучении, к примеру, свойств нервно-мышечного препарата, мы не исследуем “часть” естественного поведения. Функциональные характеристики такого препарата отличаются от характеристик, которые обнаруживают те же нерв и мышца при обычном поведении. Некоторые бихевиористы справедливо отметили, что мы должны изучать именно целый организм. К сожалению, в целом организме редко удастся проследить за изменением одной обособленной переменной, как если бы только на нее одну воздействовало определенное изменение во внешних условиях. Изменение одного фактора обычно влечет за собой сопутствующие изменения многих других, а эти последние изменения снова влияют на первое, исходное изменение. Так вот, выделение функциональных отношений и сокращение переменных, участвующих в событии, – это замечательные ухищрения, благодаря которым в

физике облегчаются точные исследования. Поскольку этот прием не применим в психологии, так как мы вынуждены принимать за начало организм таким, как он есть, в большей или меньшей его полноте, то любой вид наблюдения, которое обращается к поведению наших испытуемых как сложных действующих целостностей, будет в нашем случае подходящим методом.

На самом деле, однако, молодая психология не могла противостоять искушению, вызванному блестящими достижениями современной науки. Время от времени волна недалновидного подражания накрывала психологию с головой и вселяла в нее чрезмерный энтузиазм. Сам Фехнер был первым, кто копировал взрослую физику, когда психология едва родилась. Видимо, он был убежден, что измерение как таковое способно сделать из психологии науку. Результат хорошо известен. Измерение, чрезвычайно плодотворное как усовершенствованное продолжение предыдущего качественного наблюдения, может легко стать мертвой рутинной без такой подготовки. Сегодня уже невозможно сомневаться в том, что тысячи количественных психофизических экспериментов были проведены почти напрасно. Никто не знал точно, что он измерял. Никто не изучил психические процессы, на которых строилась вся эта процедура. Похоже, что в эпоху Фехнера психология стала наукой не в результате появления его психофизики, а просто по поводу этого события, вопреки преждевременной программе количественных измерений.

За прошедшее с тех пор время этот урок, кажется, был забыт. Наблюдая за тем, с каким энтузиазмом квалифицированные психологи измеряют индивидуальные различия в интеллекте, почти невозможно отделаться от воспоминаний о временах Фехнера. С практической точки зрения, было бы несправедливо сказать, что их работа совершенно бесполезна. По-видимому, некая природная общая способность к определенным видам деятельности действительно измеряется такими тестами. Ибо, в целом, результаты тестов показывают удовлетворительную корреляцию с достижениями как в школе, так и в последующей жизни. Однако этот несомненный успех таит в себе серьезную опасность. Подобные тесты не показывают, какие конкретные процессы в действительности участвуют в их выполнении на том или ином уровне. Набранные баллы просто цифры, которые допускают много различных интерпретаций. Фигурально выражаясь, полученный балл может означать следующее: 3 балла за “интеллект” в сочетании с 1 баллом за “внимательность”, 4 баллами за “амбиции” и 3 баллами за “быстроту утомления”. Но это также может означать 6 баллов за “интеллект”, 2 балла за “внимательность”, 1 балл за “амбиции” и 2 балла за “быстроту утомления” – и т. д. Таким образом, комбинации определенных компонентов в разных пропорциях могут давать точно такой же IQ. Очевидно, что это имеет значение даже в практических целях. Например, с ребенком следует обращаться – обучать и воспитывать, – учитывая природу и силу специфических факторов, которые совместно определяют его общий IQ. Конечно, это отнюдь не новая критика, но принимая во внимание влияние, которое тесты приобрели в наших школах, ее не лишне повторить. Мы все еще слишком легко удовлетворяемся нашими тестами, потому что, как количественные процедуры, они выглядят подкупающе научными. Я еще раз настаиваю, что это поверхностный взгляд. Если мы

сравним дело тестирования с поведением нашего идеала, физика, то обнаружим поразительную разницу. Какие вопросы задает себе физик, когда сталкивается с новой областью исследований? Все они имеют такой вид: Является ли свет колебательным процессом? Если это так, то его колебания идут в направлении распространения света или под прямым углом к этому направлению? Вызываются ли магнитные явления в веществе магнитными полями элементарных токов в молекулярных структурах? Почему поверхностное натяжение придает жидкостям и пленкам жидкостей регулярные формы? Как спектр одного элемента может содержать тысячи различных спектральных линий? Это тот тип вопросов, которые физику интересны. В таких вопросах он формулирует свои фундаментальные проблемы. Правда, пытаясь найти на них ответы, он использует на определенных этапах количественные методы, которые существенно помогают в этом процессе. Он также использует их для установления точных законов. Но все это регулируется его вопросами о природе событий и характере объектов. Относятся ли данные явления к тому или иному виду? Таковы главные проблемы экспериментальной науки, в исследовании которых измерение стало верным слугой, без которого трудно обойтись.

Если мы спросим себя, какие проблемы в отношении процессов, участвующих в интеллектуальном поведении, мы решаем с помощью наших тестов, не многие из нас будут готовы дать ответ. Некоторые психологи дошли до того, что предлагают определять интеллект как X , который измеряется данным тестом, и считают, что в науке измерение важнее всех вопросов о природе измеряемых событий. Из чего становится совершенно ясно, что вместо попыток воспроизвести основную модель исследований в физике мы склонны копировать лишь ее внешнюю количественную форму. Предположим, физика интересуют различные типы двигателей. Вряд ли бы у нас сложилось хорошее мнение о человеке как специалисте, если бы он ограничил свое исследование двигателей следующими испытаниями: измерением их объема, температуры на их поверхности, ионизации воздуха на малом расстоянии от них, максимального числа оборотов и их общего веса. Наверное, этот человек совсем потерял бы наше уважение, если бы он теперь рассчитал на основе этих данных “коэффициенты мощности”, определил “мощность” своим, только ему понятным, способом, проигнорировал все вопросы о процессах, которые заставляют двигатели работать, и остался удовлетворенным на многие годы этой процедурой. В этом сравнении я, безусловно, допустил преувеличение. Но я делаю это намеренно, с тем чтобы привлечь внимание к тому, что количественные методы *per se* не способны придать ценность данной деятельности. К сожалению, человеческие интересы обычно настолько узки, что увлеченность только количественной фазой исследований сразу приводит к дальнейшим осложнениям. Люди, страдающие этим недугом, не скоро осознают проблемы, которые без предварительной подготовки не подходят для количественного исследования. Тем не менее, в данное время такие проблемы могут быть существеннее и, в более глубоком смысле слова, научнее многих чисто количественных вопросов. В решении этих проблем качественное наблюдение составило бы первый этап, но поскольку в современной физике качественными методами, как

может показаться, пренебрегают, нам не хватает смелости взяться за эти задачи, сколь бы неотложными они ни были на самом деле. Таким образом, мы рискуем упустить величайшие возможности, которые нам предоставляет нынешний этап развития психологии как незрелой науки.

В психологии животных ситуация временами близко напоминала ту, которую мы только что обсуждали. При экспериментировании на животных практически единственным количественным методом является статистический. Другими словами, мы не измеряем в строгом смысле этого термина, а просто подсчитываем, сколько раз животное или группа животных делает то или иное в заданных условиях. Естественно, для того, чтобы иметь сопоставимые случаи, к которым процедура может быть корректно применена, мы ставим животных в ситуации, в которых их поведение ограничивается лишь несколькими вариантами. Реальные поведенческие акты мы подсчитываем, и результат наших экспериментов представляется в виде частот реализации различных вариантов. Этот метод как таковой не вызывает споров. Но нам следует отдавать себе отчет в том, что при использовании исключительно этого метода наши знания о поведении, скорее всего, будут носить ограниченный характер. Помня об этой проблеме, мы обязательно выбираем экспериментальные условия таким образом, чтобы исключить варианты поведения, которые в других обстоятельствах имеются в репертуаре животного. Правда, некоторые психологи, по крайней мере, наблюдают остальные формы поведения как таковые, и это помогает им интерпретировать свои количественные результаты. Но другие отказываются это делать, так как, по их мнению, только количественные наблюдения являются научными. Это оставляет их с одними цифрами в качестве экспериментальных данных. И даже тогда эта процедура может быть полезной, – при условии, что она находится в руках тех удачливых людей, которые всегда находят интересные экспериментальные проблемы. У всех прочих, однако, такая установка, скорее всего, выльется в консерватизм. Возлюбив цифры и кривые, они будут держаться подальше от истинного источника новых идей и проблем для молодой науки – широкого взгляда на ее предмет.

Вряд ли можно преувеличить ценность качественной информации как необходимого дополнения к количественному исследованию. В отсутствие такой информации психология поведения легко станет столь же бесплодной, сколь точной она, предположительно, является. Слишком большой интерес к доступным количественным методам не является многообещающим умонастроением в то время, когда развитие психологии зависит скорее от открытия новых вопросов, чем от однообразного повторения стандартизированных методов. Если скажут, что психология поведения не нуждается в таком совете, то я отвечу, что Уотсон подвергся критике как раз потому, что его известные наблюдения над детьми не были сделаны в освященной форме количественно контролируемых экспериментов. Я не считаю, что эти наблюдения дают полностью адекватное описание первичных реакций и раннего научения у детей. Но они выявляют интересные факты, о которых мы, возможно, никогда не узнали из столбцов абстрактных цифр. Однажды выдающийся психолог был достаточно

любезен, чтобы сказать несколько одобрительных слов о моем исследовании интеллектуального поведения человекообразных обезьян. И все же, добавил он, вы упустили главное, не применив статистический метод. На мой взгляд, это утверждение указывает на неспособность осознать проблемы, которые я попытался обсудить в предварительном порядке. Эти проблемы касаются характерных форм интеллектуального поведения у представителей конкретного биологического вида, демонстрируемых в различных ситуациях. Все, что было ценного в этих наблюдениях, пропало бы, если бы их “результаты” обрабатывались абстрактным статистическим способом. При таких обстоятельствах предостережение против восхваления исключительно количественных процедур все еще актуально. Количественные исследования, повторяю, предполагают качественный анализ, в котором исследователю открываются плодотворные проблемы.

В физике измерение, как правило, вытекает из особых вопросов – вопросов, которые в некотором смысле являются предварительными гипотезами в отношении непознанных аспектов природы. Физики предпринимают многократные попытки объяснить наблюдаемые, но непонятные факты, высказывая предположения о непознанных сторонах природы. Но физик не делает таких предположений ради них самих. Любое конкретное предположение, которое служит объяснением некоторых наблюдений, имеет следствия за пределами этих фактов. Весь интерес, естественно, концентрируется на этих следствиях и на их исследовании. Возьмем такой пример. Что происходит в случае электропроводности электролитов? Аррениус выдвигает смелую гипотезу, что в проводящих ток растворах молекулы распадаются на независимые ионы. Заряды этих частиц и объясняют тот факт, что раствор является проводником. Но если ионы являются практически независимыми частицами, то их независимость должна иметь следствия в отношении оптического поведения электролитов. Эти следствия вскоре проверяются в новых экспериментах. Пример показывает, что хорошая гипотеза столь же важна для прогресса науки, как наблюдение и измерение. Фактически, развитие физики можно охарактеризовать как последовательность возвратно-поступательных движений от первого ко второму и обратно.

Органические системы предлагают нашему вниманию бесчисленное количество загадочных фактов, к которым может быть с пользой применена та же процедура. Мы кое-что знаем о влиянии стимуляции на органы чувств наших испытуемых. Мы также наблюдаем их открытые, внешние реакции. Но между этими двумя терминами – стимул и реакция – находится *terra incognita*, превосходящая по размерам “неизвестную землю”, отмеченную на карте Африки семьдесят лет тому назад. Очевидно, что поведение зависит как от динамики организма, так и от внешних условий. В той степени, в которой внутренняя часть живой системы пока еще не доступна для наблюдения, нашей задачей будет выдвижение гипотез о происходящих там событиях. Ибо много чего происходит между стимуляцией и реакцией. Реакцию живого организма невозможно понять только на основе периферической стимуляции. Те, кто знаком с историей физики, наверняка сочтут, что задача поиска плодотворных предположений о скрытых antecedентах поведения является, возможно, самой

важной из всех задач. От ее успешного решения может зависеть все будущее психологии. Поэтому на данном этапе все творческие силы бихевиоризма следует сосредоточить на точном подражании физике. Критическое отношение к интроспекции и непосредственному опыту, демонстрируемое бихевиоризмом, является лишь негативным отличительным признаком этой школы. Где ее характерные позитивные идеи? Если я немного разочарован плодами бихевиоризма, то причина, прежде всего, в очевидной для меня скудости функциональных понятий, которые эта школа применяет к объяснению поведения. Вряд ли это можно признать удовлетворительным достижением, даже если бихевиорист заимствует из физиологии понятие рефлекторного действия (включая рефлексы внутренней секреции), а затем добавляет понятие обусловливания как функцию, которая должна объяснять развитие всех новых форм поведения. Бихевиористы, подобно многим другим людям в наше время, по видимому, являются убежденными негативистами. “Не признавай непосредственный опыт в психологии!” – их первая заповедь, а вторая – “Не измышляй других функций, кроме рефлексов и условных рефлексов!”. Нам нет нужды возвращаться к обсуждению первой заповеди. Вторая же заповедь кажется мне несовместимой даже с самым элементарным знанием об органических событиях, которым мы в данное время располагаем. Не понимаю я и того, по какой причине организм должен восприниматься как такой никчемный вопрос. Я не могу удержаться от мысли, что, исключая все функции кроме этих двух, бихевиоризм проявляет иррациональную узость. Хотя эта школа заявляет о своей революционности, на самом деле она демонстрирует догматический консерватизм. Даже в наше время физика, будучи уже зрелой наукой, позволяет себе производить на свет, как минимум, по одной новой идее об атомном ядре в год. Несмотря на молодость психологии, похоже, бихевиористам редко приходи в голову, что новые функциональные идеи могли бы потребоваться и нашей науке. Видимо, когда бихевиоризм родился, кто-то положил в его колыбель окончательную истину о функциональных возможностях организма.

На каком основании я говорю о скудости функциональных понятий бихевиоризма? Мое утверждение вызвано сравнением с многообразием процессов, которые физик приписывает неживой природе. И, повторюсь, некоторые простые физические системы гораздо богаче по разнообразию своих функций, чем нервная система человека в глазах бихевиориста. Конечно, никому еще не удалось выработать условный рефлекс у мыльного пузыря. Тем не менее, по своим функциональным характеристикам, как мне кажется, мыльный пузырь явно превосходит организм, каким он выглядит в глазах бихевиориста. То же самое можно сказать и в отношении великого множества других систем неживой природы. Несмотря на то, что им не хватает безусловных и условных рефлексов, их поведение, как ни странно, часто напоминает поведение животных. Но для бихевиоризма было бы ересью следовать такой подсказке. Начав подражать естественным наукам, бихевиоризм исключил из своей программы не только непосредственный опыт. Как это ни странно, он также исключил все богатство функциональных понятий, которые физическая наука, выступающая в роли его

идеала, предложила для рассмотрения и выбора. Даже отдельные представители этой научной школы начинают протестовать против такой установки.

Наблюдатель, который непродвзято смотрит на поведение человека и животных, вряд ли сочтет, что безусловные и условные рефлексы являются наиболее подходящими понятиями для объяснения фактов в этой области. Но если кто-то глубоко убежден, что все факты, касающиеся работы нервной системы, можно описать в этих терминах, у него, конечно, нет никакого побудительного мотива для независимого наблюдения поведения. Раз такой исследователь не испытывает потребности в новых функциональных понятиях, почему он должен беспокоиться о дополнительной информации, из которой такие понятия могут возникнуть? Кроме того, ограничение наблюдения подсчетом нескольких реакций, которые только и возможны в традиционных экспериментальных ситуациях, будет служить защитой той консервативной схемы, с которой работает бихевиорист. Таким образом, ограниченность наблюдения способствует сохранению узости теории.

Но даже при более объективном интересе к разнообразным формам поведения, как нам найти новые функциональные понятия? Разве разрыв между наблюдаемыми условиями стимуляции и наблюдаемыми открытыми реакциями не настолько велик, что любые гипотезы о связывающих функциях должны выглядеть опрометчивыми? Само собой разумеется, что мы будем использовать все подсказки, которые дают нам физиология нервной системы и эндокринология. Но даже самые последние открытия в этих областях не говорят нам, в чем именно мы нуждаемся для достижения наших целей. В такой ситуации практически любое предположение будет более полезным, чем простое ожидание. Гипотезы эмпирической науки часто основываются на довольно скудных доказательствах. Так как такие предположения будут проверяться и постоянно корректироваться, они, безусловно, не могут причинить вреда. Если они окажутся полностью или частично верными, то никто не будет сомневаться в легитимности их происхождения. Если же они окажутся ошибочными или бесплодными, их всегда можно отбросить и заменить более подходящими идеями.

В действительности, гештальтпсихология не испытывает особых трудностей в разработке своих основных гипотез о динамике нервной системы. В наблюдениях за поведением животных и человека непосредственный опыт объектов наблюдения не принимается в расчет. Во всяком случае, если такой опыт и существует, экспериментатор не предполагает, что он оказывает влияние на ход физиологических событий, которые вставляются между внешними условиями и открытым поведением. Предположения об этих событиях должны быть такими, чтобы объяснять наблюдаемое поведение независимо от нефизиологических факторов. Непосредственный опыт не является силой, которая могла бы вмешаться в цепь физиологической каузации. (Дуалисты выдвигают противоположную гипотезу. Но я не считаю, что их способ мышления вносит сколько-нибудь весомый вклад в функциональный анализ поведения.)

Хотя именно так я должен рассуждать о своих испытуемых, я не могу исключить свой непосредственный опыт при наблюдении за их поведением. Как я могу исключить его, если

даже при использовании самых косвенных методов физики я должен основываться на воспринимаемых фактах? Более того, как мы уже видели, при изучении поведения мне приходится использовать многие формы объективного опыта, которые больше не используются в количественных процедурах физики. Но если мой опыт приемлем в качестве основы моих утверждений о поведении других, почему я должен опасаться использовать его при разработке гипотез о функциях нервной системы?

Предположим, что я выступаю в роли испытуемого. В этом случае экспериментатор опять-таки захочет узнать, какие скрытые процессы в моей нервной системе служат связующим звеном между наблюдаемыми стимулирующими условиями и наблюдаемым поведением. Но я могу помочь ему построить мост через эту пропасть. Многие фазы моего открытого поведения сопровождаются непосредственным опытом. Теперь мы не сомневаемся, что этот опыт наиболее тесно связан с некоторыми из процессов, относительно которых экспериментатору хотелось бы иметь, по крайней мере, рабочую гипотезу. При этих условиях кажется естественным использовать мой непосредственный опыт в качестве основы для теоретических операций. Да, конечно, не все события в моей нервной системе, способствующие моему поведению, сопровождаются непосредственным опытом. В этих обстоятельствах любая гипотеза, к которой мы приходим таким путем, будет иметь ограниченную область действия. Надо оставить физиологии задачу преодолеть эти ограничения в будущем. К сожалению, в настоящее время физиологические представления о функциях мозга примерно столь же спекулятивны, как и наши собственные догадки. Поэтому будет разумно полностью использовать тот шанс, который логическое умозаключение из непосредственного опыта предлагает психологу.

Только что сказанное не предполагает, что с этой целью мы должны заниматься интроспекцией в специальном смысле этого слова. Для нашего предприятия будут использоваться только простые утверждения об опыте, т. е. такого рода утверждения, какие все наблюдатели имеют обыкновение делать о людях, животных, приборах и т. д. Начнем с объективного опыта. При нормальных условиях объективный опыт зависит от физических событий, которые раздражают органы чувств. Но он также зависит от такого рода физиологических событий, которые мы сейчас хотим исследовать. Физик заинтересован в первом факте: зависимость объективного опыта от физических событий вне организма позволяет ему заключить из опыта, что представляют собой эти физические события. Нас интересует последний факт: так как объективный опыт зависит от физиологических событий в головном мозге, такой опыт должен содержать подсказки относительно природы этих процессов. Другими словами, мы утверждаем, что если объективный опыт позволяет нам нарисовать картину физического мира, то он должен также позволить нам нарисовать картину физиологического мира, с которым он гораздо теснее связан.

Очевидно, однако, что если характеристики сопутствующих физиологических процессов должны выводиться логическим путем из данных характеристик опыта, то нам просто необходим руководящий принцип, который управлял бы этим переходом. Много лет

назад такого рода принцип был введен Э. Герингом. Его содержание можно сформулировать следующим образом. Факты объективного опыта (= наши переживания) могут быть систематически упорядочены, если их различные виды и их оттенки собраны вместе в соответствии с их сходством. Процедура сравнима с той, посредством которой упорядочиваются животные в зоологии и растения в ботанике. Процессы, от которых зависят факты нашего опыта, непосредственно не известны. Но если бы они были известны, их можно было бы также упорядочить в соответствии с их сходством. Между двумя систематическими порядками, порядком переживаний и порядком сопутствующих физиологических процессов, как мы предполагаем, могут иметь место различные отношения. Но отношение между двумя упорядоченными системами будет простым и понятным только в том случае, если мы постулируем, что обе системы имеют одинаковую форму или структуру *qua* системы. Иногда этот принцип более детально формулируется в нескольких "психофизических аксиомах".³ В нашем случае будет достаточно, если мы приведем некоторые примеры его применения.

Звук определенной высоты может быть предъявлен испытуемому на многих уровнях воспринимаемой громкости. В геометрическом выражении, естественный систематический порядок всех этих громкостей выглядит прямой линией, так как при переходе от самых тихих звуков к самым громким у нас создается впечатление непрерывного движения в одном и том же направлении. И какая же характеристика сопутствующих событий в головном мозге соответствует воспринимаемой громкости? Наш руководящий принцип не дает прямого ответа. Скорее, он диктует нам, что независимо от того, о какой характеристике идет речь, ее различные нюансы или степени должны демонстрировать точно такой же порядок, как и громкость, то есть, порядок прямой линии. К тому же, если в системе переживаний определенная громкость помещается между двумя другими громкостями, то в порядке связанных с ними мозговых событий физиологический фактор, соответствующий первой громкости, также должен помещаться между процессами, соответствующими двум другим громкостям. Это показывает равенство структур тех двух систем, к которым применяется наш принцип.

Похоже, что закон "все-или-ничего" не позволяет нам выбрать "интенсивность нервной активности" в качестве физиологического коррелята воспринимаемых уровней громкости. Но данный принцип можно с тем же успехом применить, если принять за коррелят громкости частоту или плотность нервных импульсов.

В качестве другого примера можно рассмотреть цвета в их отношении к сопутствующим мозговым процессам. Это отношение было всесторонне рассмотрено Г. Э. Мюллером.⁴ Конечно, его предположения выходят за рамки обсуждаемого здесь принципа, поскольку он формулирует гипотезы о *ретинальных* процессах. Этот принцип как таковой

³ Cf. G. E. Müller, *Zeitschr. F. Psychol.*, 14, p. 189.

⁴ *Loc. cit.*

применяется только к мозговым процессам, непосредственно лежащим в основе зрительного опыта. Его теория также более конкретна, так как включает в себя утверждение о природе ретинальных процессов как таковых. Предполагается, что это химические реакции. Это нарушение принципа совершенно обоснованно по следующей причине. Если система цветовых переживаний и система связанных с ними физиологических процессов должны иметь одинаковую структуру, эти физиологические события должны различаться по стольким же направлениям или “измерениям” (“dimensions”), как и цвета. Вполне возможно, что химические реакции являются единственным видом процесса, удовлетворяющим этому условию. Таким образом, принцип идентичности структуры систем служит ограничению количества фактов, которые могут рассматриваться при поиске более конкретных гипотез.

Гештальтпсихология оперирует принципом, который, являясь более общим, в то же время допускает более конкретное применение, чем принцип Геринга и Мюллера. Эти авторы указывают на простой *логический* порядок фактов опыта, которые с этой целью абстрагируются от их контекста и оцениваются в отношении их сходства. Тезис состоит в том, что когда соответствующие физиологические события также извлекаются из их контекста и также сравниваются в отношении их сходства, получающийся логический порядок должен быть таким же, как порядок фактов опыта. В обоих случаях, как нетрудно заметить, порядок, о котором идет речь, – это порядок мертвых образцов, которым установлены надлежащие места в музее. Но опыт как таковой демонстрирует порядок, *который сам по себе переживается*. Например, в данный момент я вижу перед собой три белые точки на черной поверхности, одну посередине черного поля, а две другие в симметричных положениях по обеим сторонам от первой. И это тоже порядок; но вместо того, чтобы быть просто разновидностью логического порядка, он конкретен и принадлежит самим фактам опыта. По нашему предположению этот порядок тоже зависит от физиологических событий в головном мозге. И наш принцип указывает на определенное отношение между конкретным переживаемым порядком и лежащими в его основе физиологическими процессами. При применении к данному примеру наш принцип гласит, что, во-первых, эти процессы распределяются (пространственно – А. А.) в определенном порядке и что, во-вторых, такое распределение является столь же симметричным в функциональном плане, как и группа точек в визуальном плане. В том же самом примере одна точка воспринимается как находящаяся между двумя другими; и это отношение является столь же неотъемлемой частью опыта, как и белый цвет точек. Наш принцип гласит, что что-то в скрытых физиологических процессах должно соответствовать тому, что мы называем “между” в зрительном восприятии. Если говорить конкретнее, данное в опыте “между” соответствует функциональному “между” в динамических взаимосвязях сопутствующих событий в головном мозге. При применении ко всем случаям переживаемого пространственного порядка наш принцип может быть сформулирован следующим образом: *переживаемый порядок в пространстве всегда структурно идентичен функциональному порядку в распределении лежащих в его основе мозговых процессов.*

Это и есть принцип *психофизического изоморфизма* в той частной форме, которую он принимает в случае пространственного порядка. Его полное значение станет яснее в следующих главах. Пока же я упомяну о другом его применении. Часто случается, когда мы переживаем одно событие как лежащее во временном интервале между двумя другими. Но переживаемое время должно иметь функциональный эквивалент в мозговых событиях, как и переживаемое пространство. Наш принцип гласит, что темпоральное “между” в опыте соответствует функциональному “между” в последовательности лежащих в его основе физиологических событий. Если этот принцип таким же образом снова применить широко, мы приходим к утверждению, что *переживаемый порядок во времени всегда структурно идентичен функциональному порядку в последовательности коррелированных мозговых процессов*.

Область применения данного принципа не ограничивается временными и пространственными порядками. В нашем опыте присутствует больше порядка, чем просто пространственные и временные отношения. Некоторые переживания в определенном смысле подходят друг к другу, буквально принадлежат друг другу, тогда как другие не подходят, или связаны друг с другом в гораздо меньшей степени. Такие факты опять-таки являются фактами опыта. В тот самый момент, когда я пишу это предложение, в соседском доме кто-то начинает петь неприятным голосом. Мое предложение является чем-то, что, хотя и длится во времени, переживается как некий самостоятельный элемент, с которым эти резкие ноты никак не связаны. Это верно, даже если оба эти факта переживаются одновременно. В этом случае наш принцип принимает такую форму: *самостоятельные единицы (units) в опыте соответствуют обособленным функциональным единицам (units) в связанных с ними физиологических процессах*. И в этом отношении также данный в опыте порядок, предположительно, является верным отображением соответствующего порядка в процессах, от которых этот опыт зависит. Это последнее применение нашего принципа имеет, пожалуй, наибольшее значение для гештальтпсихологии. Как физиологическая гипотеза о фактах чувственного опыта, равно как и о более тонких процессах, она распространяется практически на всю область психологии.

Я только что взял пример вне сферы объективного опыта в строгом смысле этого термина. Грамматическое предложение, которое я формулирую, не составляет часть объективного опыта в том смысле, в каком кресло передо мной является таким опытом. И все же мое утверждение об этом предложении не менее простое и очевидное, чем другие, сделанные раньше и относящиеся к порядку в переживаемом пространстве и времени. Однако это не всегда так. Наблюдение фактов субъективного опыта не может быть рекомендовано без ограничений. В данной связи только очень простые утверждения в этой области можно считать достаточно надежными. Да и не следует нам в настоящее время выходить за рамки объективного опыта. Мы только что убедились в том, что он обеспечивает адекватную основу для нашей непосредственной цели.

В предыдущих разделах этой главы мой собственный опыт служил материалом, который наводит на предположения о характере иным способом ненаблюдаемых компонентов поведения. Тогда единственный способ, каким я могу представить свои наблюдения в этой области на суд научной общественности, – это моя устная или письменная речь, которая, как я это понимаю, отсылает к этому опыту. Но мы решили, что речь как последовательность физиологических фактов – это периферийный исход упоминавшихся ранее гипотетических физиологических процессов, включая и те из них, от которых зависит мой опыт. Согласно нашей общей гипотезе, конкретный порядок этих фактов опыта отображает динамический порядок таких процессов. Таким образом, если для меня мои слова представляют описание фактов моего опыта, то они являются одновременно объективными представлениями процессов, лежащих в основе этого опыта. Следовательно, не столь уж важно, воспринимаются ли мои слова как сообщения об опыте или об этих физиологических фактах. Ибо в том, что касается порядка событий, сообщение в обоих случаях одно и то же.

Если теперь мы вернемся к наблюдению поведения, нам придется иметь дело с речью как особой формой человеческого поведения. Здесь мы снова можем смело рассматривать речь как сообщение, которое отсылает к фактам, не относящимся к области языка. Только самый поверхностный взгляд мог бы заставить трактовать слова просто как фонетические события. Вслушиваясь в научную аргументацию, бихевиорист сам обнаружит, что реагирует не на фонетические характеристики речи, а на ее символическое значение. Так, он наверняка сочтен эквивалентными такие существительные, как “*experiment*” (англ. эксперимент) и “*Versuch*” (нем. опыт, эксперимент), “*animal*” (англ. животное) и “*Tier*” (нем. животное), хотя в обоих случаях первое и второе слово фонетически совершенно непохожи. Почему такая установка должно изменяться, когда говорящему субъекту случается выступать в роли испытуемого и давать нам отчет о скрытых от нас явлениях?

Повторяю, утверждения испытуемого могут восприниматься как указывающие либо на факты его опыта, либо на процессы, лежащие в основе этого опыта. Если испытуемый говорит: “Эта книга больше, чем другая”, то его слова могут толковаться не только как отсылка к его “опыту сравнения” (“*comparison-experience*”), но и как репрезентация соответствующей функциональной связи между двумя сенсорными процессами. Поскольку с нашей точки зрения один и тот же порядок подразумевается в обоих случаях, эта альтернатива не имеет особого значения. С точки зрения поведенческой психологии здесь должна быть дана физиологическая интерпретация; но нет причин, почему другие толкования должны исключаться. Поведение цыпленка может сказать мне без слов, что он способен реагировать на одну яркость в ее отношении к другой. Для сравнения, если в ходе эксперимента человек говорит мне, что один объект кажется ему ярче другого, то это высказывание имеет абсолютно такую же научную значимость, как и поведение цыпленка. Почему же тогда речь, являющаяся одной из самых информативных форм поведения, не должна учитываться экспериментатором? Наверняка, применяя ту же методику к человеку, которую мы применяем к цыпленку, можно избежать использования языка в психологии

человека. Но на что нам такая психология? Нелюбовь бихевиориста к языку, видимо, имеет только исторические причины. Интроспекционисты в своих попытках препарировать опыт использовали "словесные отчеты". Я готов признать, что та процедура, которую они называли интроспекцией, как оказалось, имеет ограниченную ценность. К сожалению, как результат таких ошибочных усилий, у бихевиористов выработалось негативное отношение не только к интроспекции как таковой, но также и к другим, совершенно безвредным вещам, которые обычно сопровождают интроспекцию. Отсюда их нелюбовь к языку.

III

КРИТИКА ИНТРОСПЕКЦИИ

Удостоверенные и приведенные в порядок факты каждой науки окружены чем-то вроде облака пыли, состоящего из неповторимых наблюдений, из мелких, не подходящих ни под какое правило и редко встречающихся случаев, которые всегда гораздо легче игнорировать, чем принимать в расчет.

У. Джеймс. Воля к вере.⁵

Уильям Джеймс хорошо описал, как внезапный интерес к определенным "нерегулярным" явлениям часто знаменует начало новой эры в науке. В такие времена то, что было исключительным, не укладывалось в общепринятые представления, часто оказывается в самом центре научной работы. Сейчас мы познакомимся с интроспекцией как процедурой, посредством которой искусственная система психологии защищает себя от подобной революции. Эта защита достигается благодаря методике, способствующей отбрасыванию особенно интересных наблюдений. При обсуждении интроспекции я не собираюсь рассматривать какую-то конкретную школу. То, что я хочу сказать, относится ко всем психологам, которые обращаются с фактами опыта таким способом, который будет обсуждаться ниже.

В большинстве своем интроспекционисты, скорее всего, согласятся с моей критикой бихевиоризма. Некоторые из них, возможно, даже узнали их собственные аргументы, читая предыдущие главы. В чем тогда различие между интроспекционизмом и взглядами гештальтпсихологии? Это различие станет очевидным, как только мы рассмотрим, каким образом можно наблюдать факты опыта. Первым делом я намереваюсь рассмотреть то, как интроспекционисты поступают с фактами объективного опыта, как они работают в той области, в которой их деятельность была особенно заметна. Как ни удивительно, принципы их работы окажутся весьма похожими на принципы бихевиоризма.

В тот самый момент, когда мы попытаемся беспристрастно наблюдать наш опыт, нам придется выслушать возражения интроспекциониста. Если я скажу, что перед собой на столе

⁵ Перевод дан по изданию: Джеймс У. Воля к вере: Пер. с англ. / Сост. Л. В. Блинников, А. П. Поляков. - М.: Республика, 1997, С. 190. - А. А.

я вижу книгу, это вызовет критику, и мне будет заявлено, что никто не способен видеть книгу. Если я подниму книгу, я, скорее всего, скажу, что чувствую ее вес как нечто внешнее по отношению к моим пальцам и примерно в том месте, в котором эта книга мне видна. Такие утверждения, заметил бы мой критик, являются типичными высказываниями необученных наблюдателей. Он добавил бы, что для практических целей обыденной жизни такие утверждения могут быть вполне удовлетворительными, но все же они сильно отличаются от описаний, которые должен был бы дать подготовленный психолог. Например, в моих утверждениях подразумевается, что термины “книга” и “стол” указывают на объекты или вещи. По мнению интроспекциониста в корректном психологическом исследовании такие термины недопустимы. Ибо если наблюдение должно поставлять нам простые и первичные данные опыта, то мы должны научиться проводить крайне важное различие между *ощущениями (sensations)* и *восприятиями (perceptions)*, между голым сенсорным материалом как таковым и множеством других ингредиентов, которыми этот материал наполнился благодаря процессам научения. Видеть книгу невозможно, говорит нам интроспекционист, так как этот термин включает в себя знание об определенном классе объектов, к которым принадлежит данный экземпляр, об использовании таких объектов и т. д. Чистое видение не имеет ничего общего с таким знанием. Как психологи, мы имеем задачу отделить все эти приобретенные значения от поставляемого нам зрением материала *per se*, который состоит из простых ощущений. Провести такое отделение и сосредоточиться на ощущениях, которые нас только и должны интересовать, на самом деле может быть весьма трудной задачей, но способность делать это как раз и отличает психолога от обывателя. Каждый должен согласиться, что первоначально поднимание книги не могло дать переживания веса, который является внешним по отношению к поднимающим ее пальцам. Вначале могли появиться только ощущения прикосновения, и, возможно, напряжения, в пальцах. Отсюда следует, что вес чего-то принадлежащего внешнему миру должен быть продуктом длительного развития, в котором чистые ощущения в нашей руке постепенно оказались связанными с другими факторами. Аналогичное соображение сразу показывает, что среди подлинных сенсорных данных не может быть ничего похожего на объекты. Объекты существуют для нас только тогда, когда чувственный (сенсорный) опыт целиком наполняется смыслом. Кто может отрицать, что во взрослой жизни смыслом пропитан весь опыт? В конечном счете, это даже приводит к своеобразной иллюзии. Для немцев существительное немецкого языка “*Igel*” (“еж”) звучит так, как если бы ни одно животное, кроме ежа, не могло иметь этого названия. Слово “*eagle*”, однако, которое в английском языке состоит из тех же звуков, что и “*Igel*” в немецком, звучит для американца или англичанина так, как если бы только “*Adler*” (“орел”) мог называться этим словом.⁶ В данном случае остается признать, что мы должны проводить различие между слуховым опытом как таковым, который одинаков в обоих языках, и закрепленными за ним значениями, которые различаются при переходе от одной

⁶ “*Adler*” – немецкое слово для обозначения того, что по-английски называется “*eagle*”.

страны к другой. Опять же, знак “+” ясно передает значение операции сложения, особенно если мы видим его между числами; тем не менее, он мог бы с тем же успехом быть выбран нами в качестве символа операции деления. Если мы испытываем минутное колебание, прежде чем согласиться с этим последним утверждением, то только потому, что связь определенного значения с этой простой фигурой вбита в наши головы еще с тех времен, когда мы ходили в школу. Но стоит осознать и понять огромную силу этой связи в нынешней ситуации, как мы будем готовы признать, что, вероятно, ничто в наивном опыте взрослого человека не может быть лишено подобных влияний. Даже самые впечатляющие свойства исходных переживаний могут брать начало из этого источника.

Итак, значение в таком понимании зависит от личной биографии. Оно представляет собой в известной степени случайную, дополнительную характеристику нашего опыта. Поэтому в психологии надо стараться игнорировать смысловое содержание опыта и сосредоточиваться исключительно на актуальных ощущениях. Процедуру, с помощью которой это достигается, называют *интроспекцией*.

Во времена моего студенчества все молодые психологи усваивали этот урок самым тщательным образом, хотя в некоторых случаях доктрина интроспекционизма передавалась скорее имплицитно, чем в явно сформулированном виде. К сожалению, если интроспекционизм прав в этом отношении, то непосредственный опыт как таковой имеет лишь ограниченную ценность. После завершения генеральной уборки из всего объективного опыта, вероятно, сохраняться только отдельные, отобранные его части.

Главный вопрос, конечно, в том, по каким критериям одни переживания должны отбираться как истинно сенсорные факты, а все другие отбрасываться как продукты научения. Каким бы ни был ответ, сейчас мы рассмотрим ряд примеров, которые в нескольких существенных отношениях отличаются от обсуждавшихся ранее.

Предположим, стоя на углу улицы, мы видим приближающегося к нам человека. Сначала он находился в десяти ярдах от нас, а теперь стоит на расстоянии пяти ярдов. Что мы скажем о его размерах на этих двух расстояниях? Мы наверняка скажем, что на обоих расстояниях его воспринимаемые на глаз размеры были примерно одинаковыми. Но такое утверждение, возразят нам, совершенно неприемлемо. Простое обращение к геометрической оптике показывает, что по мере приближения человека к нам его воспринимаемая глазом высота должна была удвоиться, и то же самое верно в отношении его ширины. Поэтому его общие размеры должны стать в четыре раза больше (по площади) тех размеров, которые имела его фигура на расстоянии десяти ярдов от наших глаз. Чтобы это стало совсем очевидным, нам следует повторить свое наблюдение в лаборатории. Здесь мы заменяем человека двумя картонными прямоугольниками: стороны первого составляют два и три дюйма, стороны второго – шесть и девять дюймов. Если теперь первый держать перед нашими глазами на расстоянии одного ярда, а второй на расстоянии трех ярдов, то с точки зрения оптики они должны иметь одинаковый размер, ибо их линейные размеры изменяются в точном соответствии с изменением расстояния от них до наблюдателя. Совершенно верно,

но удаленный от нас прямоугольник выглядит гораздо большим, чем ближний. Однако именно это наше заявление интроспекционист никогда не примет как истинное утверждение о сенсорных фактах. Такое заявление, скажет он, не может относиться к актуальному чувственному опыту. Он также предложит доказательство своей правоты. Он пригласит нас посмотреть на прямоугольники через отверстие в экране, который он будет держать перед нашими глазами. Теперь два прямоугольника появляются на однородном фоне, так как экран скрывает от нас все остальные объекты. В этих условиях разница в размерах прямоугольников, вероятно, несколько уменьшится. Если она не исчезнет полностью, экспериментатор может пойти дальше, помогая нам увидеть размеры такими, какими они действительно являются по его убеждению. Он может затемнить комнату и включить свет лишь на долю секунды. Это помогает исключить движения глаз и головы. Вполне возможно, что теперь прямоугольники приобретут одинаковый размер. Интроспекционист может также пригласить нас попрактиковаться в специфическом наблюдении, которое я не могу здесь описывать, и после некоторой тренировки прямоугольники действительно могут принять один и тот же размер, даже без применения экрана с отверстием и каких-то других приемов. Как только это будет достигнуто, интроспекционист будет удовлетворен. Теперь, скажет он, вы знаете, что означает интроспекция. И добавит, что обученные наблюдатели обязаны счесть эти прямоугольники равными. В противном случае, люди могли бы дойти до того, что стали бы считать, будто послеобраз объекта изменяет свои размеры соответственно расстоянию, на котором они видят его на экране, так как при нетренированном наблюдении размеры послеобраза действительно кажутся меняющимися с изменением расстояния от точки фиксации до глаза. Конечно, согласно интроспекционисту, в действительности он не может изменяться, так как при таких обстоятельствах площадь ретинального послеэффекта остается строго постоянной.

Мой следующий пример можно рассматривать как естественное продолжение первого. Какую форму имеют тарелки, которые мы видим на столе слева, справа и напротив нас во время обеда с друзьями? Скорее всего, мы скажем, что они круглые, как и наша собственная тарелка. Но и с этим утверждением интроспекционист тоже не согласится. По его убеждению, они должны быть эллиптическими; и он добавит, что если бы мы подумали об их проекции на сетчатку, то были бы вынуждены признать его правоту. Действительно, некоторые тарелки должны быть очень плоскими эллипсами, даже наша собственная тарелка становится эллипсом, как только наши глаза перестают смотреть на нее вертикально сверху вниз. Для этого случая можно применить процедуру, аналогичную той, которую мы использовали в предыдущем примере. На экране, расположенном под косым углом к линии взора, показана окружность; на другой плоскости, расположенной под прямым углом к направлению глаз, представлен эллипс. Форма последней фигуры подобрана так, чтобы ее проекция на сетчатку имела ту же форму, что и косоугольная ретинальная проекция окружности. Необученный интроспекции наблюдатель будет утверждать, что видит круг как круг, а эллипс как эллипс. Но интроспекционист настаивает на том, что в актуальном чувственном опыте даны два

практически одинаковых эллипса. Он предложит нам экран с двумя отверстиями, через которые мы можем видеть обе формы, но не имеем возможности увидеть признаки, по которым сначала можно было распознать углы плоскостей. Теперь обе фигуры выглядят похожими, т. е. обе выглядят эллипсами. Таким образом, интроспекционист, кажется, доказал свою правоту. При некоторой тренировке, заметит он, любой человек способен видеть эти реальные сенсорные факты, даже без экрана, при условии, что он принимает правильную установку, установку интроспекции. В качестве дальнейшего разъяснения он отметит, что если послеобраз проецируется на плоскости, расположенные под разными углами относительно линии взора, то этот образ, видимо, будет менять свою форму при его проекции на одну или другую плоскость. Поскольку во время этих наблюдений ретинальный послеэффект не изменяется вообще, только несведущие в интроспекции люди будут доверять тому, что они, как им кажется, видят при этих обстоятельствах. Таким образом, важность наблюдения исходных сенсорных переживаний посредством натренированной интроспекции выглядит убедительно доказанной.

Еще один парадоксальный факт нашего опыта широко обсуждался с тех пор, как Гельмгольц написал свою “Физиологическую оптику”. Необученный наблюдатель видит не только размеры и формы объекта более постоянными, чем следовало бы ожидать в соответствии с вариациями сетчаточных изображений размеров и формы; то же самое можно утверждать и применительно к тому, как он воспринимает яркости в их отношении к изменяющейся интенсивности ретинальной проекции. Предположим, что вертикальный экран помещен на столе, рядом с окном и параллельно ему. У обращенной к окну стороны экрана на стол кладется лист черной бумаги и симметрично, с другой стороны экрана, – лист белой бумаги. Бумага подбирается особым образом: темная бумага, которая подвергается прямому освещению из окна, отражает то же абсолютное количество света, что и белая бумага, на которую падает гораздо меньше света. Несмотря на это, черная бумага выглядит черной, а белая – белой. Это еще одно наблюдение, которое интроспекционист отказывается принимать, потому что в данных условиях проецируемые на сетчатку наблюдателя изображения имеют одинаковую интенсивность. Он считает, что ощущения, т. е. яркости обоих листов бумаги, должны, поэтому, быть одинаковыми, и убежден в том, что это равенство можно продемонстрировать всем желающим. Он снова возьмет кусок картона с двумя маленькими отверстиями и будет держать его так, чтобы одно из них полностью заполнялось частью черного листа, а другое – частью белого. Теперь окружение, в котором находятся листы бумаги, вертикальный экран и все прочее исключается из поля зрения. И при этих условиях один и тот же оттенок серого будет виден в обоих отверстиях. Несомненно, говорит он нам, что это и есть подлинные ощущения. Он также, вероятно, укажет на то, что после некоторой практики большинство людей способно распознать равенство этих двух яркостей без применения какого-либо специального устройства. Когда дело обстоит таким образом, значит они научились наблюдать с установкой на интроспекцию. В то время, когда

художников еще интересовало изображение объектов, они обычно принимали такую установку, чтобы увидеть правильные яркости вещей.

Все эти факты, так называемые константности размера, формы и яркости, являются с этой точки зрения лишь иллюзией, которая должна быть разрушена, если мы хотим, чтобы появились подлинные сенсорные феномены. В этом и в других отношениях они сравнимы с большим количеством других “оптических иллюзий”, графическими изображениями которых заполнены страницы учебников психологии. Взять, к примеру, хотя бы знаменитый рисунок Мюллера-Лайера, на котором изображены отрезки прямых, обрамленных разнонаправленными стрелками, между которыми два равных отрезка имеют на первый взгляд явно разную длину. Когда этот рисунок неоднократно рассматривается, и при этом субъект прилагает усилия, чтобы отделить объективно равные линии от их окружения, то вскоре он обнаружит, что иллюзия становится все менее поразительной, пока, наконец, не исчезает совсем. Из этого, по-видимому, следует, что неравенство отрезков, каким оно видится вначале, не является сенсорным фактом. Если верить тому, что говорят интроспекционисты, то же самое можно продемонстрировать еще и так: два этих отрезка прямых, обрамленных стрелками, рисуются точно один над другим. Если наблюдатель сосредоточит свое внимание на двух левых концах равных отрезков, то обнаружит, что воображаемая линия, связывающая эти концы, вертикальна. Если он проведет тот же тест с их правыми концами, он получит аналогичный результат. Если у нас есть хотя бы минимальные знания геометрии, мы будем вынуждены признать, что обе линии имеют одинаковую длину. Точно так же можно показать, что большинство других иллюзий исчезают, если наблюдатель достаточно осмотрителен, чтобы принять правильную аналитическую установку. Ну, и как тогда эти иллюзии можно рассматривать как подлинные сенсорные факты?

Вот еще один пример. На протяжении последних тридцати лет стробоскопическое движение тщательно исследовалось немецкими и американскими психологами. При соответствующих условиях последовательное представление двух источников света в двух не слишком отдаленных друг от друга точках пространства вызывает переживание движения в направлении от первого источника ко второму. Но если наблюдатель принимает установку интроспекции, он не обнаружит ничего, кроме “вспышки серого цвета” (“gray flash”). Следовательно, говорят интроспекционисты, любые сообщения о действительных движениях в такой ситуации должны восприниматься с недоверием. Испытуемые Бенусси (Benussi)⁷ разве не описывали схожие переживания, когда к двум участкам их кожи прикасались в быстрой последовательности? В их описании переживаемое движение по большей части не воспринималось как проходящее по поверхности кожи; скорее, оно образовывало дугу над пустым пространством и касалось кожи только в точках фактической стимуляции. Как это видят интроспекционисты, такой опыт, вероятно, не может принадлежать исключительно миру осязания. Все тактильные ощущения остаются, конечно, на коже.

⁷ Бенусси Витторио (1878-1927) – итальянский психолог. – А. А.

Если все наблюдения такого рода являются иллюзиями, которые обманывают нас не только в отношении природы исходных физических состояний, но и в отношении собственных сенсорных данных, то здесь должен действовать какой-то мощный фактор, скрывающий эти данные до тех пор, пока они не выявляются с помощью интроспекции. Мы уже знаем, какова природа такого искажающего влияния. По крайней мере интроспекционист совершенно убежден в том, что, как и в предыдущих примерах, таким фактором может быть только *научение*. Его аргументы сводятся к следующему: человек, приближающийся к нам на улице, не выглядит увеличивающимся в размерах, каким, по простым законам оптики, мы должны были бы его видеть. Круг, на который мы смотрим под углом, не выглядит эллипсом; в нашем восприятии он остается кругом, даже если его сетчаточное изображение может быть очень плоским эллипсом. Белая бумага, находящаяся в тени, остается для нас белой, а черная бумага при полном освещении – черной, хотя первый объект может отражать гораздо меньше света, чем последний. Очевидно, эти три явления имеют нечто общее. Физический объект как таковой всегда остается тем же самым, в то время как стимуляция наших глаз изменяется вместе с изменением удаленности, ориентации и освещенности этого постоянного объекта. То, что мы, по всей видимости, переживаем как факты опыта, согласуется с реальной инвариантностью физического объекта гораздо лучше, чем с меняющейся стимуляцией. Отсюда термины константность размера (величины), константность формы и константность яркости. Очевидно, именно этого мы должны ожидать, если такие константности возникают из нашего знания физической ситуации, другими словами, если они развиваются благодаря тому или иному виду научения. День за днем, с раннего детства, мы обнаруживали, что когда мы приближаемся к удаленному объекту, он оказывается гораздо больше, чем казался нам с большего расстояния. Точно так же мы узнали, что объекты в косоугольных проекциях не открывают нам тех реальных форм, которые они показывают при рассмотрении их во фронтальной плоскости. Идя тем же путем, мы полностью усвоили факт, что объекты, видимые при ненормальных условиях освещения, демонстрируют нам неправильные степени яркости или темноты, которые заменяются правильными при переходе к нормальным условиям. Такие наблюдения повторялись так часто, и мы настолько полно и прочно усвоили, какими бывают в каждом случае реальные размеры, реальные формы и реальные яркости, что постепенно оказались неспособными различать наши приобретенные знания и актуальные сенсорные факты. В результате мы теперь *видим* константные реальные характеристики, в то время как сенсорные факты как таковые, зависящие, конечно, от расстояния, ориентации и освещения, стали нераспознаваемыми. Таким образом, смысловое значение, знание или научение столь же действенны в приведенных здесь примерах, как и в тех случаях, когда мы, по-видимому, осознаем “вещи”, “вес” объектов в пространстве и т. д.

Мы можем согласиться с заявлением интроспекциониста, что, вероятно, остается крайне мало фактов опыта, на которые так или иначе не повлияло бы научение. Ведь это не новое допущение. Кроме того, он может указать на следующее: если не прошедшие специальную подготовку люди все же *видят* то, что с этой точки зрения является лишь

эффектом научения, то это просто иллюзия, которая появляется и в других примерах: вспомните символ +, который *выглядит* как знак сложения. Но у интроспекциониста есть и дополнительные аргументы, которые, кажется, поддерживают его интерпретацию. Все эффекты прошлого научения могут быть действительными ровно настолько, насколько они вспоминаемы. Вообще, вспоминание предполагает, что некоторые элементы нынешней ситуации могут вызывать то, что было усвоено в прошлом. В случае константностей такими элементами являются, в частности, разная удаленность, расположение под разными углами и различные уровни освещенности объектов, которые воспринимались в каждом случае. Очевидно, тогда, если эти разные удаленности, расположения под разными углами и различные уровни освещенности больше не доступны зрению, нормальные размеры, формы и яркости не могут быть восстановлены. Но именно это и происходит, когда обсуждаемые здесь ситуации наблюдаются через отверстия в экране. В этих условиях из зрения исключаются окрестности имеющих решающее значение поверхностей, а вместе с ними и удаленность, ориентация и освещенность этих поверхностей. Следовательно, невозможно вспомнить то, что мы уже знали об этих ситуациях; константности должны исчезнуть; и поверхности должны в виде исключения продемонстрировать свои истинные сенсорные характеристики. То же заключение следует из бесспорного факта, что константности могут разрушаться посредством интроспекции. Очевидно, в этой процедуре размеры, формы и яркости поверхностей в той или иной степени отделяются от их контекста. Но, как мы только что видели, это означает отделение от факторов, которые в противном случае вызвали бы вспоминание ранее приобретенного знания. Поэтому вполне естественно, что при этих условиях на первый план выходят чистые сенсорные факты.

Если размер и форма послеобразов оказываются на удивление изменчивыми, когда расстояние до фоновой поверхности и ее ориентация меняются, это также имеет вид прямого следствия из объяснения интроспекциониста. Послеобразы локализуются на фоновой поверхности. Если расстояние до этой поверхности и ее ориентация опять же действуют как факторы вспоминания, данный послеобраз должен, по-видимому, принимать разные размеры и формы при варьировании удаленности или ориентации фоновой поверхности.

То же объяснение помогает нам понять, почему константности не сохраняются в экстремальных условиях. На расстоянии десяти ярдов человек вряд ли будет казаться меньшим, чем на расстоянии пяти ярдов; но на расстоянии пятидесяти ярдов от нас его видимые размеры заметно уменьшаются, а на расстоянии в тысячу ярдов он, вероятно, и в самом деле становится крошечным объектом. В основном нас, конечно, интересуют объекты в близлежащем окружении. Поэтому мы мало что узнаём о находящихся далеко от нас объектах и вещах, с тем результатом, что с увеличением расстояния подлинный чувственный опыт все меньше и меньше затеняется приобретенным знанием.

Надо признать, что все эти аргументы обладают огромной убедительной силой. Многие психологи ни на минуту не сомневаются в правильности объяснения с точки зрения приобретенных знаний. По всей видимости, это объяснение отвечает самой естественной

тенденции человеческого мышления. Физики, которые никогда не изучали психологию, дают это объяснение сразу, как только они ознакомились с теми фактами, которые мы здесь рассматриваем. Если продемонстрировать эти феномены первокурснику, то и он сразу предложит похожие интерпретации.

Данная теория применима к бесчисленному множеству фактов. Практически нет такой визуальной ситуации, в которой не наблюдаются хотя бы некоторые из обсуждаемых здесь фактов опыта. Как только наши глаза открываются, мы непрерывно созерцаем размеры, формы и яркости, и из этих переживаний только очень немногим удается избежать приговора, выносимого им интроспекционистом. Сами эти факты вовсе не являются чем-то исключительным; скорее, необычным событием является лишь демонстрация их непредвиденного отклонения от того, что следовало ожидать от них. Эта демонстрация – дело психологической изощренности; сами же факты – это то, что происходит в каждый момент времени с каждым из нас.

Даже при этих условиях область объективного опыта, которому нельзя доверять, все еще не исчерпана в ходе рассмотрения наших примеров. Расположение объектов тоже открыто для подобной критики. При фиксации находящейся передо мной точки я вижу объекты, расположенные вокруг нее в различных местах, которые соответствуют различным положениям их изображений на моей сетчатке. Если я теперь сосредоточу внимание на другой точке, то те же объекты должны появиться на измененных местах, так как их изображения сейчас занимают новые положения на сетчатке. Но на самом деле объекты в нашем восприятии не изменили своего положения. Когда глаз движется, их расположение в пространстве оказывается практически независимым от положения их изображений на сетчатке. Или возьмем, к примеру, скорость воспринимаемого глазом движения. Одно и то же физическое движение может восприниматься нами с разных расстояний. Когда я нахожусь в десяти ярдах от движущегося объекта, его ретинальная скорость будет составлять половину от той, с которой его изображение перемещается по сетчатке, когда я стою на расстоянии пяти ярдов от него. И, тем не менее, в моем опыте эта скорость кажется примерно одинаковой в обоих случаях. Очевидно, что объяснение, которое было дано константностям размера, формы и яркости, применимо и к константности воспринимаемой зрением скорости. Таким образом, из окружающих нас фактов объективного опыта почти ничего не остается, что интроспекционист назвал бы подлинным сенсорным фактом.

Тем не менее, это еще не самое серьезное последствие взглядов, отстаиваемых интроспекционистами. Очевидно, те фазы опыта, которые трактуются как продукты научения, будут удалены не только из сенсорного мира, но также будут исключены из исследования вообще. Правда, большинство интроспекционистов не решились бы признать это как эксплицитный принцип; однако в своих исследованиях они фактически поступают так, как если бы они приняли его. С той поры как с опытом случилось несчастье быть так интерпретированным, его существование интересует их не больше, чем предмет астрономии. Это означает, что большая часть объективного опыта фактически не играет никакой роли в

психологии интроспекциониста. И действительно, как только где-то появляется наблюдение, касающееся несколько необычного и, следовательно, особенно интересного феномена, интроспекционист готов предложить свое однообразное объяснение, после чего он вряд ли когда-нибудь еще раз уделит этому феномену хотя бы малейшее внимание. Сложилась серьезная ситуация его. Независимо от того, является ли *эмпиристское объяснение (empiristic explanation)*⁸, как было названо объяснение предшествующим научением, правильным или неправильным, в обыденной жизни мы имеем дело почти исключительно с непосредственным объективным опытом, который отбрасывается интроспекционистом. К этому обыденному опыту обращены все наши интересы. Миллионы людей никогда не станут преобразовывать окружающие их объекты в подлинные ощущения, они всегда будут реагировать на размеры, формы, яркости и скорости в том виде, в каком они их обнаруживают, будут любить и не любить формы такими, какими они кажутся им, не прибегая к интроспекции, и, следовательно, не будут соприкасаться с обособленными сенсорными фактами, которые так любит интроспекционист. Таким образом, если бы его установка возобладала, то такие переживания, которые образуют питательную среду всей нашей жизни, никогда бы не изучались всерьез. Психология стала бы наблюдать и рассматривать только такие факты опыта, которые для большинства из нас навсегда скрыты под покрывалом всего лишь приобретенных характеристик. Даже самый лучший интроспекционист не осознает своих подлинных сенсорных фактов, пока не принял свою особую установку, которую он, к счастью для него, возвращаясь к нормальной жизни, оставляет в стенах психологической лаборатории. Его подлинный сенсорный мир настолько далек от повседневного человеческого опыта, что если бы мы когда-нибудь узнали его законы, то все вместе они не помогли бы нам вернуться в мир, в котором мы на самом деле живем. При данных обстоятельствах интроспекционист не может жаловаться на свою судьбу. Его психология не в состоянии долго удовлетворять людей. Поскольку он игнорирует опыт повседневной жизни и сосредоточивается на редких фактах, которые можно выявить только с помощью искусственных процедур, то его профессиональная аудитория, да и непрофессиональная тоже, рано или поздно потеряют терпение. И тогда что-то должно произойти. Появятся психологи, которые поймут его на слове, когда он будет убеждать их, что это единственно правильный способ обращения с опытом. Если это так, то, скажут они, изучать опыт нам совершенно не интересно. Мы займемся чем-то, что ближе к жизни. Мы будем изучать естественное поведение. В настоящее время мы знаем, что гипотетическое развитие событий, описанное нами сейчас как последствие взглядов интроспекциониста, – это уже не возможность, а факт. Бихевиоризм возник именно как реакция на интроспекционизм.

Давайте вернемся к нашему обсуждению интроспекционизма как такового. Вряд ли у кого есть основания называть его данные “искусственными”. Когда я применяю методы

⁸ См. авторскую ссылку под номером 13 на с. 59. – А. А.

интроспекциониста, я часто получаю те же факты опыта, что и он. Но я далек от того, чтобы приписывать таким фактам исключительную ценность, как если бы они были более “правдивыми”, чем факты повседневного опыта. Если на нашем обычном опыте сказывается влияние приобретенного знания, то факты опыта, выявляемые посредством интроспекции, зависят от установки на интроспекцию. Никто не может показать, что они существуют и при отсутствии этой установки. Более того, если мы на минуту примем без доказательств, что все феномены, которые мы здесь обсуждаем, являются действительно продуктами ранее приобретенного знания, то следует ли из этого, что эти феномены не являются реальными фактами и, следовательно, лишены психологической значимости? Разве определенное количество H_2O , которое находится передо мной в стакане, перестает быть реальным химическим веществом из-за моего знания о том, что оно образовалась путем окисления водорода? Неужели водород является “настоящим” химическим веществом, а вода нет? Разве химики не исследуют воду? Я не вижу, почему опыт, наполненный приобретенным знанием, должен рассматриваться как менее важный, чем переживания, не затронутые его влиянием. Возьмем случай символа +: то, как он выглядит, безусловно, зависит от нашего знания математической операции. Когда он виден среди чисел, он выглядит как “плюс”, т. е. его приобретенное значение оказывается локализованным в зрительном поле. Несомненно, это удивительный факт, который сразу ставит перед нами чрезвычайно интересные вопросы. Почему мы не должны исследовать такие проблемы? Эта ситуация ничуть не отличается от той, что мы имеем в отношении всех остальных фактов опыта, к которым, правильно или неправильно, применяется эмпиристское объяснение. Почему мы должны игнорировать проблемы, которые эти факты ставят перед нами, если к ним прикреплены такие ярлыки, как научение, смысл и ранее приобретенное знание?

В действительности, проблемы такого рода заслуживают особого внимания. Рассмотренные здесь примеры позволяют выделить два вида феноменов. Один из них, к которому относится знак +, явно определяется тем, что мы действительно знаем, как во время детства определенный смысл постепенно проникает в данный опыт. Для второго вида, который представлен большинством наших примеров, такого достоверного отчета просто нет. Никем не было продемонстрировано, что объективность вещей, локализация веса физических тел в пространстве (за пределами нашей руки), константности размера, формы, скорости, расположения объектов и яркости, как и многие другие факты опыта, действительно являются продуктами научения. Большинству из нас такое утверждение может казаться весьма правдоподобным, но ни одно из наблюдений и аргументов, о которых я упомянул в этой связи, не может считаться убедительным доказательством этого эмпиристского тезиса. Таким образом, это всего лишь гипотеза о том, что факты второго вида существенно не отличаются от фактов первого вида, и как гипотезу ее следует, безусловно, принять.

Обычно принято подвергать гипотезу всевозможным проверкам. Проверяет ли интроспекционизм свои эмпирические предположения? Мы не видим никаких доказательств, что он это делает или хотя бы намеревается сделать, ибо после того, как предположение

сделано, интроспекционист больше не проявляет интереса к фактам. Следовательно, если бы все психологи были интроспекционистами, такие предположения никогда бы не проверялись. Это тем более тревожит, так как многие психологи просто выходят из себя, когда их эмпиристские убеждения называют гипотезами. Если эти убеждения являются не более чем предположениями, какие другие объяснения может предложить гештальтпсихолог? Вполне вероятно, что наша критика тезиса эмпиристов – это только начало, и вслед за ней должны появиться более или менее необычные новые представления о сенсорной функции.

Когда научная дискуссия принимает это направление, она всегда затрагивает некоторые особенно глубоко укоренившиеся пресуппозиции, которые никто не хочет рассматривать как открытый вопрос. И это с еще большей очевидностью показывает, что установка интроспекциониста составляет опасность для прогресса психологии. На минуту допустим, что константности размера, формы, скорости, расположения объектов, яркости и т. д. на самом деле *не* являются продуктом научения. Следствием такого допущения с необходимостью будет признание того, что все эти феномены относятся к чувственному опыту. Но если это так, чувственный опыт становится чем-то принципиально отличным от совокупности ощущений, составляющих сенсорный мир интроспекциониста. Из этого следует, что его представление о сенсорной функции должно быть отброшено. Конечно, должны ли мы прийти к такому заключению или нет, полностью зависит от обоснованности эмпиристского тезиса. Но у интроспекционистов, судя по всему, нет желания свободно обсуждать и проверять этот тезис. Сложилась экстраординарная ситуация: эмпиристское объяснение, как его использует интроспекционист, служит крепостным валом, защищающим его особые представления о сенсорной функции. Похоже, что интроспекционисты строго придерживаются эмпиристского тезиса не столько потому, что он сам по себе привлекателен, сколько потому, что их твердое убеждение в определенной природе сенсорных фактов не позволяет им признать некоторые факты опыта. Эти “нерегулярные” факты регулярно объясняются эмпиристским предположением, и поэтому оно просто должно быть правильным. То, что это верная интерпретация установки интроспекциониста, станет видно сразу после тщательного изучения его аргументов в пользу гипотезы эмпиристов. Эти аргументы не имеют ничего общего с научением, но очень сильно связаны с убеждениями о мире чистого сенсорного опыта.

Возьмем в качестве примера константность яркости. Белая бумага, на которую падает тень, выглядит белой, а черная при ярком освещении остается черной, даже если при этих условиях белая бумага может отражать меньше света, чем черная. Разве эти факты опыта – белое и черное *per se* – говорят интроспекционисту, что они являются продуктами предыдущего научения? Вовсе нет. Его доказательство носит полностью косвенный характер: поскольку данное наблюдение несовместимо с его убеждениями о природе подлинных ощущений, оно не может быть принято. Что он может с ним сделать? Тут наш интроспекционист не испытывает ни малейшего замешательства. Истолкованная как продукт

научения и только, константность яркости сразу становится совершенно безопасным для него фактом.

Давайте более подробно разберем его аргументацию. В данном наблюдении можно изменить яркость листов бумаги, рассматривая их особым способом. Поэтому, говорит интроспекционист, яркости, какими мы их вначале видели, не могли быть подлинными сенсорными переживаниями. Это утверждение очевидно включает в себе предположение о природе сенсорных фактов. Такие факты, предполагает интроспекционист, должны быть независимы от изменений установки наблюдателя. Но в этом месте его рассуждениям не хватает последовательности. Если при установке на интроспекцию видимый белый цвет может превращаться в оттенок темного цвета, а видимый черный – в относительно светлый цвет, то обратное изменение происходит спонтанно, как только наблюдатель отказывается от этой установки. Таким образом, истинные яркости, которые, как утверждает интроспекционист, выявляются в процессе интроспекции, столь же изменчивы, как и яркости, которые мы видели до нее и которые мы снова видим после нее. С чисто логической точки зрения, факты опыта, обнаруженные в ходе интроспекции, можно было бы отвергнуть на тех же основаниях, так как они исчезают, когда наблюдатель возвращается к наивной установке. Интроспекционист, однако, далек от того, чтобы подходить к фактам обыденного опыта и фактам интроспекции с одной меркой. Он считает то, что переживает во время интроспекции, истинным опытом, и уверен, что этот опыт продолжает существовать, когда он возвращается к более наивной установке, хотя теперь он снова затеняется эффектами знания. Следовательно, должно существовать какое-то дополнительное убеждение, которое заставляет его предпочитать свой особый чувственный опыт.

Обнаружить это убеждение, придающее уверенность интроспекционисту в своей правоте, совсем не трудно. Почему константности размера, формы, расположения объектов, скорости и яркости становятся для интроспекциониста неожиданностью? Почему он не принимает эти факты за чистую монету? Очевидно, потому что при данных условиях стимуляции он ожидает получить переживания, совершенно отличные от тех, которые он фактически имеет. Видимый глазом размер объекта, сказал бы он, должен быть пропорционален его ретинальному размеру; за изменениями ретинальной формы объекта должны последовать изменения его видимой глазом формы; локализация объектов в зрительном поле должна изменяться вместе с их положением на сетчатке, видимая скорость – вместе с ретинальной скоростью, а видимая яркость – вместе с интенсивностью раздражения сетчатки. И вот, хотя повседневный опыт обывателя все время противоречит этим ожиданиям, особая установка, развитая и поддерживаемая интроспекционизмом, обеспечивает успех в получении тех других переживаний, которые нам всегда следовало бы иметь. Именно это заставляет интроспекциониста отдавать предпочтение своим особым данным и, к тому же, верить в перманентное, хотя и скрытое, существование таких “чистых ощущений”. Таким образом, становится очевидным, что процедура и результаты интроспекции получают одобрение благодаря их соответствию определенным предпосылкам касательно отношения

между стимуляцией и сенсорным опытом. Те же самые предпосылки приводят, конечно, и к отбраковке многих феноменов, например, таких как константности. Не осознав этого решающего момента, невозможно понять пути и методы интроспекционизма. В бытность мою юным студентом сколько раз я читал, что иллюзия Мюллера-Лайера не является истинным сенсорным фактом, потому что она может быть разрушена аналитическим наблюдением и соответствующей практикой. Если это принимается в качестве доказательства, то одному виду опыта, очевидно, придается большее значение, чем другому. Почему это должно быть так? Ответ заключается в том, что один опыт согласуется с тем, что согласно ожиданиям производит периферическая стимуляция, а другой нет. Противоречащий таким ожиданиям опыт отбрасывается с помощью эмпиристских предположений или других ухищрений подобного рода. Второе основополагающее убеждение, которое стоит за научными решениями интроспекционизма, заключается в следующем: характеристики подлинного чувственного опыта зависят только от соответствующих характеристик периферических стимулов.

Вера интроспекциониста приобретает еще более крайнюю форму. Как он действует, чтобы найти подлинные сенсорные факты, скажем, в случае константности яркости? Он пытается изолировать части белой и черной бумаги так, чтобы они больше не были связаны с их специфическими окрестностями. По-видимому, изоляция является универсальной процедурой, дающей эффект во всех других случаях, включая иллюзию Мюллера-Лайера. Такая аналитическая установка будет вызывать эффекты, подобные эффектам экрана с отверстием, который скрывает специфические окрестности объектов и заменяет их новым однородным фоном. Если теперь нарушающие ожидание факты исчезают, то этот эффект изоляции объясняется исключением всех факторов, которые в противном случае искажают подлинную сенсорную ситуацию. Как действуют эти факторы? По словам интроспекциониста, они действуют как подсказки для процессов вспоминания, привносящих ранее приобретенное знание. Нужно отдавать себе отчет в том, что на данном этапе интерпретация интроспекциониста снова носит односторонний характер. Без сомнения, изоляция фактов в сенсорном поле оказывает воздействие на эти факты. При этих условиях они, как правило, более строго связаны с состояниями локальной стимуляции. Но этому можно дать два совершенно разных объяснения: (1) либо подлинный сенсорный опыт всегда зависит исключительно от локальной стимуляции, а от факторов окружающей среды зависит только вспоминание ранее приобретенного знания (это и есть точка зрения интроспекциониста); (2) либо сенсорный опыт в данном месте зависит не только от стимулов, соответствующих этому месту, но и от стимулирующих состояний окружающей среды. Я сразу замечу, что этой второй точки зрения придерживается гештальтпсихология. При втором объяснении, как и при первом, изоляция и введение однородной среды будут, как правило, приводить к лучшему соответствию между локальным опытом и локальной стимуляцией. Интроспекционист, однако, рассматривает только одну альтернативу. Он предпочитает тезис, который позволяет ему считать, что локальные сенсорные факты строго определяются

локальной стимуляцией. Его пристрастность в этом отношении также очевидна, когда речь идет не о предположениях эмпиристов, а о других гипотезах, с помощью которых он защищает свою картину простого сенсорного мира. В известном примере, когда испытуемые направляют движения глаз вдоль основных отрезков прямых в рисунке Мюллера-Лайера, которые объективно равны, эти движения, как оказывается, имеют разные амплитуды для двух частей его рисунка, и эта разница соответствует различию в их воспринимаемой длине, т. е. иллюзии. Из этого был сделан вывод, что иллюзия не является фактом зрительного опыта; скорее, она вызвана такими асимметричными движениями глаз или, по крайней мере, соответствующими тенденциями возбуждения. Это утверждение является предвзятым, потому что если две линии в этом рисунке, фактически, с самого начала имеют разную визуальную длину, то и движения глаз или тенденции возбуждения будут, конечно, столь же асимметричными. Только предубежденный человек может сделать вывод, что такие наблюдения доказывают косвенное происхождение эффекта Мюллера-Лайера. А в чем заключается предубеждение такого человека? Он ни при каких обстоятельствах не признает, что длина линии зависит от большего количества условий, чем длина ее ретинального изображения. Поэтому самым фундаментальным предположением интроспекционизма является следующее: подлинные сенсорные факты – это локальные феномены, которые зависят от локальной стимуляции, а вовсе не от стимулирующих состояний в их окружении.⁹ Только если мы знаем это правило, мы можем понять, в каких случаях интроспекционист приступает к интроспекции. Очень редко мы застаем его за этим занятием, когда простые отношения между локальной стимуляцией и сенсорными фактами обнаруживаются без особых усилий. Но там, где *prima facie* такие отношения не открываются, он всегда будет прибегать и к своей интроспективной процедуре, и к предположениям, которые помогают защитить его главный тезис.

Наше критическое исследование привело к интересному результату. Вначале кажется, что принципы интроспекционизма резко контрастируют с идеями бихевиоризма. Если уж интроспекционист не является защитником непосредственного опыта, то кто еще смог бы сыграть эту роль? Однако в действительности его увлеченность непосредственным опытом явно ограничена. Интроспекционизм следует указаниям авторитетного источника, для которого показания опыта как такового мало что значат. Он подвергает непосредственный опыт процессу просеивания, находит большую его часть дефектной и обрекает отбракованный опыт на применение исправительных мер. Этот авторитетный источник обычно называют физиологией органов чувств. Эта отрасль физиологии имеет строго определенные представления о сенсорных функциях нервной системы. Когда

⁹ Это и есть знаменитая мозаичная гипотеза. Некоторые интроспекционисты заявляли, что гештальтпсихология тоже должна признать определенные отношения между стимулирующими состояниями и сенсорными фактами. Безусловно! Мы выступаем не против связей между такими условиями и сенсорными фактами в целом, а только против жесткой связи между *локальной* стимуляцией и *локальным* переживанием.

интроспекционист упоминает физиологию, он вроде бы говорит о полезном слуге. Но когда мы смотрим на факты, слуга оказывается хозяином интроспекциониста.

В таком случае отличается ли интроспекционизм от бихевиоризма так сильно, как нам показалось по первому впечатлению? Если мы сравним физиологические предпосылки интроспекционизма с физиологическими предпосылками бихевиоризма, то вскоре поймем, что, наоборот, в этом отношении у этих двух школ много общего.

Основные понятия бихевиоризма – это понятия рефлекса и условного рефлекса. Главная характеристика рефлекторного действия состоит в том, что нервные импульсы распространяются от рецептора по установленным путям к установленным центрам, а от них по дальнейшим установленным путям к эффекторному органу. Эта концепция объясняет порядок органических реакций в их зависимости от предъявленных стимулов: порядок этот навязан определенной схемой разводки проводников. Правда, бихевиористы не предполагают, что такие анатомические схемы абсолютно жестки и постоянны. Но, хотя некоторое растекание возбуждения и допускается, единственное биологическое значение того “допустимого отклонения” видится в том, что другие условия, которые могут сделать связи достаточно жесткими, имеют за счет этого определенный диапазон возможностей для оказания своего влияния. Таким образом, порядок функции в известной степени предписан рефлекторной дугой; однако на более высоком уровне нервной системы связи могут создаваться (или блокироваться) другим фактором. Этот другой фактор есть не что иное, как обусловливание.

С этой картиной мы можем теперь сравнить идеи, лежащие в основе критериев, которые интроспекционист использует для определения подлинного чувственного опыта. Во-первых, локальное ощущение зависит от локальной стимуляции. Оно не зависит от других процессов в нервной системе, даже от тех, которые исходят из смежных частей того же органа чувств. Единственным допущением, которое способно объяснить эту независимость локального ощущения, является предположение о проведении нервных процессов по изолированным путям из одной точки органа чувств в одну точку мозга, где активность сопровождается чувственным опытом. Но это только первая половина рефлекторной дуги, и в этом отношении интроспекционизм полностью сходится во взглядах с бихевиоризмом. Теперь, если оказывается, что опыт часто не подчиняется этому принципу, причина кроется во втором принципе. На более высоких уровнях нервной системы связи, которые изначально не существовали, могут еще формироваться и в ходе индивидуального развития. Как следствие, некоторые переживания будут регулярно сопровождаться другими, особенно в форме вспоминания, которое добавляет свой материал к этим переживаниям. По существу, этот принцип совпадает с принципом обусловливания, поскольку в обоих случаях основным является формирование новых связей. Следовательно, и здесь мы не находим никакой реальной разницы между интроспекционизмом и бихевиоризмом.

В ходе их оживленных споров относительно того, является ли интроспекция или объективное наблюдение поведения правильным методом психологии, ни одной из сторон не

приходит в голову, что гораздо более актуальным может быть другой вопрос, а именно, является ли их общее предположение о функциях нервной системы адекватным. Обе стороны, кажется, считают эти предположения самоочевидными. И так как их основные предпосылки принимаются ими без доказательств, для нас не является неожиданностью найти в интроспекционизме тот же консерватизм, который не нравился нам в бихевиоризме.

Большинство интроспекционистов, видимо, не осознают, что психология – это очень молодая наука, и поэтому ее будущее должно зависеть от открытий, которые в настоящее время мы не способны предвидеть. По крайней мере, в области чувственного опыта, основное содержание всех возможных наблюдений, несомненно, дано им непосредственно еще до того, как они начинают наблюдать. Соответственно, они демонстрируют негативистскую установку всякий раз, когда наблюдения не согласуются с непреложной истиной; и их экспериментирование часто становится просто защитной процедурой. Если другие указывают на новые факты, которые не вписываются в их убеждения, они стремятся устранить беспорядок путем интроспекции и вспомогательных допущений. Критика новых наблюдений – это здоровая процедура в науке, но я знал интроспекционистов, которые потратили свою научную жизнь на ожесточенную борьбу за их догматы.

В этих обстоятельствах я не вижу, почему мы должны отдавать предпочтение интроспекционизму перед бихевиоризмом. В своих фундаментальных понятиях эти две школы настолько похожи, что все их споры напоминают мне беспричинные ссоры в семье. В любом случае, принципиальные вопросы гештальтпсихологии относятся к проблеме, которая никогда не упоминается в их дискуссиях, потому что для этих школ она пока еще не существует: верно ли, что процессы, лежащие в основе опыта и поведения, зависят от связей между нервными путями, и что изменения проводимости этих связей составляет развитие индивидуума?

IV

ДИНАМИКА В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕХАНИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Иногда бывает, что люди поступают правильно, занимая консервативную позицию. Но кажется совершенно невероятным, чтобы наша молодая наука шла по правильному пути, придерживаясь консервативных взглядов, когда эти взгляды постоянно противоречат реальному опыту и все время должны защищаться с помощью таких ухищрений, как эмпирическая гипотеза.

Как только аргументы интроспекционизма подвергаются тщательному изучению, они оказываются малоубедительными. В одном из наших примеров переживание движения происходило, когда экспериментатор последовательно прикасался к двум точкам на коже испытуемого. Это переживание не было признано подлинным сенсорным фактом, потому что это движение имело форму дуги над пустым пространством, и только ощущения концов этой дуги были локализованы на коже в точках фактической стимуляции (*ср.* с. 67 и далее). Но почему переживания, возникающие в результате раздражения органа чувств, неизменно должны быть локализованы в том месте, где сам этот орган чувств локализован как переживаемый объект? В случае зрения дело обстоит не так; формы или цвета мы видим не там, где по наши ощущениям находятся наши глаза. По большей части и звуки мы слышим не

там, где ощущаем собственные уши. По-видимому, за аргументом интроспекциониста кроется смешение периферических процессов, вызванных стимуляцией, с возникающими вследствие этого чувственными переживаниями, и, следовательно, физиологического локуса первых с переживаемой локализацией последних.

Этот пример показывает, что кажущаяся самоочевидность таких аргументов препятствует их критическому рассмотрению. В данном случае любое такое рассмотрение разрушает то, что поначалу выглядело самоочевидным. В этой главе я попытаюсь показать, что то же самое верно и в отношении основных предположений интроспекционизма и бихевиоризма. Эти предположения отнюдь не являются аксиоматическими, даже если они согласуются с распространенным предубеждением, которому, вероятно, более тысячи лет.

Мы видели, что эти убеждения могут поддерживаться только до тех пор, пока они защищены эмпирическими объяснениями противоречащих им фактов. Сейчас эти объяснения подвергаются испытанию вследствие большой экспериментальной работы с чувственным опытом, о которой говорилось в предыдущей главе. Например, чтобы узнать, что иногда белое является черным и наоборот, индивидууму, очевидно, потребуется время и много уроков; в частности, он должен усвоить это настолько основательно, чтобы в конечном итоге результаты его научения проявлялись в его зрительном поле в виде специфических нюансов яркости, заменяющих собой подлинные сенсорные факты. Таким образом, нам следует ожидать, что у маленьких детей или примитивных подопытных (животных) не будет наблюдаться сколько-нибудь выраженный феномен константности яркости. Но когда я проверил это предположение в опытах с цыплятами, они, как оказалось, обладают примерно столь же хорошей константностью яркости, как и я сам.¹⁰ Аналогичные эксперименты по константности размера с детьми (от двух лет и далее) и с молодыми человекообразными обезьянами также дали положительные результаты.¹¹ Хотя было бы затруднительно продемонстрировать, что научение не оказывает никакого влияния на обсуждаемые здесь феномены, в настоящее время представляется крайне маловероятным, что такие феномены целиком и полностью определяются ранее приобретенным знанием. Повторяю, я не отрицаю, что объективный опыт окрашен другими приобретенными характеристиками. Но там, где это влияние фактически не доказано, никакие косвенные доказательства не могут приниматься взамен такой прямой демонстрации.

Поскольку в этих примерах эмпирическое объяснение потеряло почти все свое правдоподобие, представляется неизбежным радикальное изменение основополагающих принципов. Иными словами, обсуждавшимся здесь феноменам, таким как константности размера, формы, расположения объектов, скорости и яркости, а также стробоскопическому движению, известным оптическим иллюзиям и т. д., теперь должен придаваться не меньший вес в нашем понимании сенсорных процессов, чем "нормальным" ощущениям

¹⁰ "Optische Untersuchungen am Schimpansen und am Haushuhn". *Abhandl. d. Preuss. Akad. d. Wiss.*, 1915.

¹¹ *Op. cit.* и Frank, *Psychol. Forsch.*, 7, 1926; 10, 1927. *Beyrl, Zeitschr. f. Psychol.*, 100, 1926.

интроспектиониста. Мы охотно допускаем, что на заданном расстоянии и на однородном фоне видимый размер объекта зависит преимущественно от размера его ретинального изображения; что (кроме контраста и других подобных исключений) при установленном освещении яркость зависит от интенсивности раздражения сетчатки, и т. д. В этих случаях размер, яркость и т. д. действительно изменяются в зависимости от свойств локальной стимуляции, потому что влияния со стороны окружающих раздражителей не такого рода, чтобы помешать этому простому отношению. По той же причине, когда принимается установка на интроспекцию, можно обнаружить переживания, которые соответствуют локальной стимуляции, потому что эта аналитическая установка способна на время подавить влияние окружающих раздражителей.

Однако мы тем самым отнюдь не признаём, что такая изоляция локальных фактов представляет собой более “нормальное” положение дел. Скорее, если наблюдаемые факты объективного опыта принимать за чистую монету, то наши фундаментальные предположения о процессах, лежащих в основе такого опыта, должны быть резко противоположными по отношению к предпосылкам интроспекционизма и бихевиоризма. Наша точка зрения будет заключаться в том, что вместо реагирования на локальные стимулы локальными и взаимно независимыми событиями организм отвечает на *паттерн* стимулов, воздействию которого он подвергается; и что этот ответ является унитарным процессом, функциональным целым, которое дано в нашем опыте в виде сенсорной сцены, а не мозаики локальных ощущений. Только с этой точки зрения можно объяснить тот факт, что в условиях действия постоянного локального стимула локальный опыт изменяется вместе с изменением окружающей стимуляции.

Однако “унитарный процесс” и “функциональное целое” являются терминами, которые могут показаться большинству ученых недостаточно определенными. Поэтому представляется целесообразным изложить наш тезис более подробно. Обсуждать его будет значительно легче, если мы сначала спросим себя, почему преобладающие в настоящее время взгляды казались столь убедительными для одного поколения за другим.

Главная причина, по-видимому, в том, что чувственный опыт, как правило, является организованным, упорядоченным событием, и что то же самое верно в отношении поведения, которое он вызывает. Так, с первых дней европейской науки человек был убежден, что когда остается уповать лишь на то, что часто называют слепыми силами природы, процессы природы никогда не производят порядок. Разве случайное взаимодействие сил в физическом мире не порождает повсюду хаос и разрушение? Наука смогла сформулировать некоторые законы, которым всегда следуют изолированные процессы. Но там, где одновременно действует множество факторов, кажется, нет причин, почему все должно развиваться в направлении порядка, а не хаоса.

С другой стороны, мы знаем, что хаос можно предотвратить, а порядок обеспечить, если ввести извне надлежащий контроль над действующими факторами. Как только человек начинает сужать возможности функции, жестко ограничивая условия своего выбора, он

может заставить силы природы выполнять организованную работу. Но обычно принимается на веру, что это также единственный способ придать порядок физическим событиям. Такого понимания природы люди придерживались тысячелетиями; и в наши дни мы все еще навязываем порядок природе таким же манером, когда конструируем и эксплуатируем машины наших фабрик и заводов. В таких машинах природе позволено вызывать движение, но форма и порядок этого движения предписаны анатомией машин, которой их снабдил человек, а вовсе не природа.

С этой точки зрения молодая наука будет склонна предполагать существование специальных ограничивающих устройств (приспособлений, конфигураций, структур и т. д.) при обнаружении того, что где-то в природе распределение процессов следует строго организованному порядку. Аристотелевская астрономия – хороший пример. Движение звезд открывает нам удивительный порядок, настолько отличающийся от ожидаемого в стихийной природе, что древнегреческим теоретикам предположение о контролирующих устройствах казалось совершенно необходимым. Очевидно, думали они, возможность звезды совершать движение по своей воле или возможность планеты сбиться со своего пути исключается чем-то, что ограничивает их траекторию движения. В теории Аристотеля звезды, поэтому, закреплены на жестких кристаллических сферах, которые вращаются и прихватывают с собой звезды. Неудивительно, что звезды имеют регулярные орбиты. Даже инженеры появляются в этой картине мира: Аристотель говорит о звездных божествах, которые поддерживают механизм в рабочем состоянии. Три сотни лет назад эта концепция все еще наполняла многих благоговейным трепетом. И, тем не менее, функциональное значение его хрустальных сфер было тем же, что и у приспособлений, посредством которых задавался порядок работы механизмов мельницы. Люди питают слабость к покою и надежности. Долгое время эта потребность удовлетворялась примитивными гипотезами аристотелевской астрономии, какими бы незрелыми и узкими они ни казались нам сейчас. Что же было шокирующим в астрономических открытиях Галилея? А он обнаружил, что на небе происходит намного больше того, чем мы видим собственными глазами, и что, как следствие, астрономический порядок оказался гораздо менее жестким, чем тот, в который люди охотно верили раньше. Если небесам вдруг стало не доставать такой твердокаменной надежности, если в этом отношении они почти сравнялись с земными условиями жизни, кто мог чувствовать себя надежно защищенным своими самыми важными верованиями? Таким образом, первобытный страх живших в те времена сторонников Аристотеля стал, по-видимому, причиной их яростных нападков на Галилея. Вполне возможно, что и волнение, охватившее многих после открытия Гарвеем кровообращения, содержало подобный элемент страха, потому что это открытие внезапно разрушило представление о человеке как о жесткой конструкции. При таком большом беспорядке в его внешнем пространстве и его внутреннем устройстве, разве вся жизнь человека не стала самой сомнительной затеей, успех которой во многом зависел от непредвиденных обстоятельств?

Тот же мотив выражен в тенденции ранней биологической мысли объяснять все удивительные характеристики органической жизни, и прежде всего ее поразительный порядок, специальными конструкциями, которые этот порядок обеспечивают. Пожалуй, “механическую” интерпретацию органических функций, данную Декартом, можно признать довольно смелой; он проявил консерватизм только в предположении, что – кроме влияния одного инженера, души – упорядоченный ход процессов в организме предписывается структурой, связями и каналами. Образно говоря, организм был для него тем, чем было небо для Аристотеля – полным хрустальных сфер. Он не знал законов динамики, это правда. Но хотя мы знаем гораздо больше об этих законах, основными изменениями в биологической теории с его времен были, на мой взгляд, лишь уточнения его образа мышления, а не открытия принципиально новых биологических понятий, касающихся организации функционирования живых существ. Каковы наши собственные достижения в этой области? Безусловно, механистическое понимание жизни теперь встречается с известным скептицизмом. Впрочем, кажется, биологи пока не имеют в чем-то существенно лучшего объяснения органического порядка.

Возможности альтернативного объяснения будет легче понять, если мы попытаемся представить более точную картину механистической теории в том виде как она сложилась в астрономии и биологии. В физической системе события определяются двумя группами факторов. К первой группе относятся силы и другие факторы, присущие определенным процессам данной системы. Эти силы и факторы мы будем называть *динамическими* детерминантами ее судьбы. Во вторую группу мы включаем характеристики данной системы, которые подвергают ее процессы воздействию ограничивающих условий. Такие детерминанты мы будем называть *топографическими* факторами. Например, в проводящей цепи электростатические силы представляют ее динамическую сторону. С другой стороны, геометрическая структура и химический состав цепи являются топографическими условиями, ограничивающими свободное действие этих сил. Сразу становится понятно, что тогда как динамические факторы работают во всех системах природы, влияние особых топографических условий может быть минимальным в одном случае и господствующим в другом. На изолированном проводнике электрические заряды могут распределяться как угодно, не выходя, конечно, за границы проводника. Если же заряды принимают специфическое распределение, которое отображает равновесную фазу, это происходит по динамическим причинам. С другой стороны, в паровой машине поршень может перемещаться только одним способом, который предписывается жесткими стенками цилиндра.

В результате мы пришли к классификации физических систем, которая имеет наибольшее значение для нашей проблемы. Мы исходим из того, что во всех системах, которыми мы интересуемся, процессы строго детерминированы *какими-то* факторами. Но мы всегда должны помнить: системы сильно различаются в том, что касается относительного влияния ограничивающих топографических условий, с одной стороны, и динамических факторов, с другой. В той степени, в какой топографические условия жестко заданы, и при

этом не изменяются динамическими факторами, их существование означает исключение определенных форм функционирования и ограничение процессов возможностями, совместимыми с этими условиями. Предельным случаем является случай системы, в которой заранее установленные топографические приспособления исключают все возможности, кроме одной. В качестве примера такого случая я только что упомянул поршень, движение которого предопределено стенками цилиндра. В этом случае пар в цилиндре имеет тенденцию расширяться во всех направлениях, но из-за заданных топографических ограничений он может работать только в одном направлении – единственном направлении, в котором поршень свободно перемещается. В такой системе динамически детерминировано только движение как таковое. Направление же движения предопределено цилиндром.

Это предельное соотношение между динамическими факторами и наложенными топографическими условиями практически полностью реализуется в типичных машинах. Разнообразие различных односторонних функций, которые могут быть реализованы в той или иной системе, огромно. Но общий принцип везде одинаков. Иногда, правда, динамике отводится чуть больше свободы, чем абсолютный минимум. И все же мы не строим машин, в которых динамические факторы являются главными детерминантами их формы работы.

Очевидно, именно о такой машине Аристотель прежде всего думал, когда рассматривал порядок небесных движений. Его сферы были топографическими условиями, с помощью которых он предполагал обеспечить этот порядок. Со времен Декарта неврологи прибегали к подобным предположениям всякий раз, когда нервная функция у животных и человека обнаруживала поразительный порядок. По их представлениям нервная динамика как таковая никогда не привела бы к скоординированной функции. Таким образом, предположение об особых анатомических условиях стало само собой разумеющимся во всех случаях, когда нервная система демонстрировала упорядоченное поведение.

При таких обстоятельствах не вызывает особого удивления, что и интроспекционисты, и бихевиористы работают с предпосылками, в которых машинный тип функции молчаливо принимается как должное. Рассмотрим, к примеру, зрение. Огромное количество стимулов воздействует на сетчатку в каждый отдельный момент времени. И все же, в зрительном поле обычно никакой путаницы нет. Один объект появляется здесь, другой там, очевидно так же, как они распределены в физическом пространстве. Соседние точки в физическом пространстве являются соседними и в зрительном поле. Центр круга в физическом пространстве выглядит как середина такой же симметричной фигуры в зрении, и т. д. Весь этот порядок столь удивителен, сколь и необходим для нашего сношения с миром. В наше время порядок, в котором изображения объектов проецируются на сетчатку, легко объясняется существованием зрачка, хрусталика и т. д. А что можно сказать о процессах, которые распространяются из сетчатки в головной мозг и там определяют зрительный опыт? Так как этот опыт, по-видимому, воспроизводит прежний порядок, должны существовать факторы, которые везде предотвращают нарушение порядка. Только один класс факторов, кажется, способен это обеспечить: зрительная нервная система должна состоять из огромного

количества топографических проводок, и эти проводки должны удерживать нервную функцию везде на правильном пути. Если из каждой точки сетчатки нервные импульсы проводятся по предписанным путям к равно предписанным конечным точкам в головном мозге, и если в совокупности этих конечных точек повторяется геометрия точек сетчатки, то влияние динамических факторов на распределение нервного потока полностью исключается, и таким образом порядок будет сохранен. Этот порядок является делом анатомии, а не факторов, свойственных нервному потоку.

В случае осязания и слуха подобные соображения привели бы к аналогичным результатам. Обратимся теперь к фактам научения и формирования привычек. Пытаясь объяснить эти факты, психологи допускали, что в некоторых частях нервной системы, например, между ее зрительным и слуховым отделами, проводящие пути в раннем возрасте не устанавливаются окончательно. Согласно этому представлению, либо пути сначала вообще не готовы к проведению нервного процесса, либо из одной точки ткани некоторые пути проводят нервные процессы одинаково хорошо в нескольких направлениях, так что никакой конкретный порядок еще не задан. Однако у взрослого человека между этими двумя отделами устанавливается огромное количество ассоциативных связей, а точность вспоминания и воспроизведения показывает, что теперь события происходят целенаправленно и упорядоченно. То, что лежит сейчас перед нами на столе, называется книгой, а ее части – страницами. Если кто-то не может вспомнить эти названия, когда книга и ее страницы даны нам как зрительные факты, это можно расценить как серьезный патологический симптом. Установленный порядок в игре ассоциаций предполагает это объяснение: там, где сначала вообще не было проводящих путей или существовало нескольких путей равной проводимости, научение выделило один путь, сделав его лучше проводящим, чем все остальные. В результате процессы теперь будут следовать этому пути. Если мы на время отбросим вопрос о том, как научение фактически делает это, порядок ассоциаций и вспоминания объясняется данным предположением. Очевидно, что это объяснение дается на основе топографических условий. Правда, в данном случае предполагается, что эти условия не существуют в младенческом возрасте; верно также, что изменения, благодаря которым создаются эти условия, остаются недостаточно ясными; но как только мы допускаем, что они создаются при образовании ассоциативных связей, ход событий оказывается столь же жестко заданным и независимым от динамических факторов, как и проведение нервных импульсов в зрительный отдел мозга. Так же как поезд остается на рельсах, потому что они представляют собой путь наименьшего сопротивления, и так же как огромная мощность локомотива не имеет никакого влияния на направление его движения, так и порядок в ассоциациях и вспоминании – это только вопрос проводящих путей, а природа процессов, которые распространяются по этим путям, не имеет никакого влияния на их течение.

Теперь обсудим последствия этой точки зрения. Прежде всего, всякий порядок, обнаруживаемый в ментальных событиях, в настоящее время объясняется исходя либо из врожденных машиноподобных конструкций, либо из приобретенных во вторую очередь

ограничительных условий. Таким образом, если данная деятельность не является фактом научения как такового, ее причины должны лежать либо в первичных топографических условиях, либо в прошлом научении, т. е. в приобретенных изменениях таких условий.¹² Заметим, что эта альтернатива совпадает с альтернативой нативистских и эмпиристских объяснений.¹³ Дискуссии между нативистами и эмпиристами не оставляют сомнений в том, что нативистское объяснение всегда означало объяснение на основе врожденных анатомических фактов. Если в данном случае такое объяснение представляется неприемлемым, то остается только одна из двух возможностей, а именно возможность научения. Этим авторам никогда не приходило в голову, что функция могла бы быть организованной и упорядоченной, когда ни врожденные, ни приобретенные структуры нервной системы не несут ответственности за этот факт. Часто к рассмотрению такой дополнительной альтернативы относятся с глубоким подозрением, как если бы это неминуемо повлекло за собой введение виталистических понятий.

Что происходит в конце улицы с односторонним движением, зависит от событий, которые произошли при въезде на нее в более ранний момент времени. Согласно ныне существующему представлению о сенсорной функции, объективный опыт должен состоять из чисто локальных сенсорных фактов, характеристики которых строго детерминированы соответствующими периферийными стимулами. Ради поддержания порядка процессы в отдельных проводящих путях и в соответствующих клетках головного мозга были отделены друг от друга и от окружающей ткани. Из этого следует, что никакие процессы в других частях нервной системы не могут изменять сенсорный опыт; в частности, на сенсорный опыт не могут влиять никакие изменения установки субъекта. Если мы перечислим количественные (интенсивность) и качественные характеристики, которые элементы поля проявляют в данный момент времени, то результатом должно быть исчерпывающее описание этого поля. Таким образом, сенсорный опыт являет собой простую мозаику, полностью аддитивную агрегацию фактов; и эта мозаика столь же жестка и неизменна, как и ее физиологическая основа. У нас есть все основания добавить, что в этой картине чувственный опыт выглядит чрезвычайно “бедным”. Любой функции, посредством которой можно было бы связать между собой различные части поля, здесь просто нет места. Единственные динамические события, которые могут произойти, локализованы в элементах, а их распределение в целом – не более чем геометрический паттерн.

¹² В эту первую группу факторов мы можем включать анатомические конструкции, которые не готовы выполнять свое назначение к моменту рождения, но постепенно развиваются до своей окончательной формы благодаря процессу созревания.

¹³ Термин “эмпирист” (“empirist”), конечно, не имеет того же значения, которое вкладывается в термин “эмпирик” (“empiricist”). Если последний термин относится к философу, утверждающему, что все знания вырастают из внешнего опыта, первый относится к психологу, склонному объяснять максимальное количество ментальных фактов предшествующим научением.

В механистической теории нервной системы связи между клетками головного мозга и эффекторными органами (такими как мышцы) имеют тот же вид, что и связи между локальными точками органов чувств и этими клетками. При этих условиях полностью адекватная формула для исследований в психологии будет выглядеть так: мы должны искать, какие реакции в эффекторных органах следуют за определенными стимулами. Это и есть известная *формула “стимул-реакция”*, которая долгое время пользовалась большим авторитетом в американской психологии. Она полностью согласуется с представлениями, что сама по себе нервная система лишена каких-либо собственных процессов.

Тот факт, что в этой теории значение динамического фактора сводится к минимуму, имеет еще одно следствие. В физике динамические взаимосвязи зависят от характеристик взаимосвязанных процессов и материалов. Например, в растворе, содержащем Na_2SO_4 и BaCl_2 , BaSO_4 будет осаждаться из-за определенных характеристик Ba , SO_4^{2-} и H_2O , которые в своих взаимоотношениях определяют, что происходит в этой смеси. Два электрических тока вызывают взаимное притяжение проводников, если оба тока идут в одном направлении; но происходит отталкивание, если токи имеют противоположные направления. Общее правило состоит в том, что “характеристики во взаимосвязи” (“characteristics in relation”), как показано в этих примерах, имеют решающее значение для взаимодействия. И тогда не трудно понять, что, поскольку механистическая теория исключает любые динамические взаимоотношения между частями поля, такое поле может формироваться совершенно случайно. В простой мозаике каждый элемент полностью индифферентен к природе своих соседей. Никакое другое следствие этой теории не показывает столь ясно, к чему приводит исключение динамических взаимосвязей. Ибо мы только что уяснили, что если такие взаимосвязи существуют, то физические события, конечно же, не являются индифферентными к характеристикам других событий в их окрестностях. К этой важной мысли мы еще вернемся при обсуждении ассоциации и вспоминания в другой главе.

Столкнувшись с таким описанием их предположений о физиологических функциях, большинство психологов вряд ли согласится с ним сразу. Они заявят, что предварительные догадки о процессах нервной системы не следует воспринимать слишком буквально. Кто не согласится, сказали бы они, что в некоторых частях ткани имеются утечки в проводящих соединениях? Мой ответ состоит в том, что если в первом гипотетическом описании нервной функции используются аналогии только одного вида, а именно машинного, то другие аналогии, вероятно, никогда не приходили в голову этим теоретикам. Будь оно предварительным или окончательным, мы здесь имеем дело только с описанием машины, и никакой существенно иной принцип даже не упоминается. Что касается вопроса утечек, то это понятие служит не более чем указанием на отсутствие точной функции у этой машины. Оно по-прежнему предполагает в качестве нормального случая, что порядок обеспечивается посредством сепарации локальных событий; и это далеко не указание положительных последствий, которые имела бы их неполная сепарация. Изложенные в такой манере, наши представления о нервных процессах, возможно, выглядят более расплывчатыми, чем

последовательная механистическая теория; но я не вижу, что понятие утечки предполагает новый способ объяснения порядка функции. Что именно должно произойти, если все проводники немного протекают в определенных точках? Не произойдет ли при этом просто смешивание локальных процессов? Если нет, то что еще может произойти с точки зрения этих теоретиков? Боюсь, что им будет трудно ответить на этот вопрос.

Давайте еще раз сравним теорию с наблюдением. Нам было совершенно ясно, что константность яркости и константность размера, как факты, несовместимы с предположениями механистической теории; ибо в обоих случаях чувственный опыт, конечно, не определяется одними только соответствующими локальными стимулами. Именно из-за этого затруднения, как мы помним, пришлось обратиться к эмпиристским объяснениям. Но поскольку за это время психология животных представила нам убедительные доказательства против этих объяснений, то сейчас необходимо признать, что ни эмпиристские, ни нативистские предположения не могут быть правильными. Таким образом, мы должны попытаться найти какую-то функцию, которая является упорядоченной, организованной и, тем не менее, не полностью ограниченной врожденными и/или приобретенными конструкциями. Если такая альтернатива существует, нам нужно будет применять ее и к другим наблюдениям, таким как константности формы, скорости, расположения объектов и т. д. Они, в целом, настолько похожи на константности яркости и размера, что объяснение, которое подходит последним, весьма вероятно, прольет свет и на первые. Разумеется, это означает, что выбор между нативистскими и эмпиристскими предположениями должен быть признан полностью ошибочным.

Утверждение интроспекциониста, что изменения установки не влияют на подлинный чувственный опыт, также несовместимо с реальными фактами. Это утверждение почти равнозначно произвольному определению подлинного чувственного опыта. В порядке наблюдения замечу, что я способен “посредством интроспекции” превратить затененную белую поверхность и полностью освещенную черную поверхность в две поверхности одинакового серого оттенка. Вряд ли может быть более радикальное влияние установки на чувственный опыт, чем эта трансформация. То же самое относится ко всем случаям, в которых интроспекция разрушает естественный опыт и таким путем открывает наблюдателю его “подлинные” ощущения. То, что происходит в интроспекции, широко признается, по крайней мере, в отношении одного наблюдения. Анализируя музыкальный звук, мы можем услышать подряд (по отдельности) несколько нот, которые появляются из оригинальной звуковой единицы. Многие признают, что в этом случае особая (аналитическая) установка превращает один сенсорный факт в другой, и что звук, слышимый как единое целое, является столь же хорошим сенсорным фактом, как и обертоны, появляющиеся во время анализа. Но если это не вызывает особых возражений, как мы можем относиться неодобрительно к аналогичным доказательствам в других случаях?

По поводу утверждения, что сенсорный опыт является мозаикой чисто локальных фактов в том смысле, что каждая точка сенсорного поля зависит исключительно от его

локального стимула, я должен повторить, что никаких оснований для такого радикального предположения не приводилось за все время его существования. Скорее оно похоже на выражение *априорного* мнения о том, какой следует быть природе вещей, несмотря на опыт и даже вопреки ему. Как показывает наблюдение, не одна только локальная ретиальная стимуляция определяет, какими должны быть размеры, форма, локализация и яркость у локального переживания; и не одна ретиальная скорость определяет видимую скорость, как тому следовало быть, если бы только геометрия ретиальных фактов определяла пространственные переживания. В качестве примера можно привести много так называемых иллюзий, свидетельствующих о том, что локальные процессы зависят от *всей совокупности* стимулов. В какой-то степени этот спор в конечном итоге будет разрешен на основе прагматических принципов: победит та сторона, чьи принципы окажутся более плодотворными в дальнейшем развитии психологии.

В случае одного наблюдения почти все психологи сходятся во мнении, что локальный сенсорный опыт определяется не только локальной стимуляцией. Речь идет о цветовом контрасте, который, по мнению большинства современных психологов, является эффектом взаимодействия в нервной системе. Здесь межэлементная корреляция между ретиальными стимулами сетчатки и сенсорным опытом больше не отстаивается, так как детерминация локального опыта условиями в более широкой области слишком очевидна. Но после этой уступки, как можно продолжать действовать так, будто ничего серьезного не произошло? Науке потребовалось некоторое время, чтобы даже в этом случае принять очевидные доказательства. Гельмгольц отказался это сделать. Для того чтобы сохранить его основополагающую предпосылку, т. е. тезис о поточечной детерминации локальных сенсорных фактов локальными стимулами, он, конечно же, использовал эмпиристские гипотезы. Но в наше время, после того как был сделан первый шаг, мы должны осознать не только то, что одна теория контраста пришла на смену другой, но и то, что основополагающий принцип во всей области чувственного опыта уже не может оставаться в силе. Когда в будущем обнаружится расхождение опыта с локальной стимуляцией, мы будем вынуждены рассмотреть возможность того, что, как и контраст, такой опыт зависит от всей совокупности стимулов, а не только от локальной стимуляции. Идя по этому пути, мы можем, наконец, понять, почему в некоторых случаях специфические установки субъекта влияют на чувственный опыт. После того, как было показано, что чувственный опыт в данном месте вызывается стимуляцией из более широкой области, нет причин сомневаться в том, почему такое влияние не должно также оказываться процессами, которые сочетаются с какой-то особой установкой.

В следующих главах мы обсудим дополнительные факты, которые указывают в том же направлении. В первую очередь, это то, что сейчас обычно называют *организацией* чувственного опыта. Данный термин указывает на то, что у сенсорных полей есть, в известном смысле, своя собственная социальная психология. Такие поля даны нам в опыте не как однообразные сплошные среды и не как паттерны взаимно индифферентных элементов.

Мы реально воспринимаем, прежде всего, конкретные объекты, такие как вещи, рисунки и т. д., а также группы, элементами которых являются эти объекты. Это служит доказательством работы процессов, в которых содержание отдельных областей объединяется, оставаясь в то же время относительно отделенным от своего окружения. Механистическая теория с ее мозаикой обособленных элементов, конечно, не способна иметь дело с организацией в этом смысле.

Кроме того, было показано, что многие факты чувственного опыта не могут быть связаны с чисто локальными условиями стимуляции, поскольку такие локальные условия никогда не порождают ничего подобного. Факты, на которые я намекаю, являются атрибутами только определенных областей пространства и периодов времени. Тогда, сравнительно длительные физические процессы, части которых функционально взаимосвязаны, могут также иметь свои собственные характеристики – характеристики, которые в принципе не могут быть связаны только с локальными условиями. Однако механистическая теория нервной системы исключает эту возможность, потому что предположение о длительных процессах с функционально взаимосвязанными частями несовместимо с основными принципами этой теории.

В механистической теории, как мы уже знаем, любой локальный сенсорный факт строго определяется его стимулом. Следовательно, характеристики стимулов в их взаимосвязях друг с другом не могут играть никакой роли в детерминации локального сенсорного опыта. Они способны это делать только в том случае, если процессы в головном мозге свободно взаимодействуют. Взаимодействие в физике, как мы помним, полностью зависит от “характеристик во взаимосвязи” (“characteristics in relation”) взаимодействующих событий. Так вот, если мы рассмотрим имеющиеся знания в области чувственного опыта, то обнаружим, что в бесчисленных случаях локальные сенсорные данные зависят от отношений между локальными стимулами и стимулами в их окрестностях. Это справедливо для случая контраста и для случая слияния тонов, а также для наблюдений, которые обсуждались в предыдущей главе. Константность яркости, например, зависит от отношения освещенности и яркости окружающего поля к яркости наблюдаемого объекта. Скоро станет ясно, что и организация, как мы определили ее минуту назад, тоже зависит от локальных характеристик в их отношении друг к другу.

Принимая во внимание эти факты, мы несколько не преувеличиваем, говоря, что механистическая теория нервной системы совершенно не способна оценить должным образом природу чувственного опыта. Все в этой области указывает на теорию, в которой основной упор делается на динамические факторы, а не на анатомически заданные условия. Более того, во многих наблюдениях динамика поля практически прямо открывается субъекту. Так обстоит дело, например, при внезапной стимуляции или ее изменениях, за которыми следуют сенсорные события, а не состояния. Предположим, что в темноте внезапно появляется яркая фигура. Такая фигура не обретает сразу ни своего полного размера, ни своего точного местоположения. Она появляется, быстро увеличиваясь в размерах и

приближаясь к нам. Опять же, когда эта фигура внезапно исчезает, она сокращается в размерах и удаляется от нас. С точки зрения механистической теории подобные наблюдения совершенно необъяснимы. Или возьмем тот факт, что в осязании, равно как в зрении и слухе, объекты и события меняют свое местоположение при добавлении к ним других объектов и событий. Физиолог Макс фон Фрей (von Frey) показал, что при одновременном прикосновении к двум точкам руки воспринимаемое расстояние между ними значительно короче соответствующего расстояния при их стимуляции поодиночке. Шольц и Кестер (Scholz and Kester) оба измерили взаимное притяжение (mutual attraction), которое обнаруживают два источника света или два источника звука при определенных условиях их предъявления. В отсутствие весомого исторического престижа, который механистическая теория все еще сохраняет, никто не усомнился бы в этих наблюдениях как доказательствах динамического взаимодействия. Стробоскопическое движение, явно относящееся к тому же классу феноменов, сейчас известно большинству как тот факт, который Макс Вертгеймер положил в основу своего первого возражения против мозаичной теории чувственного опыта.¹⁴ Если два стимула последовательно проецируются в разные места сетчатки, испытуемый обычно видит движение, которое начинается из локуса первого и заканчивается в области второго (*ср.* Гл. III). При благоприятных условиях испытуемые не будут сообщать о двух впечатлениях. Наоборот, они будут видеть нечто одно, перемещающееся из одного места в другое. Как теория, интерпретирующая сенсорные поля как мозаики независимых локальных фактов, может справиться с такими наблюдениями? Стробоскопическое движение обсуждалось довольно широко, и эмпирические аргументы, естественно, играли заметную роль в этих дебатах. Однако по главному пункту вопросов больше нет: если объективные условия и установка наблюдателя не совсем уж неадекватны, то стробоскопическое движение производит поразительный эффект. В конце концов, на стробоскопическом эффекте основано искусство кино. Есть, конечно, люди, которые не доверяют наблюдению, когда оно противоречит постулатам механистической теории. Возможно, таких оппонентов убедит тот факт, что при повторении в заданной области стробоскопические движения оставляют отрицательные послеобразы их реализации, так же как и обычные движения. С исторической точки зрения исследование Вертгеймера было началом гештальтпсихологии. В данном обсуждении я следую другой линии просто потому, что не уверен, является ли стробоскопическое движение наилучшим материалом для использования в первом знакомстве с вопросом.¹⁵

У сторонников механистической теории есть, конечно, ряд аргументов, к которым они прибегают для ее защиты. Время от времени говорилось, что эта теория дает нам особенно ясную и простую картину нервной функции – картину, которую способен понять любой из нас,

¹⁴ *Zeitschr. f. Psychol*, 61, 1912.

¹⁵ Бенюсси внес значительный вклад в исследование этих проблем. Его работа по изучению подобных фактов в области осязания упоминалась выше. Некоторые крайне важные характеристики стробоскопического движения были обнаружены Вертгеймером и Тернусом (*Psychol. Forsch.*, 7, 1926).

так как в практической жизни порядок повсеместно обеспечивается договоренностями *ad hoc*. Должен признаться, что такая политика “наименьшего научного усилия” представляется мне неприемлемой. Когда наши вопросы относятся к фактической природе предмета исследования, комфорт и привычки ученого вообще не принимаются в расчет. Кроме того, только психологи, неврологи и физиологи экономят время и силы за счет предположений, объясняющих порядок посредством ограничивающих конструкций в тканях организма. Они просто оставляют свои проблемы другим ученым; ибо всякий раз, когда проблема функции интерпретируется как проблема ограничивающих конструкций, науку о биологическом развитии – онтогенезе и филогенезе – неявно просят объяснить происхождение гистологических конфигураций. Таким образом, избегание трудностей в одних науках означает в этом случае создание дополнительных трудностей другим. К тому же, рано или поздно функциональные проблемы неизбежно придется рассматриваться в функциональном плане. Наверное, возможно объяснить онтогенез анатомических структур специальными структурными механизмами (*arrangements*), которые действуют в яйце и зародыше; но никто не станет пытаться объяснить филогенез структурными механизмами (*arrangements*), которые заставили его идти по определенному пути.

В качестве дополнительного аргумента можно было бы указать на то, что организм, как это видно из его анатомии, действительно содержит специальные конструкции, обеспечивающие его адекватное функционирование. Безусловно, такие факты нельзя отрицать. В качестве примера достаточно привести наличие связующих волокон между органами чувств и соответствующими частями головного мозга. Но не будем забывать, что в организме есть и другая проводящая система, которая ясно показывает ограничения механистической теории. По кровеносным сосудам ежеминутно переносится большое количество разных веществ из одних мест в другие. Конечно, кровеносные сосуды как таковые представляют собой механизм “для транспортировки”, но в этой системе отсутствуют специальные механизмы для доставки каждого компонента жидкости в нужное место. В данном случае выбор и порядок зависят исключительно от соотношения между различными химическими частями крови и состоянием различных тканей в определенный момент времени. Следовательно, существование крупных органов в анатомическом смысле не доказывает, что все элементы функции поддерживаются в заданном порядке машинообразными конструкциями.

Часто нам говорят, что нервные волокна фактически являются изолированными проводниками, по которым распространяются по существу независимые импульсы. В настоящее время я сомневаюсь, что мы можем, как и раньше, утверждать, что импульсы в различных волокнах определенного нерва распространяются совершенно независимо друг от друга. Помимо этого, физиологические исследования не оставляют больше никаких сомнений в том, что в ганглионарной ткани функции отдельных нервных клеток динамически взаимосвязаны.

Если факты чувственного опыта невозможно объяснить ни врожденными, ни приобретенными конструкциями (*arrangements*), то какой фактор является для сенсорной функции решающим? Вернемся к нашему утверждению, что в физических системах относительное влияние топографических условий, с одной стороны, и чисто динамических факторов, с другой, варьируется в весьма широких пределах. В типичных машинах роль топографических условий преобладает до такой степени, что динамические факторы служат лишь для того, чтобы вызывать перемещения по пути, установленному этими условиями. Такие машины, однако, представляют собой совершенно особый тип физической системы. За пределами узкого мира созданных руками человека машин существует бесчисленное

множество других физических систем, в которых направление процессов далеко не полностью определяется топографическими конструкциями.

Рассмотрим каплю в струе воды, текущей по узкой трубе. Почему эта капля движется? Если не принимать в расчет инерцию, то она движется потому, что давление воды в трубе выше за каплей, чем перед ней. До тех пор, пока стенки трубы исключают все другие возможности, эта разность давления может оказывать влияние только в одном направлении. Предположим, однако, что трубы нет, и что теперь капля становится частичкой гораздо большего объема воды. В новой среде капля, вероятно, будет также совершать движение. Но в этой ситуации она подвергается многим градиентам давления жидкости, и ее движение будет происходить в направлении результирующего градиента. Это движение, конечно, так же строго детерминировано, как и движение в трубе, но сейчас в каждой точке нет ограничивающих конструкторских условий, которые предписывали бы его направление. В этой новой ситуации любая капля в потоке воды движется в определенном направлении по динамическим причинам; она следует действию результирующей силы в каждый момент времени и во всех местах. Но как сами эти силы определяются в каждой точке? Они определяются всеми перемещениями и соответствующими изменениями давления, которые произошли моментом раньше. На самом деле, в известной степени они определяются и тем, в каком направлении наша конкретная капля только что перемещалась. Все это, безусловно, означает, что именно от свободного взаимодействия между частями воды зависит ее течение в каждой точке. Конечно, где-то в такой системе перемещение обычно сдерживается жесткими ограничивающими условиями, например, стенками трубы, которые вынуждают верхний слой жидкости течь вдоль *их* поверхности. Если, однако, на внешнюю область объема жидкости не накладываются такие ограничивающие условия, то для определения того, что происходит в каждой ее точке, остается только взаимодействие. Естественно, в любой точке не может произойти ничего такого, что несовместимо с ограничениями, заданными на поверхности. Но это единственный способ влияния этих ограничивающих условий на поток жидкости. Их влияние дает о себе знать через вынужденное поведение потока жидкости в их непосредственной близости, а также через динамические последствия этого поведения во всех остальных частях объема. Именно события такого рода почти полностью исключены в машинах; и в настоящее время господствующие неврологические теории предполагают, что они также предотвращены в нервной системе. Гештальтпсихология не видит убедительных оснований для этого предположения. Фактически, эта школа предполагает, что такие процессы имеют первостепенное значение в физиологии и психологии.

В трубе капля воды движется по траектории, которая ведет к выравниванию разности давлений. Именно так действуют силы во всех точках всех систем. Когда капля окружена большим объемом воды, не только ее собственное движение, но и движение всего потока иллюстрирует то же самое правило. Но теперь *направление* потока в каждой точке также зависит от тенденции динамических факторов приводить к выравниванию давления.

Трубы можно сконструировать так, что практически любой конкретный порядок может быть задан потоку в целой системе. В этом случае результирующий порядок обеспечивается путем *исключения* свободного, т. е. динамически детерминированного поведения. Естественно, мы должны задаться вопросом, может ли порядок возникать и тогда, когда распределение событий зависит от игры свободного взаимодействия. Были ли правы аристотелианцы и теоретики нервной функции, предполагая, что свободное взаимодействие неизменно ведет к беспорядку? На первый взгляд то, что происходит вокруг нас в природе, вроде бы подтверждает их мнение: когда силы и процессы слепо встречаются, это дает по большей части хаос и разрушение. Но ситуации, для которых это верно, обычно оказываются более или менее однотипными. В самом начале мы видим вещь в состоянии покоя или процесс, однообразно идущий в заданном направлении. Внезапно на эту вещь или на этот процесс воздействует извне новый фактор; через некоторое время еще одно такое возмущение, независимое от первого, дает о себе знать, и т. д. При таких обстоятельствах, действительно, почти все может произойти, и конечным результатом таких накопленных случайностей, скорее всего, будет разрушение. Это, как мне кажется, именно та картина, которую большинство людей имеют в виду, когда ссылаются на свободную игру сил в природе, – как если бы случайное воздействие было единственной формой взаимодействия.

Однако для нашего обсуждения гораздо интереснее другие ситуации. Например, если в большом сосуде вода приходит в какое-то движение, то в каждый момент времени в каждой точке объема жидкости существует определенное давление, и везде различия между величинами локального давления стремятся изменить распределение воды и ее поток. Если теперь предположить, что сам сосуд не изменяется и что никакие внешние факторы случайно не воздействуют на эту систему, то каким будет результат постоянного взаимодействия между частями воды? Если мы попытаемся найти ответ, представляя себе, что вода разделена на частицы маленького объема, каждая из которых смещается по результирующему градиенту давления в ее месте, и тем самым изменяет этот градиент; и если мы в дополнение заметим, что из-за этого структура потока не будет оставаться одной и той же даже на малую долю секунды, то вскоре мы склонимся к решению оставить эту задачу как находящуюся за пределами наших возможностей и придем к заключению, что в этой ситуации порядка будет не больше, чем в случае, когда события зависят от накопившихся случайностей. Однако в этом мы совершенно не правы. Мы просто проецируем свое собственное замешательство на ход объективных событий. Таким образом, мы становимся виновными в антропоморфизме. Физик совершенно по-другому смотрит на эту ситуацию. И наблюдение, и теоретические расчеты вынуждают его заключить, что в целом динамическое взаимодействие внутри системы имеет тенденцию давать упорядоченные распределения.

Давайте вернемся к примеру, который упоминался в начале этой главы. Теоретикам аристотелевских времен поразительный порядок движения небесных тел казался необъяснимым без допущения о жестких ограничениях, благодаря которым звезды удерживаются на правильном пути. Сейчас, в наше время, никто не верит в хрустальные

сферы, которые, как когда-то предполагалось, служили такими ограничениями. Но планеты по-прежнему движутся по своим правильным орбитам. Очевидно, они не заучили наизусть свои пути. Отсюда следует, что, помимо предустановленных или приобретенных ограничений, должны существовать и другие факторы, которые стремятся установить – и, что важно, поддерживать – такой замечательный порядок функционирования системы. В современном представлении о солнечной системе таким фактором, конечно, является свободная игра гравитационных векторов, которая изначально вызвала и продолжает поддерживать порядок планетарного движения.

Если несколько прямых проводников висят неровно, указывая концами в разные стороны, пропущенный через них электрический ток немедленно придаст им параллельное направление. Этот порядок – результат электродинамического взаимодействия.

Или предположим, что масло наливают в жидкость, с которой оно не смешивается. Несмотря на сильное взаимодействие молекул на общей поверхности жидкости, границы двух жидкостей остаются резко очерченными. Очевидно, это упорядоченное распределение возникает не под влиянием каких-то жестких ограничений; наоборот, оно вызвано исключительно динамическими факторами, действующими в пограничной области. Если удельная плотность обеих жидкостей одинакова, поверхностные силы будут изменять форму масляного пятна до тех пор, пока не образуется идеальная масляная сфера, плавающая в другой жидкости. Можно было бы легко добавить любое количество других примеров. Но и так нет повода сомневаться в том, что до тех пор, пока динамика не нарушается случайными воздействиями извне, она имеет тенденцию приводить к упорядоченным распределениям.

Каково объяснение этой тенденции? Попытаюсь ответить в нескольких словах. В таких системах в любой момент времени в каждой точке действует определенная результирующая сила. Все эти результирующие силы вместе образуют непрерывный паттерн напряжения. Для системы как целого прямой эффект может иметь только одно направление: все локальные изменения должны быть такими, чтобы, взятые в их совокупности, они приближали систему к состоянию равновесия сил. Фактор инерции, правда, может вызывать временные отклонения от этого простого правила. Но затем во многих системах инертные скорости сразу нейтрализуются за счет трения, так что фактический ход событий демонстрирует это правило в чистом виде, – и упорядоченное равновесное состояние вскоре достигается. (Важно сознавать, что данное правило применимо и к нервной системе. В этой системе нет процессов, на которые влияют инертные скорости.) Тот факт, что конечный результат всегда представляет собой упорядоченное распределение, просто объяснил Эрнст Мах: в упорядоченных распределениях паттерн сил имеет столь же регулярный характер, как и само распределение материала. Впрочем, очевидно, что в регулярных паттернах силы более тщательно сбалансированы, чем в нерегулярном распределении. Следовательно, поскольку свободное, не нарушаемое возмущениями взаимодействие ведет к установлению равновесия, оно должно приводить к упорядоченному распределению и сил, и материалов.

Динамическое самораспределение (self-distribution) в таком понимании – это именно та функция, которую гештальтпсихология считает совершенно необходимой для неврологической и психологической теории. В частности, предполагается, что порядок фактов в зрительном поле с высокой степенью вероятности является итогом такого самораспределения процессов. С этой точки зрения стационарное зрительное поле соответствует уравновешенному распределению базовых процессов. Когда условия меняются, результирующие процессы всегда будут идти к состоянию равновесия.

Как эта точка зрения увязывается с тем фактом, что зрительный процесс зависит от ретиальной стимуляции? Самораспределения процессов, и это стоит запомнить, не происходят *вообще без* накладываемых ограничений. В нашем конкретном случае паттерны ретиальных стимулов создают аналогичные паттерны фотохимических реакций в глазу. Неврологи утверждают, что передача нервного возбуждения из сетчатки в зрительную зону головного мозга является, по сути, функцией особых (и обособленных) проводящих путей, и что, как следствие, паттерны ретиальных процессов в известной степени повторяются в зрительном мозге. Если это верно, то здесь и будут начинаться динамические самораспределения, а ограничивающими условиями для них станут паттерны, которые импульсы из сетчатки накладывают на зрительную кору.

У нас нет оснований отрицать, что данная задача, с которой сталкивается эта теория, несоизмеримо труднее всего, с чем приходится иметь дело механистической теории. Когда на любой вопрос о распределении процессов дается ответ с отсылкой к анатомическим структурам, вряд ли возникнет нужда в прибавлении знаний о природе соответствующих процессов. С другой стороны, теория, в которой динамика играет существенную роль, видимо не может быть развита без знания принципов самораспределения в общем и целом или хотя бы без предположений о природе участвующих процессов. При отсутствии достаточного количества физиологических данных об этих процессах гипотезы об их природе можно вывести только из фактов чувственного опыта. К тому же, в сложившейся ситуации такие гипотезы могут быть проверены только благодаря дальнейшим наблюдениям в этой области. Нам потребуется некоторое время, прежде чем мы почувствуем твердую почву под ногами. Однако следует помнить, что любые трудности, которые могут встретиться на нашем пути, вовсе не обязательно связывать с фундаментальным понятием динамического самораспределения. Они могут быть вызваны неверными предположениями о тех специфических процессах, к которым это понятие может применяться в случае человеческого мозга.

Динамика играет столь незначительную роль в современной теории, что термины, которые употреблялись в предыдущих разделах этой главы, могут показаться многим психологам несколько необычными, даже загадочными. Как следствие, появятся подозрения в отношении намерений гештальтпсихологии. По этой причине представляется целесообразным сделать на данном этапе следующее заявление: понятия, которые мы рассматривали в этой главе, никак не связаны с виталистическими понятиями. Напротив, в

будущем наши динамические понятия могут помочь в преодолении возражений, которые витализм выдвинул против научной интерпретации жизни. Если это произойдет, то механистические теории жизни сдадут свои позиции, – в конце концов, виталистические аргументы против этих теорий иногда бывали достаточно убедительными. Но витализм ничего не выгадает – ибо из его возражений против механистических теорий был сделан ошибочный вывод, будто основные проблемы биологии не могут быть решены с позиции естественных наук. Наши понятия предлагают новые способы решения этих проблем именно с такой позиции.

V

СЕНСОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Любое динамическое распределение представляет собой функциональное целое. Возьмем, к примеру, простую электрическую цепь. Разности потенциалов и плотности тока распределяются в проводниках таким образом, чтобы установилось и поддерживалось устойчивое или стационарное состояние. Никакая часть этого распределения не является автономной, независимой от остальных; характеристики локального тока зависят во всех отношениях от того обстоятельства, что процесс в целом принял устойчивое распределение.

Если мы хотим применить подобное понятие к процессам, лежащим в основе чувственного опыта, мы должны избежать одной ошибки. Выступая против психологического атомизма, Уильям Джеймс однажды сказал, что в сенсорном поле локальные переживания переплетены с их соседями таким способом, который лежит за пределами понимания чисто рациональной теории. Он также считал, что первичный чувственный опыт равномерно непрерывен, и что все разрывы, края и границы позднее привносятся в сенсорное поле по прагматическим соображениям.

С точки зрения гештальтпсихологии такое утверждение не соответствует фактам. Несмотря на общую динамическую взаимозависимость на всей площади поля, в нем существуют границы, на которых действие динамических факторов ведет к увеличению степени изоляции (выделения из фона), а не к поддержанию равномерной непрерывности. Хорошие примеры в подтверждение этого можно найти в физике. Всё говорит в пользу предположения, что то же самое происходит и в нервной системе.

Зрительное поле демонстрирует два вида порядка. Один его вид – это порядок, которым занимается механистическая теория, когда пытается объяснить, почему данный процесс сохраняет свое правильное место среди его соседей, а не уходит в сторону. Однако в зрительном поле есть и другой порядок, который чаще всего ускользает от нашего внимания, хотя он не менее важен, чем порядок первого вида. В большинстве зрительных полей содержания определенных областей “принадлежат друг другу” (“belong together”) как контурированные единицы, отделенные от их окрестностей. Джеймс не соглашался, что эта *организация* поля является сенсорным фактом, потому что находился под влиянием своих эмпирических предубеждений. Нигде эти предубеждения не вредят так, как при рассмотрении данного вопроса. Под их влиянием не у одного читателя возникнут затруднения при попытках понять суть последующих аргументов.

На столе перед собой я обнаруживаю целый ряд контурированных единиц, или вещей: лист бумаги, карандаш, ластик, сигарету, и т. д. Существование этих воспринимаемых зрением вещей связано с двумя факторами. То, что включается в вещь, становится единым целым, и это единое целое выделяется из его окрестностей. Чтобы убедиться, что это не просто словесные ухищрения, я могу попытаться образовать другие единицы, в которых части воспринимаемой зрением вещи и части ее окрестностей собираются в единое целое. В одних случаях такая попытка закончится полным провалом. В других, где мне повезло больше, результат оказывается настолько странным, что в итоге первоначальная организация выглядит только еще убедительнее в качестве визуального факта.

Читатель скажет: “Конечно, вы говорите о психологических фактах; но что-то может быть психологическим фактом не вследствие принадлежности к чувственному опыту. Безусловно, вы признаете, что листок бумаги, карандаш, сигарета – это объекты, которые известны нам благодаря их использованию. На протяжении многих лет вы имели дело с такими объектами. Поэтому у вас было предостаточно возможностей для усвоения того, что они являются “единицами” в практическом смысле. Это ранее приобретенное знание вы

теперь проецируете на ваше поле зрения. Почему же тогда вы придаете такое большое значение вашему наблюдению? Это широко известно и, как только что было показано, вполне удовлетворительно объяснено. Наверное, это было известно и так же объяснялось еще тогда, когда Аристотель написал свой трактат по психологии”.

Мой ответ займет больше времени, чем этот аргумент. До тех пор, пока аргументы такого рода считаются приемлемыми, даже самые элементарные тезисы гештальтпсихологии не будут адекватно поняты. Разумеется, лист бумаги, карандаш, и т. д. являются для всех знакомыми объектами. Я также соглашусь без колебаний, что их использование и их названия известны мне из многочисленных контактов в прежние годы жизни. Большая часть смыслового значения, которое сейчас имеют эти объекты, несомненно, получена из этого источника. Но от этих фактов перескакивают к утверждению, что бумаги, карандаши и т. д. не были бы выделенными “единицами” без такого ранее приобретенного знания. Какие есть доказательства, что до того, как я приобрел это знание, визуальное поле не содержало таких “единиц”? Когда я вижу зеленый объект, я могу сразу же сказать название этого цвета. Я также знаю, что зеленый цвет используется как сигнал светофора на улицах и как символ надежды. Но из этого я не делаю вывода, что зеленый цвет как таковой может быть получен из такого знания. Наоборот, я знаю, что, как независимо существующий сенсорный факт, он приобрел вторичные значения, и я вполне готов признать преимущества, которые эти приобретенные значения имеют в практической жизни. Точно таким же путем, считает гештальтпсихология, сенсорные “единицы” приобрели названия, обогатились символическим содержанием и в настоящее время, как известно, имеют определенное практическое назначение, но, тем не менее, они существовали как “единицы” до того, как любой из этих дополнительных фактов добавился к ним. Гештальтпсихология утверждает, что именно первоначальное выделение контурированных целых позволяет сенсорному миру представлять перед взрослыми людьми настолько наполненным смыслами, насколько это вообще возможно; ибо, в своем постепенном проникновении в сенсорное поле, смысл придерживается линий, прочерченных естественной организацией; он обычно входит в выделенные целые.

Если бы эмпиристское объяснение было верным, то конкретные данности выделялись бы в сенсорном поле только в той степени, в какой они репрезентируют известные объекты. Однако дело обстоит совсем не так. Когда я всматриваюсь в темный угол, или когда я гуляю туманным вечером, я часто обнаруживаю перед собой что-то неизвестное, что выделено из окружающей среды как отдельный объект, хотя в то же время я совершенно не способен сказать, какого рода эта вещь. Только позже я могу открыть для себя ее природу в этом смысле. Фактически, такие воспринимаемые зрением вещи иногда остаются нераспознанными в течение нескольких минут. Из этого следует, что мое знание о практическом значении вещей не может отвечать за их существование как обособленных зрительных единиц. Тот же аргумент можно переформулировать в более общей форме. Всякий раз, когда мы говорим себе или другим: “Что это может быть там, у подножия холма,

справа от того дерева, между этими двумя домами, и т. д.?”), мы спрашиваем об эмпирическом значении или назначении видимого объекта и показываем самим нашим вопросом, что в принципе выделение воспринимаемых зрением вещей не зависит от знания и смысла.

И все же многие настолько любят свои эмпирические убеждения, что в этом затруднительном положении их объяснение сразу же примет другую форму. “Неизвестный объект, который вы видите в тумане, – скажут они, – появляется как нечто отдельное, обособленное, потому что он темнее серого тумана вокруг него. Другими словами, наше объяснение не требует никаких специальных знаний об особых группах ощущений в качестве смыслового значения отдельных объектов. Вы, кажется, недооцениваете необыкновенные достижения обучения, если ограничиваете его эффекты конкретными примерами. С раннего детства мы часто наблюдали такие группы ощущений, которые имеют приблизительно одинаковый цвет, отличаясь в этом отношении от своего окружения, и которые стремятся вести себя как единые целые, т. е. двигаться сами и перемещаться с нашей помощью, появляться и исчезать, – в одно и то же заданное время. Это происходит с камнями, бумагами, тарелками, ботинками, многими животными и листьями растений. Приблизительно однородные группы ощущений соответствуют физическим объектам, которые ведут себя как “единицы” по физическим причинам. Это лишь пример хорошо известной обобщающей силы памяти, когда, в результате таких фактов опыта, мы трактуем все однородно окрашенные области как “единицы” до того, как нам покажется, что мы действительно *видим* их как такие “единицы”. Поэтому не удивительно, что в тумане, например, область более темного оттенка видится как нечто отдельное, хотя мы и не можем распознать это нечто как определенного рода вещь”.

Я не считаю удовлетворительной эту модификацию эмпирической теории. В огромном числе случаев “единицы” образуются и выделяются при обстоятельствах, в которых данное объяснение не применимо. Взять хотя бы все воспринимаемые зрением “единицы”, состоящие из отдельных частей. Если в ясную ночь мы посмотрим на небо, некоторые звезды сразу же воспринимаются как принадлежащие друг другу и, в то же время, как отделенные от их окружения. Созвездие Кассиопея тому пример, равно как и Большая Медведица. Веками люди смотрели на небо и видели там одни и те же группы звезд в виде “единиц”, да и в настоящее время детям не требуется никакого обучения для того, чтобы воспринимать те же самые “единицы”. Аналогично этому, на рис. 1 читатель видит перед собой две группы лоскутков. Почему не просто шесть лоскутков? Или не две другие группы? Или не три группы по два элемента в каждой? Случайно взглянув на этот рисунок, любой из нас увидит две группы из трех лоскутков в каждой. Как насчет генерализованных эффектов научения в этих примерах? Никакое предшествующее обучение не могло выделить Кассиопею из скопления других неподвижных звезд вокруг нее. Как говорит нам повседневный опыт, все постоянные звезды движутся вместе. Вообще-то, невозможно утверждать, что мы научились рассматривать ряд отдельных похожих лоскутков как одну группу, потому что они регулярно движутся вместе. Они просто не делают этого. На столе я сейчас вижу пять мух, которые с

моего расстояния выглядят как черные точки. В данное время эти точки начинают двигаться порознь и перемещаться в разных направлениях. То же происходит с тремя желтыми листьями, которые ветерок поднимает с земли, и с тремя похожими камешками, которые моя рука двигает один за другим. Мой общий опыт заключается в том, что в большинстве случаев похожие элементы группы являются подвижными и перемещаются независимо друг от друга. Если все же в таких случаях группы вновь образуются и выделяются, это происходит несмотря на наши предыдущие знания о фактическом поведении их элементов.



Рис. 1

Когда дискретные объекты объединяются в группу, та роль, которую одинаковость (или сходство) играет в этом объединении, не может быть объяснена на основе научения. Но тот же фактор оказывает объединяющее влияние в случае непрерывных областей, независимо от того, репрезентируют ли они известные объекты или нет. Следовательно, нет смысла применять эмпиристское объяснение к этому образованию непрерывных однородных вещей, ибо такое образование групп доказывает, что одинаковость благоприятствует группировке совершенно независимо от приобретенных знаний.

Группирование отдельных объектов играет решающую роль в известном тесте на цветовую слепоту. Прямоугольное поле заполняется точками, лежащими примерно на равных расстояниях друг от друга. При нормальном зрении из нескольких точек образуется группа и, в качестве таковой, выделяется среди остальных точек. Так как эта группа имеет форму записанного цифрами числа, его можно прочесть без каких-либо трудностей. Точки, о которых идет речь, имеют примерно одинаковый оттенок и отличаются в этом отношении от остальных. Именно поэтому они объединяются в группу, характерная форма которой сразу распознается. Однако в зрительном поле людей, страдающих цветовой слепотой и не воспринимающих этих различий в оттенках, такая группа не может образоваться, а значит они не способны увидеть и прочесть число. В этом примере общее знакомство с цифрами одинаково у людей с нормальным зрением и с цветовой слепотой. Таким образом, это явное различие в группировке должно непосредственно вызываться заданными различиями в сенсорном содержании.

Группы, состоящие из отдельных элементов, представляют особый интерес для теории в виду того, что они подтверждают важный факт: данная “единица” может быть выделена и, тем не менее, оставаться частью большей “единицы”. В нашем последнем примере одна точка

представляет собой непрерывную обособленную данность. И все-таки она является элементом более крупного целого – числа, обособленно представленного в более широкой области. В такой подчиненности единиц нет ничего особенного. В физике, молекула представляет собой более крупное функциональное целое, которое содержит несколько атомов в качестве подчиненных целых. Функционально атомы принадлежат молекуле-единице; но в составе этой единицы они не полностью утрачивают свою индивидуальность.

После бессистемных наблюдений других, Вертгеймер был первым, кто осознал принципиальное значение спонтанной группировки в сенсорных полях. Он также показал на многих примерах, каким принципам следует такая группировка. Большинство его иллюстраций относится к группировке отдельных точек и линий, потому что, когда вместо континуальных объектов используются такие паттерны, эти демонстрации менее открыты для возражений с точки зрения предшествующих знаний. Но он также подчеркивал, что те же принципы сохраняют силу и для образования других сенсорных целостностей. Я не знаю лучшего введения в эту тему, чем то, которое было дано в статье Вертгеймера.¹⁶ Некоторые из его принципов не представляют труда для понимания. Тот принцип, согласно которому одинаковые и похожие элементы имеют тенденцию образовывать “единицы” и обособляться от менее похожих элементов, уже был нами рассмотрен. Там, где этот принцип не применим, решающее значение часто имеет относительная (пространственная) близость. В одном из наших примеров (с. 73) были образованы две группы по три элемента в каждой, потому что между шестью лоскутками некоторые расстояния были меньше по сравнению с другими. Лоскутки, отделенные друг от друга относительно малыми расстояниями, образовали группы-единицы. Иногда представляется более естественным определять принцип группировки не на основе заданных условий, а исходя из направления, которое стремится принять образующаяся группировка. Как привык говорить физик, поверхностное натяжение имеет тенденцию сокращать площадь жидких поверхностей, так и мы говорим, что в сенсорном поле группировка стремится создавать “единицы” определенного вида. Простые и регулярные целые, равно как и замкнутые области, образуются значительно легче и чаще, чем нерегулярные и незамкнутые целые. Упорядочение сенсорных полей, в этом смысле, показывает сильную предрасположенность к определенным видам организации, так же как образование молекул и натяжение поверхностных сил в физике действуют в определенных направлениях.¹⁷

Природа группировки как элементарного сенсорного факта была убедительнее всего продемонстрирована в экспериментах, которые Матильда Герц (Hertz) проводила с сойками

¹⁶ *Psychol. Forsch.*, 4, 1923.

¹⁷ В одной разновидности эмпиристского объяснения говорится, что мы научились рассматривать как целые образования всё, что всегда движется вместе. Вертгеймер показал, что если некоторые части поля приходят в движение одновременно и перемещаются единообразно, они сразу становятся движущейся “единицей”. Другими словами, если “общая судьба” фактически определяет сенсорное группирование, она делает это как фактор первичной сенсорной организации, а не *через* процессы научения.

(*Garrulus glandarius*).¹⁸ Несколько маленьких цветочных горшков ставили на землю вверх дном. Прирученная птица, сидевшая на ветке дерева, имела возможность видеть, как экспериментатор клал корм под один из горшков. Вскоре после этого птица спускалась на землю, сдвигала горшок и брала корм. Конечно, это простая форма “отсроченной реакции”, которую Хантер (Hunter) исследовал много лет тому назад. В настоящих экспериментах, однако, главный вопрос заключался не столько в отсрочке реакции, сколько в ее зависимости от конкретных паттернов поля. Когда был только один горшок, птица не испытывала никаких затруднений. Но когда их было несколько, все зависело от того, являлся ли “правильный” горшок выделяющимся и специально помеченным элементом всей совокупности. Если искомый горшок помещали на прямой линии с другими так, что, для человеческого зрения, он становился поглощенным как недифференцированный элемент целого ряда, то птица опрокидывала один горшок за другим, действуя наугад. Это происходило даже тогда, когда

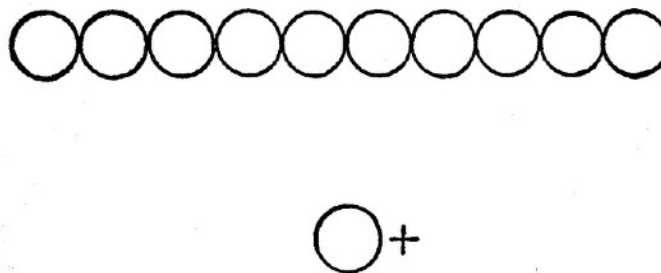


Рис. 2

расстояние между горшками доходило до 25 см. Однако, как только в человеческом зрении “правильный” горшок становился заметно обособленным от остальных, птица сразу же выбирала нужный объект. Так происходило, например, в случае, показанном на рис. 2, когда “правильный” горшок был отодвинут на 10 см от прямой линии, образованной другими горшками. По-видимому, и в зрении птицы эта линия тоже была компактным целым, от которого “правильный” горшок можно было легко отличить как самостоятельную вещь. Даже в ситуации на рис. 3, где искомый объект отстоял на 6 см от следующего, а он – на 2 см от последнего, группировка была достаточно ясной, чтобы сделать возможной правильную реакцию. Однако в ситуации, показанной на рис. 4, где искомый объект отстоял всего на 3 см от следующего, а он – на 2 см от последнего, реакции стали делом случая. В большинстве



¹⁸ *Zeitschr. f. Vergl. Physiol.*, 7, 1928.

Рис. 3

попыток птица не могла выделить “правильный” горшок, если только достаточно специфическая группировка не помогала ей сделать это. С другой стороны, если группировка была совершенно ясной в человеческом зрении, птица реагировала быстро и правильно, даже когда искомый объект находился в непосредственном контакте с его ближайшим соседом. В ситуации, показанной на рис. 5, например, 12 горшков были расположены в виде эллипса, а “правильный” горшок был поставлен близко к одному из этих двенадцати. В зрительном поле экспериментатора эта ситуация выглядела как одна компактная группа, к которой снаружи был добавлен один объект. В такой ситуации птица сразу же выбирала нужный объект. Данный пример особенно поучителен, показывая, что межобъектные расстояния как таковые не являются решающими факторами. Именно та группировка, которая дает в результате паттерн как единое целое, и определяет реакцию птицы. Как Герц сумела продемонстрировать аналогичные эффекты путем применения других принципов, таких как различия в размере или цвете, можно увидеть в ее статье.

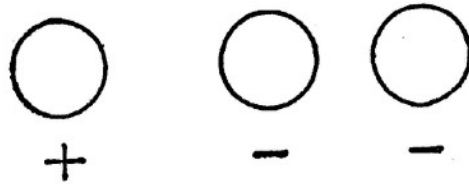


Рис. 4

Если я не ошибаюсь, эти эксперименты открывают совершенно новую область исследований в психологии животных. В дальнейших экспериментах, думаю, будет можно установить, в какой степени птицы и другие животные видят *континуальные* данности, когда такие конкретные вещи появляются в зрительном поле человека. В экспериментах Герц было бы, конечно, трудно понять поведение птицы, если бы в ее поле зрения горшки как таковые не были обособленными единицами.

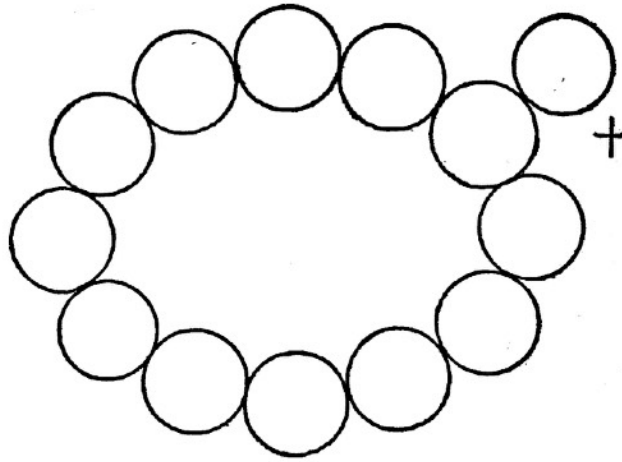


Рис. 5

Элементарный характер континуальных (непрерывных) целых подтверждается наблюдениями за первыми реакциями слепых от рождения взрослых, которые начинают видеть после операции. Проблемы, которые в этих случаях больше всего интересуют офтальмолога, – это проблемы воспринимаемой зрением глубины и первоначального сходства между формами в зрении и формами в осязании. Результаты рассматривались несколькими способами, но одному аспекту наблюдаемых фактов не было уделено достаточного внимания. Когда во время первого послеоперационного обследования пациенту показывают предмет, который он знает на ощупь из предшествующей жизни, он редко способен дать удовлетворительный ответ. За редким исключением он не распознаёт такие формы, когда их теперь предъявляют ему только зрительно. Тем не менее, есть один очень важный момент в его реакциях: когда его спрашивают о “той вещи”, которая находится перед ним, он понимает вопрос. Очевидно, что он имеет перед собой конкретную данность, к которой он относит вопрос и которую пытается назвать. Таким образом, если объект имеет простую и компактную форму, такому пациенту нет надобности учиться тому, какую “совокупность ощущений” он должен рассматривать как одну вещь. Элементарная визуальная организация, по-видимому, дается ему сразу же.

В статье Вертгеймера о сенсорной группировке проблема группировки также рассматривается в отношении разного рода целостностей. Переживаемое *время*, как и переживаемое пространство, обладает определенными характеристиками, одной из которых является пространственное измерение, обозначаемое словами “впереди” (“перед”) и “позади” (“после”).

Слова, которые указывают на отношения в этом измерении, употребляются повсюду и во всех языках как термины для темпоральных отношений. В английском языке мы можем иметь что-то “до” или “после” нас как в пространственном, так и во временном смысле; мы смотрим “вперед” в пространстве и делаем то же во времени; и смерть приближается во времени так же, как кто-то приближается к нам в пространстве. С точки зрения изоморфизма

можно было бы ожидать, что между физиологическим коррелятом темпорального и физиологическим коррелятом этого специфического пространственного измерения существует конгруэнтное сходство. Во всяком случае, временные “точки” образуют темпоральные группы так же, как одновременно заданные точки имеют тенденцию образовывать группы в пространстве. Это верно для слуха и осязания не меньше, чем для зрения.

Можно легко показать, что факторы, от которых зависит группировка во времени, примерно такие же, как и те, от которых зависит группировка в пространстве. Предположим, что я стучу по своему столу три раза с короткими интервалами и что, подождав секунду, я повторяю это действие, и т. д. Люди, слышащие эту последовательность звуков, переживают темпоральные группы звуков. С физической точки зрения все эти звуки являются, конечно, независимыми событиями. Они практически так же не связаны друг с другом, как и звезды Кассиопеи. Иначе говоря, в их физической последовательности нет никакой группировки. Кроме того, с чисто логической точки зрения, другие группировки звуков столь же возможны, как и их фактически слышимая группировка. Но эти другие группировки не появляются в опыте наблюдателя, который слушает производимые мной звуки с пассивной установкой. Следовательно, фактически слышимые звуковые группы являют собой случаи психологической и, согласно тезису изоморфизма, также физиологической организации. В данном примере принцип действия – это принцип близости во времени, который, конечно же, совершенно аналогичен принципу близости в пространственной группировке. Если интервалы между звуками сделать равными, группы снова будут образовываться, как только в последовательность звуков будут введены различия в их интенсивности или качестве, особенно если они появляются при регулярном повторении. Таким образом, одинаковость играет ту же роль в организации темпоральных серий, какая отведена ему в стационарном зрительном поле.

В наиболее общем случае сенсорной организации и пространство, и время включаются в данную в опыте группировку. Вот простой пример: в темной комнате мы перемещаем крошечную лампу, которая выглядит как яркая точка на окружающем ее черном фоне. Предположим, что точка движется с постоянной скоростью так, как показано на рис. 6. В этих условиях неподвижный наблюдатель будет описывать то, что он видит как три похожие фигуры или три движения (I, II, III). Возможно, он затем поправит себя и скажет, что было семь движений (1, I, 2, II, 3, III, 4). Но он не скажет, что видел 53, или 16, или 29 движений. Впрочем, если учесть количество стимулов, которые последовательно воздействуют на его сетчатку как независимые события, любое из этих больших чисел будет, по меньшей мере, столь же корректным ответом, как три или семь. Однако в этом зрительном переживании нет последовательности взаимно независимых фактов. То, что наблюдатель на самом деле видит, характеризуется небольшими числами наподобие трех или семи; другими словами, это движение предстает перед нами организованным определенным образом. То же самое справедливо в отношении таких зрительных переживаний как “он дважды кивнул” или

“он несколько раз встряхнул головой”. Помимо того, что эти движения передают определенные смыслы, как зрительные феномены они включают в себя организацию, к которой относятся слова “дважды” и “несколько раз”.

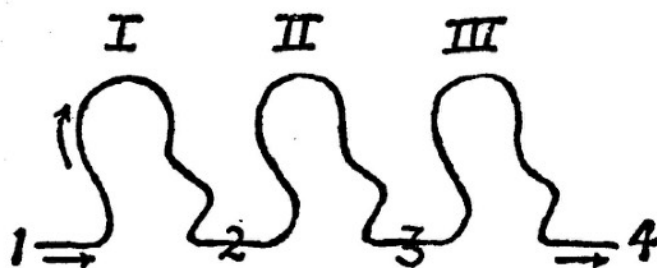


Рис. 6

Это, по-видимому, подходящее место для упоминания об еще одном косвенном объяснении организации, которое предлагают некоторые психологи. Похоже, они считают, что явные, физические движения, которые мы совершаем в ответ на стимулы, ответственны за обсуждаемые здесь факты. Другие бы сказали, что это скорее определенный вид чувственного опыта – мышечно-суставное чувство (кинестезия), появляющееся во время таких движений, – создает у нас впечатление определенной организации. С учетом некоторых очевидных возражений иногда добавляется, что может быть достаточно просто стремлений совершить движение; или, во втором объяснении, то, что простое вспоминание прошлых кинестетических переживаний способно придать полю его организованный вид.

В любом случае, независимо от того, считаются ли решающими движения как таковые или их кинестетические переживания, очевидно, важно рассмотреть, как эти факторы, предположительно, создают организацию в зрительном поле. Насколько я могу судить, в первом случае пришлось бы предположить, что наши движения организованы таким же образом, каким, вероятно, организовано зрительное поле; а во втором случае, что то же самое верно в отношении наших кинестетических переживаний. Каким бы ни был процесс, посредством которого организация предположительно вводится в зрительное поле, она не может быть внесена без существования заранее в той области, в которой она, как утверждается, получает свое происхождение. Если только мы рассматриваем движения серий кинестетических переживаний как последовательность независимых преходящих событий, которые просто следуют одно за другим, их наличие никогда не поможет объяснить выделение зрительных единиц и групп. Возьмем в качестве примера яркую точку, которая движется в темном пространстве. Если говорят, что в этом случае наблюдатель сообщает о трех или семи движениях, потому что он совершает или переживает в форме мышечного чувства три или семь движений глаза, то молчаливо принимают за аксиому, что движения глаза, или переживания таких движений, организованы так, как выглядит для нас организованное зрительное поле. В противном случае, почему такие движения должны

навязывать зрительному полю три или семь, а не 53 или 29 единиц? Если бы не организация, последние числа не были бы более произвольными, чем первые.

Мне говорили, что наблюдения гештальтпсихологии совсем не новы, и что они уже давно объяснены кинестетическими переживаниями, которые мы получаем во время движений глаз. Это звучит так, как будто простой намек на кинестетические переживания, сопровождающие зрение, можно было бы принять за объяснение зрительной организации. На самом деле, вместо решения проблемы, ссылка на движения глаз просто перемещает проблему из одного места в другое. Теперь проблема объединения и выделения должна решаться в области кинестетического опыта.

Я отнюдь не отрицаю, что проблема организации возникает в области движений и кинестетических переживаний так же, как и в зрении. Напротив, я убежден в том, что факты в этих областях будут оставаться совершенно непонятными, если не взглянуть на них с современной точки зрения. Но почему движения и кинестезия должны быть единственными материалами, которые допускают организацию и которые должны поэтому рассматриваться и интерпретироваться с позиций гештальтпсихологии? Если организация возможна в одном поле, то почему она невозможна в других полях? В следующей главе эти вопросы снова будут занимать нас.

После этого обсуждения читатель не удивится, узнав, что серьезные повреждения зрительного центра головного мозга приводят к своеобразной “слепоте” у лиц, которые при этом отнюдь не лишены зрения. Тщательное изучение такого больного Гельбом (Gelb) и Гольдштейном (Goldstein) показало, что его поле зрения претерпело радикальное изменение в том смысле, что организация исчезла почти полностью.¹⁹ Там, где он сосредоточивал свое внимание, больной был способен, например, охватить взглядом небольшой фрагмент линии, но он больше не мог видеть продолженные целые изображения с четкими формами. Особенно интересное наблюдение состоит в том, что он спонтанно начал больше полагаться на моторный опыт, чем на зрение. Следуя фрагментам контуров, которые стали ему известны благодаря движениям головы, он был в состоянии составлять моторные целостности и распознавать их. Если его имя было написано на доске, он мог таким способом проследить первые буквы и вскоре угадывал остальные. Однако была возможность исключить эту процедуру с помощью простого трюка. Стоило перечеркнуть его имя несколькими линиями того же цвета, что и буквы, из которых оно было составлено. Поскольку больной никогда не видел своего написанного имени как симультанно данного объекта, он также не мог видеть его как одну вещь, а пересекающие его линии как другой рисунок. В результате он прослеживал части буквы, а затем части пересекающей ее линии, не различая двух отдельных данностей. Эффект заключался в том, что при этих условиях он не мог прочитать свое имя. Кстати, данный пример показывает, в какой степени моторная функция, сопровождающая зрение, зависит от визуальной организации. Вообще говоря, организация – это вопрос

¹⁹ *Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie*, 41, 1918.

расширенных, протяженных зон в поле. Когда в какой-то степени организованы только локальные фрагменты, контроль, который организация в более широкой области осуществляет в норме над движениями глаз, становится невозможным.

Но почему данности, или объекты, образованные в визуальной организации, обычно соответствуют объектам в практическом значении этого слова? Существует ли таинственная гармония между законами сенсорной динамики и тем, как физические объекты образуются в природе? Такое предположение не стоит делать, поскольку существует огромное множество исключений из соответствия сенсорной организации и физических фактов. Возьмите все группы отдельных элементов, такие как созвездия в ночном небе или группы-единицы, образованные из точек и лоскутков (рис. 1). Или возьмите группировку в орнаментах, составные части которых, конечно, почти всегда физически независимы друг от друга. В бесчисленных случаях организация является сенсорным фактом, когда нет соответствующей физической единицы. Не только группы, но и континуальные сенсорные целостности могут появляться в отсутствие соответствующих физических единиц. Повторяю, иногда мы видим издали неизвестный объект, который позже, когда мы приближаемся к нему, разделяется на известную нам вещь и части других объектов. Сначала эта вещь и части ее окружения были объединены и выделены как неизвестная данность. Этот пример также показывает, что иногда фактически существующий физический объект не имеет своей пары в зрительном поле, потому что части его поверхности соединились с окружающими областями, которые оказались случайно наделены подходящими для слияния характеристиками. Примерами такого рода вещей служат загадочные картинки, которые на протяжении многих лет забавляют читателей журналов. В современных войнах стало настоящим искусством делать такие объекты как пушки, автомобили, лодки и т. д. невидимыми, покрывая эти вещи нерегулярными узорами, части которых образуют часто “единицы” с частями окружающей их среды. В таких случаях сами объекты больше не существуют как визуальные данности, а на их месте появляются бессмысленные пятна, не вызывающие у противника подозрений; из подобных пятен постоянно создаются случайные комбинации частей, которые сливаются, например, из-за их сходства.

С другой стороны, нетрудно объяснить, почему воспринимаемые зрением “единицы”, по крайней мере, *имеют тенденцию* соответствовать физическим объектам. Окружающие нас вещи либо сделаны человеком, либо являются продуктами природы. Объекты первого класса изготавливаются для наших практических целей. Естественно, мы придаем им формы и создаем поверхности, способствующие тому, чтобы они воспринимались и распознавались как “единицы”. Чтобы это происходило, производителям совсем не обязательно детально знать принципы сенсорной организации. И без такого знания они будут следовать в своей работе этим принципам. Как следствие, изготавливаемые ими объекты обычно выглядят как отдельные зрительные “единицы”. К тому же, совсем не легко произвести какой-то компактный объект, который в простом окружении не отвечал бы общим условиям выделения из фона. Камуфляж – это тяжелое ремесло.

Что касается объектов, которые произвела природа, ситуация мало чем отличается. Условие, которое выполняется многими объектами природного происхождения, таково: в пределах области, занимаемой таким объектом, свойства его поверхности, как правило, более или менее однородны, тогда как поверхности соседних областей почти всегда имеют свойства другого рода. Это различие обусловлено тем, что общее происхождение частей одного объекта, вероятно, наделяет их общими характеристиками поверхности. Как правило, они не повторяются полностью на соседних поверхностях, которые имеют иное происхождение. Таким путем задается одинаковое условие визуального выделения в случае большинства объектов. Даже если камень лежит наполовину в песке, который состоит из крошечных частиц камня того же вида, разница в связности, а значит и в воспринимаемых зрением деталях, между элементами поверхности камня и элементами поверхности песка в большинстве случаев будет достаточной, чтобы сделать камень отдельной визуальной «единицей». Вдоль границы между природным объектом и его окружающей средой обычно будет существовать некоторая неоднородность свойств. Эта неоднородность отделяет окружающую среду от внешней области объекта замкнутым контуром. Поскольку такой неоднородности достаточно для того, чтобы сделать любую область выглядящей как обособленная данность, она (неоднородность) также должна производить этот эффект, когда граница является границей физического объекта. Без такой неоднородности, конечно, нет никаких причин для того, чтобы произошло выделение и обособление объекта. Но это не является основанием для несогласия с нашими рассуждениями. Практически невозможно найти объекты, которые не выполняют любое из условий сенсорной сегрегации и, тем не менее, воспринимаются зрением как отдельные данности. Опыт показывает, что всякий раз, когда условия организации действуют прямо против образования определенной визуальной единицы, эта единица не будет спонтанно восприниматься зрением, даже если она хорошо известна как таковая, и замаскирована только особыми обстоятельствами момента. При более подробном рассмотрении этой проблемы важную роль следовало бы отвести воспринимаемой зрением глубине и выделению вещей в трех измерениях. Однако пока эту тему мы можем только упомянуть, потому что в области восприятия глубины эксперимент и теория все еще находятся в сравнительно примитивном состоянии.

В предыдущих разделах я сделал некоторый акцент на том, что сенсорная организация являет собой характерное достижение нервной системы. Этот акцент стал необходим потому, что некоторые авторы, видимо, думают, что, согласно гештальтпсихологии, *“Gestalten”*, т. е. выделенные, обособленные данности, существуют вне организма и просто распространяются

или переносятся в нервную систему. Такое представление, и к настоящему моменту это должно быть понятным, в корне неверно.²⁰

Однако как только это стало достаточно ясным, мы можем, конечно, спросить себя, обладает ли сенсорная организация какой-то объективной ценностью, даже если она является достижением нервной системы. Между окружающими нас физическими объектами и нашими глазами единственным средством сообщения служат световые волны. Среди этих стимулов нет организации; образование специфических “единиц” происходит в нейронной функции. Тем не менее, в некоторых отношениях результаты организации могут рассказать нам об окружающем мире больше, чем световые волны. Мы не всегда узнаем больше об объекте, приближаясь к нему все ближе и ближе. Например, когда линза помещается между ярким объектом и экраном, изображение объекта на экране не становится оптимально четким, когда экран помещается как можно ближе к линзе (и тем самым к объекту). На определенном расстоянии проекция сообщает нам об объекте больше, чем с более близкого расстояния. Аналогичным образом, сенсорная организация может дать нам более адекватную картину мира, чем световые волны, хотя эти волны являются единственными сообщениями, которые приходят к нам от объектов, и хотя сенсорная организация происходит только после прихода этих волн.

Я повторяю, что световые волны как таковые не содержат ни малейшего указания на то обстоятельство, что некоторые из них отражаются частями одного физического объекта, а другие – объектами в его окружении. Каждый элемент физической поверхности отражает свет независимо; и в этом отношении два элемента поверхности объекта, такого как, например, овца, не более связаны друг с другом, чем один из них с элементом поверхности окружения животного. Таким образом, в отраженном свете не остается ни малейшего следа “единиц”, которые фактически существуют в физическом мире. Конечно же, рефракторные свойства нашего глаза заставляют волны, приходящие из одной точки внешнего мира, сходятся в одной точке сетчатки. К тому же, геометрические отношения между различными точками на поверхности объекта в значительной степени воспроизводятся в ретинальной проекции. Но в то же время каждый локальный стимул действует независимо. Следовательно, когда речь идет о стимуляции сетчатки, нет никаких оснований говорить ни об организации, ни о выделении и обособлении конкретных “единиц” или групп. Это именно так, несмотря на тот факт, что на сетчатке глаза континуальный объект, такой как овца, представлен равно континуальной областью, изображением данной овцы; ибо в плане стимуляции элементы этой области функционально настолько же независимы друг от друга, насколько любой из них представляет элемент вне изображения. В психологии нас часто предостерегали от *ошибки*

²⁰ Одна глава в *Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand* называется “Denn was innen, das ist aussen” (“Что внутри то и снаружи”). Возможно, эти слова Гёте породили отмеченное выше заблуждение. Название относится к тезису о психофизическом изоморфизме, т. е. к сходству между сенсорным опытом и сопутствующими физиологическими процессами. Его нельзя просто применить к отношению между такими процессами и физической средой.

стимула, т. е. от опасности смешивания наших знаний о физических условиях сенсорного опыта с этим опытом как таковым. На мой взгляд, другая ошибка, которую я предлагаю называть *ошибкой опыта*, является столь же неприятной. Эта ошибка возникает, когда некоторые характеристики сенсорного опыта непреднамеренно приписываются мозаике раздражителей. Естественно, эта ошибка чаще всего допускается в случае очень распространенных сенсорных фактов, в свете которых мы склонны составлять мнение почти обо всем. И ее почти невозможно искоренить до тех пор, пока любые проблемы, связанные с этими фактами, остаются не полностью осознанными. Физиологи и психологи склонны говорить о ретинальном процессе, который соответствует объекту, как если бы стимуляция в границах области ретинального объекта составляла выделенную “единицу”. И все же эти ученые не могут не отдавать себе отчета в том, что стимулы образуют мозаику полностью независимых локальных событий.

Только когда это полностью осознано, становится очевидной огромная биологическая ценность сенсорной организации. Мы видели, что эта организация имеет тенденцию давать результаты, согласующиеся с данностями физического мира, которые присутствуют в данный момент; другими словами, что “принадлежащее друг другу” (“belonging together”) в сенсорном опыте имеет тенденцию соответствовать “являющемуся единицей” в физическом смысле, а выделение и обособление в сенсорном поле – разделению с точки зрения физики. Таким образом, в бесчисленных случаях сенсорная организация означает реконструкцию таких аспектов физических ситуаций, которые теряются в волновых сообщениях, воздействующих на сетчатку. Верно и то, что организация часто образует континуальные целостности и группы независимых элементов в отсутствие соответствующих физических “единиц”. Но в сопоставлении с большим числом случаев, в которых организация дает нам картину объективных фактов, этот недостаток справедливо будет счесть незначительным. Если бы сенсорное поле состояло из взаимно независимых сенсорных гранул, человеку было бы трудно ориентироваться в такой среде. С этой точки зрения, вряд ли будет преувеличением, если мы скажем, что сенсорная организация биологически гораздо важнее, чем специфические сенсорные качества, которые возникают в зрительном поле. В целом, страдающие цветовой слепотой люди вполне способны успешно справляться с требованиями своей среды, хотя их зрительный опыт дает меньше оттенков цвета, чем такой опыт других людей. В отношении практически важных сходств и различий между стимулами их дефект не является таким уж серьезным препятствием. Различия оттенков обычно сопровождаются различиями яркости; как правило, последних достаточно для установления организации поля, от которой и зависит в основном наше поведение.

Организация не менее важна в научном наблюдении, чем в практической жизни. В главе I было показано, что чувственный опыт физика является его единственным первичным материалом. Теперь мы можем добавить, что этот опыт настолько важен для него, насколько он организуется. Система, которую он исследует, его прибор, шкала и стрелка прибора и т. д. – все это выделенные, обособленные данности в его зрительном поле. Если бы они не были

даны ему как такие конкретные вещи, исследования в физике были бы практически невозможны. Когда бихевиористы рекомендуют нам процедуру естественных наук, они всегда забывают упомянуть об этой фазе “объективного метода”. Однако им не следует так поступать. Даже если мы проигнорируем зрительный опыт и будем рассматривать физическое наблюдение как серию чисто физиологических событий в организме физика, нам все равно придется признать, что эти события организованы и что исследование возможно только вследствие их организации.

Теперь будет не трудно понять, почему формула “стимул–реакция”, которая поначалу звучит так привлекательно, в действительности вводит в заблуждение. На самом деле, она до сих пор выглядела приемлемой только потому, что бихевиористы употребляют термин “стимул” нестрогим образом. В главах III и IV мы показали, что когда этот термин употребляется в строгом смысле, то это обычно не тот “стимул”, который вызывает реакцию. В случае зрения, например, организм имеет тенденцию реагировать на миллионы стимулов одновременно; и первая стадия этой реакции – организация в пределах соответственно большого поля. Во многих случаях реакции исполнительных органов (эффекторов) начинаются очень рано, но часто даже первая из этих реакций зависит от организации поля, которая фактически развертывается в это время. Возьмем в качестве примера движения глаз. Законы визуально детерминированных движений глаз имеют отношение к границам обособленных сенсорных данностей, к расположению этих данностей в поле и т. д. Помимо движений глаз, действия человека обычно связаны с хорошо структурированным полем, чаще всего – с определенными вещами-единицами. Поэтому правильная психологическая формула такова: *паттерн стимуляции – организация – реакция на продукты организации*. Операции нервной системы никоим образом не ограничиваются примитивными локальными процессами; нервная система – это не коробка, в которой каким-либо образом соединяются проводники с отдельными функциями. Она реагирует на ситуацию, во-первых, посредством динамических сенсорных событий, которые свойственны ей как системе, т. е. организацией, а затем поведением, которое зависит от результатов этой организации. Предположим, что где-то на заводе производилась из составляющих ее элементов азотная кислота (HNO_3) и что в другом цехе завода эта кислота использовались для растворения серебра, – правильно ли говорить, что серебро реагирует на азот, водород и кислород? Разумеется, такое утверждение было бы совершенно неправильным, потому что то, что происходит с серебром, зависит от химической организации кислоты и не может быть понято как реакция на эти элементы или их сумму. Аналогичным образом нам не следует говорить о поведении, как если бы оно было реакцией на “стимул” или на “некоторые стимулы”. Последнее выражение также, по меньшей мере, неоднозначно, ибо может означать, что поведение, о котором идет речь, является результатом нескольких стимулов, которые в одно и то же время действуют независимо друг от друга.

Однажды я пытался убедить бихевиориста в том, что когда, говоря о птице-самце, он называл самку “стимулом”, он игнорировал проблемы и факты организации. Все мои усилия

оказались бесполезными. Несмотря на то, что (или потому что) он рассматривал сенсорный опыт как что-то не представляющее никакого интереса для психологии, он перманентно допускал ошибку опыта, так как просто не мог понять, почему самку *не* следует называть “стимулом”. Как часто “мышь”, “дверь”, “экспериментатор” и т. д. называли “стимулами”. Этот оборот речи может быть безвредным, когда те, кто полностью осознает проблему организации, используют его как сокращенное наименование. Но когда авторы, которые еще не научились избегать ошибки опыта, используют тот же термин, последствия будут самыми неблагоприятными. Такие люди могут так и не понять, что мы подразумеваем под организацией.

Чуть раньше я отметил, что устанавливая свои конкретные данности с их границами, сенсорная организация имеет тенденцию производить результаты, которые согласуются с фактическим составом данной физической ситуации. Как это может произойти, если световые волны, посредничающие между физическими объектами и глазом, являются взаимно независимыми событиями? Очевидно, при передаче света должно сохраняться что-то, что способствует, в общем и целом, правильной организации. В действительности, мы уже точно знаем, что при этом сохраняется. Хотя локальные стимулы взаимно независимы, они показывают формальные отношения, такие как (пространственная) близость и сходство. В этом смысле такие стимулы копируют соответствующие формальные отношения между элементами поверхностей физических объектов. Эти формальные отношения в физических объектах сохраняются как соответствующие отношения между стимулами, и поскольку организация зависит от последних, она также должна зависеть и от первых.

Из того факта, что организация зависит от отношений между локальными стимулами, становится совершенно ясно, что сенсорная организация не может быть понята на основе локальных процессов как таковых. Независимые локальные события совершенно безразличны к любым формальным отношениям, которые могут возникать между ними. С другой стороны, мы не испытываем затруднений в понимании той роли, которую такие отношения играют в организации, если допускаем, что организация сенсорных полей имеет сходство с самораспределением процессов в соответствующих областях мозга. Динамические самораспределения поддерживаются за счет взаимодействия между локальными событиями. Но мы убедились, что во всех областях физики взаимодействие зависит от “условий-во-взаимосвязи” (conditions-in-relation) как они заданы в различных частях системы (см. с. 60 и далее.). Поскольку то же самое справедливо и для зрительной организации, у нас есть все основания полагать, что эта организация возникает вследствие самораспределения определенных процессов в зрительном участке коры головного мозга. Собственно говоря, тщательное изучение зрительной организации может рано или поздно дать нам совершенно определенный ответ на вопрос, какого рода физические процессы распределяются в зрительной коре.

Некоторые критики утверждают, что гештальтпсихологи постоянно повторяют слово “целое”, что они пренебрегают существованием частей целого и не проявляют никакого

уважения к самому полезному инструменту научного метода, которым является *анализ*. Никакое другое утверждение не могло бы быть более ошибочным. На всем протяжении нашего обсуждения организации мы считали необходимым указывать как на разделение, так и на объединение. В физике также функциональная взаимосвязь внутри поля полностью совместима с относительной изоляцией. Мы помним, как масло в другой жидкости сохраняет свое существование в качестве “единицы” несмотря на сильные динамические взаимодействия на общей поверхности. В психологии мы можем пойти еще дальше и сказать, что одна из главных задач гештальтпсихологии заключается в том, чтобы показать подлинные, а не какие-либо фиктивные части целых. Все воспринимаемые зрением вещи являются такими подлинными частями полей, в которых они попадают на глаза, а большинство вещей опять-таки имеют в своем составе подчиненные части. Сами принципы организации указывают как на выделение и обособление таких частей, так и на их унитарный характер. Анализ в единицах подлинных частей является совершенно оправданной и необходимой процедурой в гештальтпсихологии. И конечно, в этом виде, он более продуктивен, чем любой анализ в единицах локальных ощущений, которые как таковые, безусловно, не являются подлинными частями визуальных ситуаций.

В этом месте, пожалуй, стоит дать пояснение по поводу упоминавшегося выше анализа другого рода. Я могу принять и описать сенсорное поле точно в том виде, каким оно предстает передо мной. Такое описание предполагает анализ в том значении, которое только что было определено. Я могу, однако, принять особую установку относительно этого поля, с тем результатом, что одни его содержания будут подчеркиваться, а другие подавляться в той или иной степени. Иногда такая установка вызывает изменение организации. Согласно гештальтпсихологии, анализ такого рода равнозначен актуальному преобразованию данных сенсорных фактов в другие (см. Глава IV, с. 61). Аналитическая установка – не единственная установка, с помощью которой может быть вызвано изменение организации. В то время как мы подчеркиваем некоторые элементы поля, мы можем намеренно удерживать их вместе и, таким образом, способствовать определенному виду объединения. Любое изменение организации, которое производится таким способом, опять-таки является реальным преобразованием сенсорных фактов.

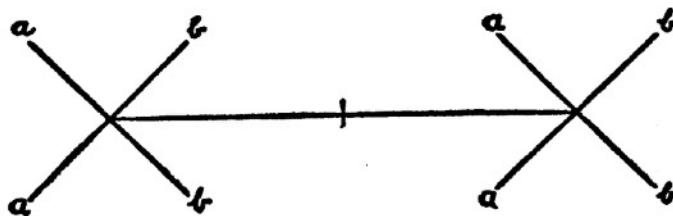


Рис. 7

Согласно гештальтпсихологии, такая установка субъекта сопряжена с давлением, которому подвергаются процессы данного сенсорного поля. В известной степени организация

поля может поддаваться этому давлению. Изображение на рис. 7, например, обычно воспринимается как симметричная форма. Однако, акцентируя внимание на линиях, помеченных буквой “а”, и удерживая их вместе, можно на мгновение увидеть фигуру, показанную на рис. 7а, игнорируя, более или менее, линии, помеченные буквой “b”. Точно так же можно отдать предпочтение линиям, помеченным буквой “b”, и выделить фигуру, показанную на рис. 7б. То, что такие изменения действительно влияют на сенсорную ситуацию, становится особенно заметным, если принять во внимание точку, являющуюся объективным центром фигуры на рис. 7. Когда предпочитают линии с пометкой “а”, что приводит к выделению фигуры, показанной на рис. 7а, эта точка смещается вправо, как это, конечно, происходит и в том случае, когда линии, помеченные буквой “b”, не рисуются вообще. Когда же мы выделяем фигуру, показанную на рис. 7б, эта точка смещается влево.

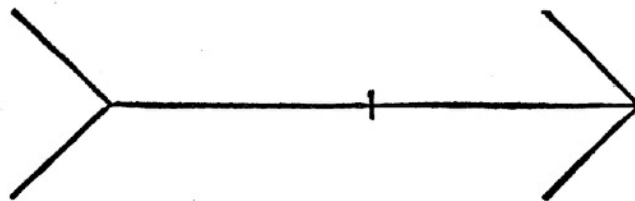


Рис. 7а

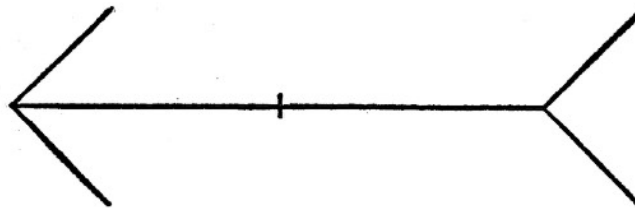


Рис. 7б

В некоторых случаях сенсорная организация, по-видимому, меняется спонтанно, т. е. при отсутствии какого-либо внешнего влияния, просто потому, что процессы, которые распространяются в определенных частях нервной системы в течение некоторого времени, имеют тенденцию изменять состояние соответствующей нервной ткани. Мы знаем, что то же самое происходит в электролитических ячейках, в которых ток поляризует электроды, и тем самым устанавливает силы, противодействующие его собственному продолжению. На рис. 8

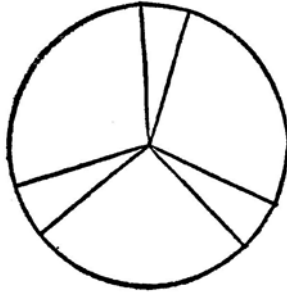


Рис. 8

показан объект, образованный тремя узкими секторами. Но после сравнительно недолгой фиксации внимания на центре этого рисунка большинство людей вдруг начинают видеть другую картину. Теперь линии, которые в первом объекте принадлежали одному целому как границы узкого сектора, оказываются разделенными; они стали границами широких секторов. Очевидно, что организация данного паттерна изменилась; и она будет стремиться к изменению вновь и вновь, когда субъект по очереди рассматривает сначала узкие, затем широкие сектора. Если субъект надолго сосредоточит внимание на центре фигуры, темп изменений постепенно увеличится. Однако если теперь этот паттерн повернуть в пространстве, с тем чтобы сектора заняли новые позиции, организация становится почти такой же устойчивой, какой она была вначале. Этот факт можно принять как доказательство предположения о том, что организованные процессы действительно изменяют состояния поддерживающей их среды, и что этот факт отвечает за реверсивные изменения.²¹

²¹ После того, как это было написано, было показано, что обсуждаемые здесь факты гораздо важнее, чем можно было представить себе в то время. Длительное наблюдение любого конкретного визуального объекта имеет тенденцию изменять его организацию. Более того, другие объекты, которые позже появляются в той же области поля, также затрагиваются этим изменением, а именно, смещаются или искажаются. Cf. J. J. Gibson, *J. of Exper. Psychol.*, 16, 1933; W. Köhler, *Dynamics in Psychology*, 1940; а также W. Köhler and H. Wallach, "Figural After-Effects. An Investigation of Visual Processes". *Proc. Amer. Philos. Soc.*, 88, 1944.

VI

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ДАННОСТЕЙ

Когда впервые возникла проблема гештальта, никто не мог предвидеть, что впоследствии она окажется тесно связанной с понятием динамического самораспределения; как и никто не мог предположить, что факты сенсорной организации сразу займут центральное положение, которого они, впрочем, заслуживают. Фактической отправной точкой было наблюдение, что сенсорные поля демонстрируют характеристики, которые, в общем, отличаются от ощущений в том виде, как они описываются в традиционной теории. Христиан фон Эренфельс (Christian von Ehrenfels) был первым, кто, после наблюдения Эрнста Маха (Ernst Mach), обратил внимание психологов на то, что, возможно, наиболее важные качественные характеристики сенсорных полей были полностью упущены в традиционном анализе.

Хотя ощущение предположительно занимает свое место в поле автономно, т. е. определяется только его локальным стимулом, любопытно, что качества, введенные

Эренфельсом в научную психологию, относятся к *совокупностям* стимулов. Ничего подобного этим качествам никогда не вызывается сугубо локальной стимуляцией *per se*; наоборот, “близость” (“togetherness”) ряда отдельных стимулов является условием возникновения этих специфических эффектов в сенсорном поле.

В качестве примера можно взять стакан, наполненный мыльным раствором. Внешний вид такой жидкости в немецком языке описывается словом “*trübe*”, что в английском языке примерно соответствует словам “*dim*” (тусклый) или “*turbid*” (мутный). Однако если мы изолируем небольшой участок этой визуальной ситуации, рассматривая ее через маленькое отверстие в экране, это отверстие будет заполнено каким-то оттенком серого (возможно, с легкой примесью синего или красного цвета); качество “тусклости” или “мутности” исчезло. Эта характеристика наблюдается только как качество более широкой области; она зависит не только от локальной стимуляции. То же самое верно в отношении смутности или размытости, кажущихся качествами вещей, которые мы видим в темном углу. Опять-таки, никакое локальное впечатление, исследуемое отдельно, не обнаруживает и следа размытости, которая появляется как результат рассматривания некоторых более широких областей. “Четкость” и “резкость” как атрибуты поля носят тот же транслокальный характер. Мы можем также упомянуть тактильные характеристики поверхности, которую называют “грубой” (нем. “*rauh*”). В любом чисто локальном опыте прикосновения такого признака как шероховатость просто нет.

Эти особые “качества Эренфельса” наблюдаются как в условиях относительно широкой пространственной протяженности, так и в случае относительно большой временной длительности. Например, немецкое слово “*rauh*” употребляется с той же легкостью для описания некоторых слуховых феноменов, как и для описания “грубых” поверхностей в тактильном поле. При прослушивании довольно быстрых ритмов (ударов), или звука “R” в человеческой речи, мы переживаем эту слуховую характеристику. Естественно, поскольку она зависит от ударов, она должна исчезать (и действительно исчезает), когда стимуляция сокращается по времени ниже определенного предела. Такие слова, как “однородный” и “непрерывный”, конечно, относятся также к атрибутам протяженных областей в пространстве или сравнительно длительных периодов времени.

С функциональной точки зрения эти наблюдения не выглядят такими удивительными, какими они казались во времена открытия Эренфельса. Нам вовсе не нужно принимать в расчет описанные им качества, чтобы уяснить для себя, что анализ в крайней, предельной форме рано или поздно сделает невозможным понимание некоторых фактов: процессы, которые лежат в основе нашего переживания цвета, вероятно, являются химическими реакциями, в которых одни молекулы образуются, а другие разрушаются. Само собой химик способен анализировать такие реакции; но существует естественный предел этой процедуры, потому что требуется охватить как минимум один полный образец каждого атома или молекулы, которые участвуют в данной реакции, а также всё динамическое событие, связанное с их взаимодействием. За этим пределом понятие “данная специфическая реакция”

теряет свой смысл, особенно в психофизической теории, где цвета связываются с реакциями. Поэтому мы вынуждены признать наличие относительно широких динамических реальностей, которые разрушались бы в результате слишком далеко идущего анализа. Если это так в химии, тот же факт не может удивлять нас, когда мы сталкиваемся с ним в сенсорном поле.

“Качества Эренфельса”, которые соответствуют более широким динамическим событиям, чем цвет, возникают вместе с цветом. Мы предполагаем, что эти качества и простые сенсорные свойства являются, физиологически говоря, фазами одного и того же полного процесса-в-распространении (*process-in-distribution*). Для Эренфельса было бы сверхчеловеческим достижением пойти так далеко, чтобы допустить, что его новые характеристики имеют тот же статус, что и простые сенсорные качества. Для него открытые им качества представляли собой переживания, которые добавляются к чистым “ощущениям” после того как эти ощущения были сначала установлены. В школе университета Граца (А. фон Мейнонг, С. Витасек, В. Бенусси) в то время велась большая дискуссия о *fundierte Inhalte* (“основном содержании”) – понятии, которое предполагало не только первенство ощущений по сравнению с “качествами Эренфельса”, но и порождение последних интеллектуальными процессами. Очевидно, даже тем, кто особенно интересовался новой темой, было крайне трудно сразу признать ее радикальные последствия для психологической теории.

По большей части “качества Эренфельса” являются характеристиками обособленных данностей в том смысле, в каком этот термин употреблялся в предыдущей главе. “Простой”, “сложный”, “регулярный”, “гармоничный” – это слова, которые неизменно относятся к продуктам организации. Когда мы называем что-то “симметричным”, это что-то всегда представляет собой обособленный объект. Точно так же “стройный”, “полный”, “угловатый”, “неуклюжий”, “грациозный” являются характерными особенностями вещей или распространенных (в пространстве или во времени) событий. От этих примеров всего один шаг до таких более конкретных качеств формы, которые даны в характерном очертании круга, треугольника, груши, дуба и т. д. Эти качества тоже проявляются только как атрибуты конкретных данностей. В немецком языке слово “*Gestalt*” (гештальт) часто употребляется как синоним слов “форма” или “очертание”. Эренфельс, взяв случай формы как самое важное и очевидное среди открытых им качеств, использовал название “*Gestaltqualitäten*” (“качество формы”, “гештальт-качество”) для всех их. Как следствие, оно охватывает не только характерные формы предметов и фигур, но и такие качества, как “регулярный” (“правильный”). Кроме того, повторяю, есть и временные “качества Эренфельса”. Общее определение этого термина делает его применимым к характерным особенностям мелодии, например, к ее “мажорному” или “минорному” ладу в той же степени, как и к “угловатости” фигуры. Движения как визуальные факты имеют *Gestaltqualitäten*, которые одновременно являются темпоральными и пространственными. Примерами могут служить формы танцевальных движений людей и характерные движения животных, такие как “прыгание” или “ползание”.

В этом месте представляется целесообразным сделать общее замечание о терминологии. Для Эренфельса сами эти новые характеристики были объектами повышенного интереса. Он не сознавал гораздо более общее значение организации, или тот факт, что по большей части именно продукты организации демонстрируют лучшие примеры *Gestaltqualitäten* в качестве своих свойств. Вообще-то в немецком языке – по крайней мере, со времен Гёте – существительное “*Gestalt*” имеет два значения: помимо коннотации очертания или формы как свойства вещей, оно имеет значение конкретной данности *per se*, которая имеет, или может иметь, форму как одну из своих характеристик. Со времени Эренфельса акцент сместился от “качеств Эренфельса” к фактам организации и, таким образом, к проблеме конкретных данностей в сенсорных полях. В результате, именно это значение слова *Gestalt*, в котором слово относится к конкретному объекту и к организации, обычно имеется в виду, когда мы говорим о гештальтпсихологии; и проблема гештальт-качеств стала частной проблемой среди многих, с которыми гештальтпсихологу приходится иметь дело. Гештальтпсихолог надеется, что функциональные понятия, которые он применяет к сенсорной организации, будут также полезны и в теоретической трактовке “качеств Эренфельса”. Поэтому становится очевидным, что введение процесса особого типа теперь является главным принципом гештальтпсихологии. Студенты, которые хотят ознакомиться с этим направлением психологии, должны будут сосредоточиться на более широких событиях, которые распределяются и регулируются как функциональные целые. Здравый смысл подсказывает, что такие процессы будут иметь определенные характеристики, которыми они обладают только как делокализованные состояния, и что то же самое будет выполняться и для их частей. Предполагается, что такие характеристики окажутся физиологическими коррелятами “качеств Эренфельса”.

С этой точки зрения даже выделение и обособление конкретных данностей в сенсорных полях представляется лишь одним, хотя и весьма важным, случаем среди различных вопросов, которые составляют предмет гештальтпсихологии. В сущности, понятие “*Gestalt*” может найти применение далеко за пределами чувственного опыта. В соответствии с наиболее общим функциональным определением этого термина, возможно, потребуется включить в рассмотрение процессы научения, вспоминания, стремления, эмоционального отношения, мышления, действия и т. д. Тогда становится яснее, что “*Gestalt*” в значении формы больше не является центром внимания гештальтпсихолога. Ибо к некоторым из фактов, которые представляют для него интерес, термин “*Gestalt*” в значении формы вообще не применим. Помимо психологии, события, которые происходят в онтогенезе, как и некоторые другие биологические темы, вероятно, придется рассматривать в таком же ключе. Важно понять, что такая широкая перспектива не включает в себе неопределенности. Если уж понятия механистической теории так долго господствовали в умах людей без надлежащего критического рассмотрения, какие возражения можно выдвинуть против рассмотрения принципов динамического распределения и регулирования в целом. Впрочем, никто и не считает, что любая из этих более крупных проблем может быть действительно решена путем

применения лишь общих принципов. Напротив, где бы эти принципы ни казались применимыми, конкретная задача исследования только начинается; потому что мы хотим точно знать, каким образом процессы самораспределяются и саморегулируются во всех конкретных случаях.²²

Если при рассмотрении даже сенсорных полей реальное решение наших проблем остается задачей на будущее, то хотя бы первые шаги можно сделать сразу. Здесь, как и везде, мы должны в первую очередь понять, в чем для нас заключаются существенные вопросы. Сейчас вряд ли кто-то не способен понять, например, что видимая глубина, определяемая состояниями возбуждения на двух сетчатках, представляет для нас крайне интересную проблему. Но увидеть реальную проблему в случае *формы* как характеристики отдельных данностей, кажется, гораздо сложнее. Причина та же, как и в случае самих этих визуальных данностей (ср. сс. 82–83). Повторю: когда мы рассматриваем ретиальную стимуляцию, наше мышление оперирует понятием изображения или образа (*image*), подразумевая, что образ является конкретной единицей, которая имеет форму в том смысле, в каком имеют формы воспринимаемые объекты. Так, многие сказали бы, что форма карандаша или круга проецируется на сетчатку. Безусловно, когда эти слова произносятся не задумываясь, они содержат ошибку опыта. В мозаике всех ретинальных стимулов отдельные области, которые соответствуют карандашу или кругу, никоим образом не выделяются и не объединяются. Следовательно, обсуждаемые формы также функционально не реализуются. Наше мышление может выбирать и объединять любые участки сетчатки по желанию; таким образом, все возможные формы, включая формы карандаша и круга, могут быть в воображении наложены на сетчатку. Но, поскольку дело идет о ретинальной стимуляции, такие процедуры совершенно произвольны. Функционально, формы карандаша и круга даны в ретинальной проекции не больше, чем формы ангелов или сфинксов.

Некоторые примеры помогут прояснить понятие формы как визуального атрибута. Порой нам случается видеть карту, на которой должна быть представлена страна с хорошо известными очертаниями. На других картах мы часто видели форму этой страны. И все же, лежащая сейчас перед нами карта показывает области с совершенно неизвестными формами. Внезапно, однако, в нашем зрительном поле происходит радикальное изменение: исчезают неизвестные формы, и известные очертания интересующей нас страны выступают с абсолютной ясностью. Хорошими экспонатами для этого наблюдения являются некоторые карты капитанов морских судов, на которых море выглядит так, как суша на обычных картах. Итак, контуры земли одинаковы на морской карте и на карте обычного типа, т. е. геометрическая линия, разделяющая сушу и воду, обыкновенно проецируется на сетчатку.²³

²² Köhler, "Gestaltprobleme und Anfänge einer Gestaltheorie". *Jahresber. ü. d. ges. Phys. herausg. von Rona*. 1924.

²³ Строго говоря, это выражение опять-таки содержит ошибку опыта. В мозаике ретинальных раздражителей, конечно, нет никакой линии как специфической, единой и обособленной данности

Тем не менее, глядя на такую карту, скажем, Средиземноморья, мы можем совершенно не увидеть Италию. Вместо этого мы можем увидеть незнакомую фигуру, соответствующую территории Адриатики и т. д., которая является новой для нас, но которой случилось приобрести форму при данных обстоятельствах. Таким образом, “обладание формой” – это особенность, которая отличает некоторые области зрительного поля от других, которые не имеют формы в этом смысле. В нашем примере до тех пор, пока Средиземноморье имеет форму, территория, соответствующая Италии, не имеет формы, и наоборот. Это утверждение покажется менее удивительным, если мы еще раз вспомним, что ретинальные стимулы представляют собой простую мозаику, в которой никакие специфические области функционально не выделяются и не приобретают очертаний. Когда нервная система реагирует на эту мозаику, и когда развивается организация, могут возникать различные ограниченные (в пространстве) данности, и в нашем примере они могут, среди прочего, приобрести форму “Итальянского полуострова” или Средиземноморья. Но пока мы не знаем принципов организации, мы не можем предсказать, какая из возможностей будет реализована на самом деле. Стимулы как таковые ничего нам не сообщают, а неустойчивость организации в данном примере дает ясно понять, что одни только стимулы не могут быть причиной наличия или отсутствия формы у той или иной области.

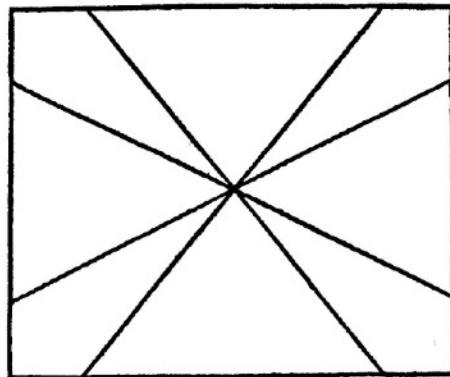


Рис. 9

Рис. 9, являющийся вариантом рис. 8, как и рис. 8, может служить дополнительным примером. При неизменном паттерне стимулов мы можем видеть на рис. 9 две различные формы: либо форму креста, состоящего из четырех узких секторов, либо форму другого креста, состоящего из четырех широких секторов. До тех пор, пока первая форма предстает перед нами, область второй формы поглощается фоном, и ее зримая форма не существует. Когда из фона выступает вторая форма, первая исчезает.²⁴ Следует заметить, что в обоих случаях косые линии являются границами форм, которые воспринимаются в данный момент. Они принадлежат узкому кресту в первом случае и широкому кресту – во втором.

²⁴ При некоторых необычных условиях оба объекта могут быть видны одновременно.

Тщательные наблюдения такого рода впервые провел Эдгар Рубин (Rubin), который проиллюстрировал свою работу большим количеством примеров.²⁵ Тот факт, что в заданный момент времени только особые области поля имеют формы, был доказан окончательно, когда испытуемые, которые видели одну форму в первой презентации такого изображения, не узнавали это изображение, если во второй презентации была видна другая форма. Последняя форма не была визуальным фактом, когда до нее воспринималась первая форма. В результате форма, увиденная во второй презентации, казалась совершенно новой, ранее не виденной. Опять же, когда воспринимается один из двух крестов, представленных на рис. 9, никто в то время не видит других форм, которые, с точки зрения ретиальной стимуляции, могли бы быть точно также восприняты зрением. Например, никто не видит форм, соответствующих фигурам на рис. 9а, 9б или 9с.

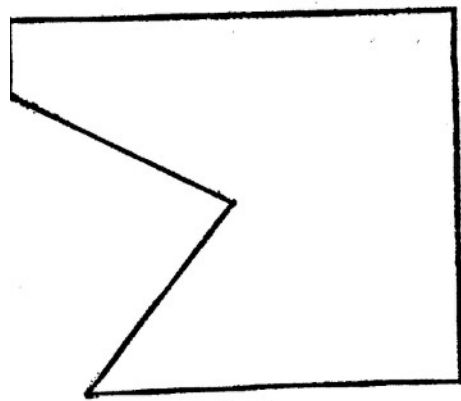


Рис. 9а

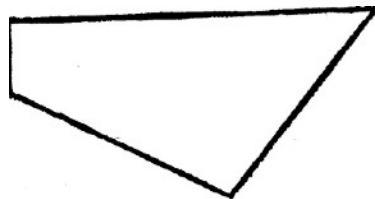


Рис. 9б

²⁵ *Visuell wahrgenommene Figuren*. Kopenhagen, Berlin, London, 1921.

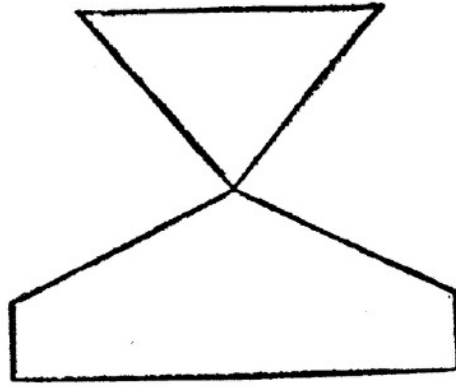


Рис. 9с

На рис. 10 видны два непонятных объекта, через которые прочерчена горизонтальная линия. Когда я теперь скажу читателю, что перед ним цифра 4, он, несомненно, найдет ее. Но если он не находится в плену теоретических предрассудков, то признает, что сначала форма 4 не существовала как визуальный факт и что, когда она позже появилась, это означало трансформацию в его зрительном поле.

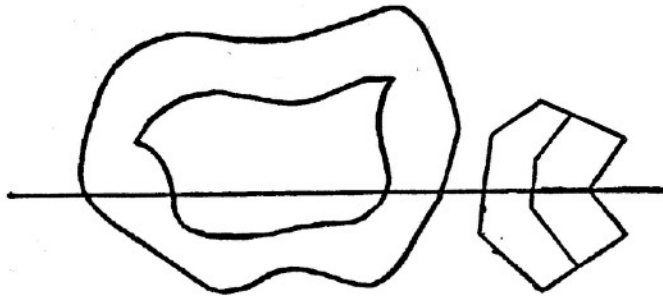


Рис. 10

Из этого примера станет ясно, что существование определенной зримой формы согласуется с существованием соответствующей воспринимаемой зрением “единицы”, которая, обособляясь, приобретает форму. Другие формы, которые соответствовали бы другой организации в той же области, на данный момент визуально не существуют. Так, когда мы в первый раз смотрим на рис. 10, он видится в конкретной организации, которая состоит из двух неизвестных нам объектов и проходящей через них горизонтальной линии. Это означает, что одна часть цифры 4 поглощается объектом с левой стороны, другая ее часть – угловатым целым с правой стороны и остатком горизонтали. С разрушением цифры 4 как обособленной вещи ее форма также распадается. Когда испытуемый раньше или позже начинает действительно видеть 4, соответствующие ей линии более или менее отделяются от их продолжений. Общее правило состоит в том, что воспринимаемые зрением формы даны нам только до тех пор, пока линии или области, о которых идет речь, выделяются в поле. Все наблюдения загадочных картинок, замаскированных объектов и т. д. подтверждают это правило. Так же можно легко убедиться в том, что зримое существование *парциальных* форм

зависит от относительной обособленности соответствующих “субъединиц” (sub-wholes) в более крупных данностях.

Окружающие нас вещи по большей части являют собой весьма устойчивые данности. Как следствие, их характерные формы регулярно воспринимаются нашим зрением, пока этому не мешают случайные обстоятельства или преднамеренный камуфляж. Именно по этой причине проблема визуальной формы так легко упускается из виду, и многие все еще могут считать, что “формы даны в ретинальной проекции”. Однако не существует визуальной формы, к которой наше обсуждение было бы не применимо. В любой части зрительного поля, которая приобретает форму, процессы должны обладать определенными характеристиками, ответственными за данный факт. Эти характеристики присутствуют не во всех частях поля. Если в ясный день мы идем по улице между высокими домами, то небо видно в окружении более темных поверхностей домов. При данных обстоятельствах видим ли мы яркую область неба как имеющую какую-то форму? Как правило, нет. Эта яркая область не имеет своей формы. Несмотря на то, что она окружена иначе окрашенными поверхностями, эта часть неба остается “неформованным фоном”. Контурные остаются краями домов; дома имеют формы, но видимая часть неба не имеет никакой формы. Если мы хотим увидеть ограниченную область неба в виде какой-то формы, мы можем посмотреть через прорезь в экране, который будем держать над головой. Если прорезь имеет форму буквы **Н**, то соответствующая область неба будет восприниматься как яркая **Н** на темном фоне.

Студенты, изучающие гештальтпсихологию, должны быть хорошо знакомы с такими наблюдениями и с выводами, которые из них следуют. Так же как часть зрительного поля может иметь какой-то оттенок или быть ахроматической, так и ограниченная область может иметь форму или быть бесформенной.

Должно пройти какое-то время пока у нас не появится возможность исследовать динамику зрительных процессов в прямом физиологическом наблюдении. Теперь же мы вынуждены ограничиваться выводами из сравнения ретинальных паттернов с визуальными фактами. И здесь мы находим, что Эренфельс был прав, говоря, что форма является транслокальной характеристикой некоторых областей. Из этого, похоже, следует, что базовые процессы должны иметь характеристику, которая также является транслокальной. Итак, форма – это атрибут только таких данностей, которые отдельно представлены в зрительном поле. По-видимому, поэтому, когда процессы относительно обособляются от более крупных функциональных целых, они приобретают в то же время транслокальную характеристику, которая и отвечает за форму рассматриваемой вещи.

Разумеется, поскольку визуальная форма предполагает выделение соответствующей зримой вещи, существование конкретной формы зависит от тех же факторов стимуляции, которые определяют организацию вещей. Можно легко показать, что определенные

формальные отношения внутри данного паттерна стимулов снова имеют решающее значение.²⁶

После этого обсуждения нет необходимости тратить много времени на понятие формы, переживаемой во времени. В случае мелодий, ритмов, воспринимаемых зрением движений и т. д. нам просто придется повторить то, что только что было сказано по поводу симультанно данных форм. Форма музыкального *мотива* начинается в определенной точке и заканчивается в другой; далее может идти следующий *мотив*. Однако в данном случае нет переживаемой формы, которая тянется, например, от второй ноты первой музыкальной фигуры до третьей ноты следующей фигуры. Между двумя фигурами находится то, что получило название “мертвого” интервала, который соответствует, как пустое время, простому расширению или фону, внешнему по отношению к визуальной форме. Опять же, когда в темной комнате движущееся светлое пятно описывает траекторию, показанную на рис. 6 (с. 78), мы видим определенные формы движения, такие как I, II, III. Но мы не видим других форм, например, формы, которая соответствует фрагменту I, следующему за ним горизонтальному участку и фрагменту II, взятым вместе. Еще раз повторю: переживаемая форма согласуется с организацией соответствующих “единиц” (wholes) и “субъединиц” (sub-wholes).

Так как форма – это атрибут обособленных данностей, все наши предыдущие замечания против объяснения этих данностей приобретенными в прошлом знаниями полностью распространяются и на случай формы. Впрочем, эмпиристские взгляды пока еще настолько популярны, что не лишне будет упомянуть еще несколько фактов, которые имеют отношение к этому вопросу.

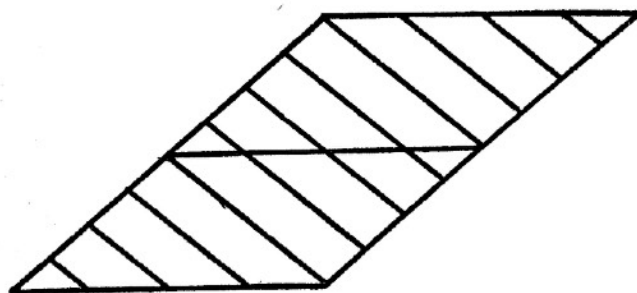


Рис. 11

²⁶ Когда-то К. Бюлер (K. Bülger) попытался дать объяснение весьма специфической формы, а именно формы прямой линии. Он предположил, что все точки сетчатки, которые образуют прямую линию, анатомически связаны особым образом, и что это придает прямой ее особый вид. Эта гипотеза носит механистический характер. Я не думаю, что мы можем надеяться решить нашу проблему таким образом. Есть много очень специфических форм, кроме прямой линии. Должны ли мы предположить, что для каждой из них существует особая анатомическая компоновка ретинальных элементов? Или, вернее, огромное множество таких компоновок для каждой отдельной формы, так как каждая может проецироваться на множество разных участков сетчатки?

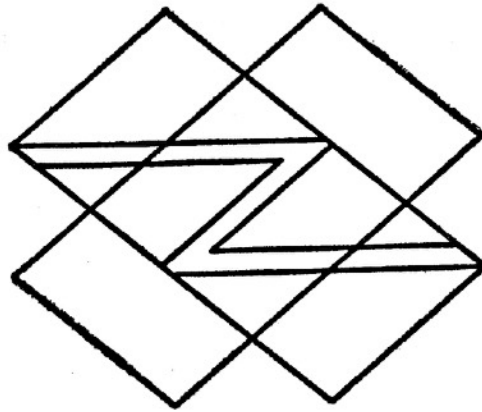


Рис. 12

1. Как практическое знакомство с определенными формами влияет на наш зрительный опыт при последующем восприятии? Изображения типа тех, что показаны на рис. 11 и 12, содержат много комбинаций геометрических линий, которые, при предъявлении их по отдельности, заставили бы нас видеть формы, отличные от тех, которые мы видим на рисунках. Так, изображенный на рис. 13 контур геометрически представлен и в рис. 11, и в рис. 12. Если теперь мы располагаем большим количеством таких изображений, которые обычно воспринимаются определенным образом, но геометрически содержат некоторые более мелкие фигуры, будет ли упражнение в разглядывании последних изменять то, как мы видим первые? Конкретнее, будет ли это упражнение разрушать более крупные фигуры, с тем результатом, что включенные в упражнение фигуры появляются в своих специфических формах? Курт Готтшальдт (Gottschaldt) проводил такие эксперименты.²⁷ Поскольку предполагается, что прошлый опыт влияет на организацию автоматически, т. е. независимо от какого-либо знания о присутствии соответствующих контуров, испытуемым не предлагалось анализировать крупные фигуры или искать в них мелкие фигуры, включенные в упражнение. Более крупные изображения предлагались просто для описания. Примерно в 90% случаев три предшествующих экспозиции более мелких фигур не оказали никакого влияния на последующее восприятие более крупных изображений. Когда, с новыми испытуемыми, число предшествующих экспозиций мелких фигур было увеличено до 520, результат оказался все тем же: крупные фигуры виделись неизменными в 95% проб. Но даже немногие случаи, в которых был получен положительный результат, не могут быть объяснены предшествующим упражнением как таковым, потому что испытуемые, иногда видевшие включенные в упражнение формы в больших фигурах, подозревали в известной степени о цели эксперимента и по ходу процедуры спрашивали экспериментатора, следует ли им искать предъявлявшиеся ранее формы. Хотя в инструкции им не предлагалось этого делать, они, конечно, выполняли тест с установкой, которая полностью соответствовала их особому

²⁷ *Psychol. Forsch.*, 8, 1926. Рис. 11–13 воспроизводятся из статьи Готтшальдта.

ожиданию. Следовательно, их положительные результаты не доказывают, что прошлый опыт автоматически влияет на то, какие фигуры они видели впоследствии.

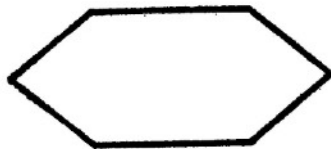


Рис. 13

Крупные рисунки Готтшальдта были “трудными” в том смысле, что их организация была очень устойчивой. В некоторых из этих больших фигур я фактически не могу *увидеть* меньшие фигуры, хотя знаю не только то, что они присутствуют, но и то, где они расположены. Однако эта трудность более крупных фигур не дает никаких оснований для выдвижения возражений, потому что в таком возражении молчаливо допускалось бы, что очень устойчивая визуальная организация сильнее, чем любое влияние практики. Полагаю, никто не скажет, что такие более крупные фигуры, как на рис. 12, обязаны своей устойчивой организацией значительной предэкспериментальной практике в повседневной жизни. Формы, которые мы видим в этом схематическом рисунке, несколько не лучше известны нам, чем форма на рис. 13. Тем, кто заявляет, что прошлый опыт оказывает автоматическое влияние на последующее восприятие, придется подтвердить свою теорию собственными экспериментами. Если такое влияние и существует, оно должно ограничиваться специфическими ситуациями.

2. Мы, конечно, признаем, что те или иные конкретные данности, с их формами, легко и быстро приобретают смысловые значения. Но когда это происходит, эти данности представляются первыми, а значения за такими оформленными вещами закрепляются позднее. Мне не известны какие-либо факты, показывающие, что, наоборот, научение *создает* вещи и формы. Бесспорно, плохо организованные ситуации, в которых конкретные данности и формы едва отображаются, могут быть существенно прояснены за счет того, что эти данности хорошо известны. Однако в этом случае главный вопрос заключается в том, какие факторы привели к установлению этих данностей в предшествующей жизни. Очевидно, что условия тогда были более благоприятными, и, вероятно, они были более благоприятными с точки зрения сенсорной организации. В любом случае, такие наблюдения далеки от доказательства того, что научение превращает так называемые ощущения в конкретные вещи. На самом деле наблюдается лишь то, что ясная организация, которая была пережита (как факт сенсорного опыта) в прошлом, имеет тенденцию улучшать худшую организацию, которая дана в настоящее время. И, повторяю, предыдущая практика не оказывает такого влияния, если нынешняя ситуация прочно организована другим образом. Цифра 4, например, имеет знакомую всем форму; но когда рис. 10 показывается людям, не подозревающим о присутствии в нем этой цифры, вероятность того, что они ее видят, крайне мала. Она не

встречается в их описании этого рисунка. Вряд ли кто может возразить, что в прошлом мы никогда не видели цифру 4 в таком необычном окружении. Если практика и оказывает автоматическое влияние, это влияние должно быть доказуемым именно в таких ситуациях. Кроме того, вовсе не необычный характер окружения мешает нам видеть цифру 4 на рис.10. На рис. 14 цифра 4 видна сразу, хотя в этом сложном изображении окружение этой цифры не менее необычно, чем на рис. 10. Почему же она видна сейчас? Очевидно, на рис. 14 добавленные линии не стремятся слиться с различными частями цифры 4 так, чтобы этот объект исчез из поля зрения. На рис. 10 условия организации таковы, что благоприятствуют формированию других объектов.²⁸ На рис. 14 не менее странное окружение не содержит таких условий, и поэтому эта цифра остается выделенной и обособленно воспринимаемой зрением вещью.

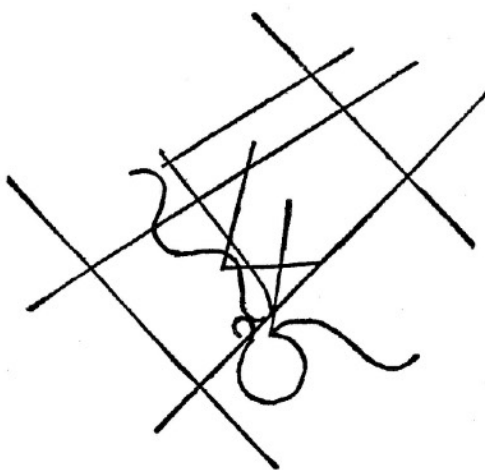


Рис. 14

Я приведу еще несколько примеров, в которых известные объекты и их формы разрушаются, потому что организация собирает более крупные данности. Можно по-разному описать рис. 15, но вряд ли кто-то самопроизвольно упомянет букву **Е** в таком описании. Однако эта буква, конечно, геометрически присутствует, а объект, который фактически виден, менее известен, чем буква **Е**. На рис. 16 можно месяцами видеть орнамент и ничего больше; и в течение всего этого времени ни у кого не возникает догадки о присутствии в нем двух букв **Н**. Аналогично, при нормальных условиях буква **К** на рис. 17. не существует как визуальная данность. Конечно, в данный момент читатель больше не разглядывает наши иллюстрации так, как он это всегда делал в обычных условиях. Теперь он ищет буквы с аналитической установкой, которая обсуждалось в главе V (с. 86). Поэтому я должен попросить его показать рис. 16 или рис. 17 более наивным друзьям с вопросом: что вы здесь видите? Я не верю, что их огромный опыт взаимодействия с буквами повлияет на результат в сколько-нибудь значительной степени.

²⁸ Ср. в частности, условие, упомянутое в главе V, р. 74.

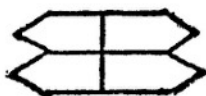


Рис. 15

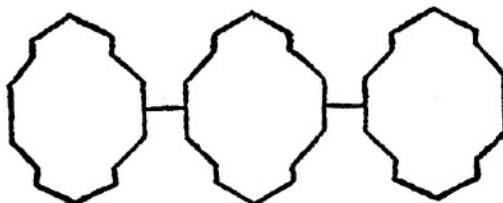


Рис. 16

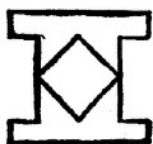


Рис. 17

3. Опять же, некоторые будут склонны считать воспринимаемую зрением форму производной от тактильного или моторного опыта. Этот тезис столь же неприемлем, как и соответствующая интерпретация в случае организации как таковой. Форма – это характеристика, которую переживания (experiences) имеют, или не имеют. Она неприводима к другим атрибутам. Так, если зримые данности выглядят имеющими форму только потому, что мы в то же время испытываем некоторые другие переживания, эти другие переживания должны иметь формы, о которых идет речь. Визуальные факты, возможно, способны поглощать характеристики, которые не свойственны исходному устройству зрительных полей. В этом случае, однако, такие заимствованные характеристики должны быть “коренными жителями” тех полей, откуда они приходят. Как следствие, обсуждаемая гипотеза просто перемещает проблему формы из одного сенсорного поля в другое. Понятно, что где-то ее придется рассматривать как таковую, без дальнейшего перемещения. Эта аргументация применима и к нашим ощущениям движений глаз, которые неоднократно упоминались в этой связи. Если воспринимаемая зрением форма – это дело движений глаз, тогда участвующие в этом кинестетические переживания должны иметь форму в том смысле, в каком зримые данности выглядят имеющими форму. Как только это станет ясно, придет признание того, что такая гипотеза не представляет собой научного завоевания. Мы можем с тем же успехом допускать, что форма является визуальным атрибутом.

4. Лучший аргумент против любых эмпиристских теорий в этой области заключается в следующем. Мы с легкостью допускаем, что части зрительного поля могут вызвать воспоминание переживаний, которые ранее ассоциировались с этими частями. Однако затем

мы спрашиваем, какие именно зрительные факторы ответственны за воспоминание в каждом случае. Ответ состоит в том, что в 99 из 100 случаев воспоминание происходит вследствие появления в данном поле конкретной обособленной данности с ее столь же характерной формой. Другими словами, именно такая имеющая форму данность ассоциируется с другими фактами и способна, поэтому, извлекать из памяти эти факты. Это означает, что если бы организация отсутствовала, с тем результатом что воспоминание могло бы вызываться только цветом и яркостью “ощущений”, то зрительный опыт большей частью был бы недостаточно характерным для того, чтобы вызвать какое-то конкретное воспоминание. Когда речь идет об автоматическом влиянии прошлого опыта на текущее видение, у людей возникает соблазн предположить, что эта идея также может быть применена к феноменам, которые здесь были интерпретированы как эффекты сенсорной организации. С этой точки зрения, зрительное поле, как могло бы показаться, содержит обладающие формой вещи, потому что вспомнились определенные предыдущие переживания. Рассуждающие подобным образом, видимо, забывают, что, как правило, воспоминание вызывается как раз такими “оформленными” вещами. Они не в полной мере осознают, что если последовательно придерживаться их точки зрения, то зрительное поле должно быть полностью лишено таких вещей. Легко сказать: это или то является таким, потому что определенные события произошли в предшествующий отрезок жизни. Но к настоящему времени возникла необходимость в более четких и более конкретных утверждениях. Никто не будет отрицать, что воспоминание играет огромную роль в психической жизни; но оно способно играть такую роль только потому, что сенсорный мир как таковой в полной мере наделен специфическими атрибутами, наличие которых он обязан организации. Простая мозаика "ощущений" была бы не способна придать воспоминанию правильные конкретные направления. Эта трудность, с которой сталкивается эмпирическая интерпретация, усугубляется следующим фактом: вообще говоря, форма остается той же самой независимо от цвета, местоположения и размера той области, которая имеет эту форму. Согласно эмпирическим взглядам, это означает, что независимо от вариаций в этих отношениях, всегда вспоминаются те же самые предыдущие переживания. Как это может случиться, когда фактически ничего не остается из того, что могло бы служить постоянной причиной для одного и того же воспоминания?

Факт, о котором я только что упомянул, называется “транспонированием” (“transposing”). Так как Эренфельс хотел показать, что форму в принципе невозможно объяснить на основе ощущений, он придавал особое значение инвариантности воспринимаемой зрением формы при изменении яркости, цветового оттенка, размера и местоположения объекта. Конечно, когда объект смещается слишком близко к периферии поля, его форма будет искажаться. Однако, помимо этого особого случая,

диапазон, в пределах которого можно транспонировать объекты, огромен.²⁹ В этом отношении формы во времени ведут себя точно так же, как формы в пространстве: мелодию, например, можно переписать в разных ключах и, тем не менее, *как таковая* она остается той же мелодией. Эренфельс был совершенно прав, когда говорил, что таким способом пространственная форма и темпоральная форма ясно устанавливаются как феномены *sui generis*. Впрочем, он также понимал, что некоторые условия должны поддерживаться постоянными, если мы хотим, чтобы транспонирование соответствовало тому, что подразумевается под этим термином. Отношения между взаимосвязанными стимулами должны оставаться примерно теми же, когда сами эти стимулы изменяются. Таким образом, мы еще раз видим, что те же условия, которые определяют выделение и обособление конкретных данностей в пространстве и времени, также имеют решающее значение для их “качеств Эренфельса”.³⁰

Было время, когда удивительное поведение *Gestalten*, особенно инвариантность их форм в условиях транспонирования, в целом интерпретировалось как доказательство участия высших психических процессов (ср. с. 91). Однако с нашей нынешней точки зрения сенсорная организация предстает как первичный факт, являющийся результатом элементарной динамики нервной системы. До тех пор, пока организация рассматривается как интеллектуальная активность, мы не способны, конечно, объяснить ту роль, которую организация играет в биологии, в частности в онтогенезе. Также следует помнить, что Матильда Герц (Hertz) продемонстрировала влияние организации на поведение животных, которые вряд ли приспособляются к среде благодаря интеллектуальным процессам. Судя по всему, Карлу Лешли (Lashley) первому удалось показать, что животные “транспонируют”. Наученные выбирать, скажем, более темный из двух серых объектов, они переносили свою реакцию, когда им предъявляли два других объекта того же класса. Другими словами, они выбирают объект, который представляет темную сторону новой пары, даже если ее точный серый образец никогда не предъявлялся во время первоначального обучения. Не зная о работе Лешли, я, соблюдая особую осторожность чтобы исключить несколько возможностей косвенного объяснения, повторил те же эксперименты с обезьянами и цыплятами. В настоящее время нет никаких сомнений, что цыпленок, обученный из двух серых объектов – I и II – всегда выбирать более темный (II), потом, когда этот II предъявляется в паре с новым (более темным) серым объектом (III), в большинстве проб выбирает не II, а III – объект неизвестного серого оттенка. Аналогичные эксперименты были проведены с

²⁹ Для взрослых необходимо выполнить еще одно условие, чтобы транспонирование не повлияло на данную зрительную форму. Большинство объектов изменяют свой внешний вид, когда им задается новая ориентация в пространстве, в частности, когда их переворачивают вверх ногами. Этот факт, который выявляет любопытную анизотропию зрительного поля у взрослых, по-видимому, не существует в раннем детстве.

³⁰ Вертгеймер, однако, отмечает, что не все отношения между стимулами одинаково важны в этом отношении. Некоторые из них могут сильно изменяться, не оказывая заметного влияния на данную форму, тогда как даже небольшие изменения других влияют на эту форму сразу.

человекообразными обезьянами, когда выбор относился к размеру или цветовому оттенку объектов. Нескольким исследователям удалось подтвердить результаты этих экспериментов. Похоже, что животные реагируют на такие пары, как на унитарные группы, любая из сторон которых имеет определенный характер, зависящий от ее положения в паре. Так, II составляет темную сторону первой пары, однако в новой паре эта роль переходит к III; и так как животное научилось выбрать темную сторону пары, а не более или менее определенный оттенок серого, теперь оно склонно избегать серого, выбиравшегося им в период научения, и выбирать новый оттенок серого. Не имеет значения, предполагаем ли мы, что этот цыпленок имеет зрительный опыт. Различие между выбором, который зависит от более или менее определенной интенсивности света, и реакцией, которая зависит от характеристики, определенной в паре как единой данности, одинаково в обоих случаях. Нужно отдавать себе отчет в том, что здесь формула “стимул–реакция” снова вводит в заблуждение. Она не принимает в расчет, что между стимулами и реакцией имеют место процессы организации, в частности формирование групп-единиц, в которых части приобретают новые характеристики.

Для доказательства того, что понятие динамического самораспределения объясняет транспонирование, мы сейчас покажем, что транспонирование происходит и в физических системах. Если все силы данного динамического распределения уравнивают друг друга, их равновесие, очевидно, не будет нарушаться, если интенсивность всех сил уменьшается или увеличивается в одинаковой пропорции. Следовательно, такие динамические состояния в значительной степени независимы от абсолютных событий, которые имеют место в их различных частях. Предположим, например, что динамическое распределение – это ток, который течет через проводник определенной формы, такой как электролит, заполняющий сосуд соответствующей формы. Сила тока не влияет на его распределение. Распределение тока не меняется и в том случае, если вместо одних ионов, таких как Na и Cl, электрические заряды несут ионы K и Vg или любые другие. Или возьмем, к примеру, явления электродвижущей силы, которые возникают когда два раствора (I и II) с различной ионной концентрацией приходят в соприкосновение. Такие явления зависят от *соотношения* ионных концентраций, тогда как абсолютные концентрации не имеют никакого влияния. Например, если раствор II с концентрацией $1/20n$ является электроположительной стороной пары относительно раствора I с концентрацией $1/4$, то в новой паре с концентрациями $1/20n$ (II) и $1/100n$ (III) новый раствор III становится электроположительной стороной. Другими словами, быть электроположительной стороной такой физической системы – свойство, наличие которого часть этой системы обязана своей позиции во всей системе. В этом отношении нет разницы между нашим электрохимическим примером и случаем двух оттенков серого, один из которых является темной стороной пары.

Форма является, вероятно, самым важным атрибутом отдельных, обособленных вещей. Однако с наличием или отсутствием зрительной формы тесно связаны дополнительные характеристики. На рис. 8 и 9 мы наблюдали изменение формы. Сначала был виден один крест или звезда, а затем другой. Если такие полные изменения тщательно наблюдать, то

обнаружится другое изменение, которое сопровождается появлением и исчезновением этих двух форм. Когда виден крест, образованный узкими секторами, область этого креста имеет характер плотности или субстанциональности; крест имеет плотность вещи, в то время как его окружение выглядит сравнительно пустым или неплотным. Противоположное происходит, когда появляется другой крест. Теперь этот крест выглядит твердым и вещественным, в то время как узкие углы, которые теперь стали частями фона, лишены вещественности или пусты. Так как область становится твердой, когда она имеет форму, и в этом смысле является фигурой, Эдгар Рубин (Rubin) дал этому качеству твердости (solid quality) название “свойство фигуры” (“figure character”). Он называет рыхлость (looseness) и аморфность ее окружения “свойством фона” (“ground character”). Термин “фон” (“ground”) особенно уместен в данном случае, поскольку фигура обычно немного выдается в пространстве. Бесформенное окружение отступает на шаг назад, и на самом деле кажется, что оно простирается за фигурой как однородная плоскость, на которой лежит эта фигура. Небо над домами (ср. с. 95–96) имеет этот характер фона, который распространяется за домами как фигурами.

Похоже, что свойство твердости (прочности), на которое я только что указал, наблюдается только как атрибут отдельных, обособленных вещей. Очевидно, оно принадлежит к общему классу “качеств Эренфельса”. Некоторые психологи будут склонны выводить это свойство из фактов тактильного опыта, которые мы получаем при манипулировании материальными объектами. Но вообще-то нет особой причины, почему бы ему не быть атрибутом зримых вещей как таковых. Фактически, это свойство может принадлежать к основным конститuentам смыслового значения, которое термины “вещь” или “вещество” имеют в обыденной жизни. В любом случае, фигура и фон ведут себя в зрительном поле совершенно по-разному. Например, было показано, что константность цвета сильнее выражена у фигуры, чем у фона. Было обнаружено, что порог для цветового пятна в области фигуры выше, чем на фоне того же объективного цвета. С другой стороны, послеобразы являются более живыми и яркими при наблюдении на фигуре, чем на простом, однородном фоне.

После рассмотрения этих вопросов будет легче понять несколько дополнительных соображений, которые без такого предшествующего обсуждения, могли бы быть сочтены за “простое философствование”. В экспериментах с животными было установлено, что “быть темной стороной пары” – характеристика объекта, которую он приобрел благодаря его включению в более крупную данность, а именно в воспринимаемую зрением пару как “единицу”. Та же отнесенность к более крупным целостностям (wholes) подразумевается во многих терминах, которые мы постоянно используем в качестве банальных слов. Мы обычно не осознаем, что значение таких слов выходит за пределы локальных фактов, с которыми они могут казаться связанными. Из большого списка я приведу только следующие примеры: немецкое “*Rand*” (в английском “brink” [грань] или “edge” [край]) – это такое слово; и еще “*Anfang*” (“beginning” [начало]), “*Ende*” и “*Schluss*” (“end” [конец] и “close” [завершение]),

“*Stück*” и “*Teil*” (“piece” [кусок] и “part” [часть]), “*Rest*” (“rest” [оставшаяся часть] или “remnant” [остатки]), а также “*Loch*” (“hole” [дыра]) и “*Störung*” (“disturbance” [нарушение]). Можно сразу увидеть, что участок пространства будет выглядеть как “дыра” или “прореха” только в том случае, когда он представляет собой разрыв более крупной данности, другие части которой имеют свойство фигуры. *Mutatis mutandis* то же самое относится и к значению слова “нарушение”. И вовсе не нужно ограничивать этот перечень примерами, когда слова относятся к сенсорным фактам. В случае мыслительных процессов событие является “нарушением” только относительно большего и во всем остальном единого целого, которое это событие нарушает. Без этой референции данное слово не имеет смысла. Те, кто знаком с теорией музыки, вспомнят, что звук имеет характер “тоники” только внутри исполняемого музыкального произведения, в котором он играет определенную роль. То же самое касается и “субтоники” (“leading tone”), которая действует за пределами себя не автономно, а как часть более крупной музыкальной структуры.

Аналогичные примеры можно легко найти среди прилагательных и глаголов. “*Hohl*” (“hollow” [полый]) и “*offen*” (“open” [открытый]), “*complete*” (полный, заполненный) и “*incomplete*” (неполный, незаполненный) принадлежат к этому классу, поскольку их смысловые значения относятся к конкретным, данным в опыте “единицам”, в рамках которых эти прилагательные только и применимы. В области терминов, которые обозначают события и разные виды активности, мы имеем, например: “*starting*” (отправление) и “*beginning*” (начало), “*ending*” (конец) и “*finishing*” (завершение), “*desisting*” (прекращение) и “*interrupting*” (прерывание), “*proceeding*” (продолжение) и “*continuing*” (продлевание), а также “*deviating*” (отклонение), “*bending*” (изгибание), “*retarding*” (замедление) и т. д. Если мы рассмотрим значения таких слов как “*hesitating*” (колебание) или “*deviating*” (отклонение), то обнаружим, что их значения предполагают наличие более крупных когерентных событий, изменения которых обозначаются этими терминами. Эти события могут быть мелодиями, занятиями других людей, как они даны в нашем восприятии, или мыслительными процессами, которые идут своим ходом в голове человека. По существу, значения таких слов остаются одними и теми же во всех сферах опыта, ибо основные фазы организации не ограничиваются какими-либо особыми областями.

VII

ПОВЕДЕНИЕ

Будет нелегко понять следующие главы, если мы сначала не решим проблему, которая, как мне кажется, представляет серьезные трудности для многих людей.

Ссылаясь на объективный опыт, я неоднократно подчеркивал тот факт, что вещи, их движения и изменения даны *вне* нас и *перед* нами. При этом я утверждал, что объективный опыт зависит от процессов в головном мозге. Как же тогда этот опыт может появляться перед нами? В фактах как таковых сомнений быть не может. Конечно, при определенных условиях звук может локализоваться в моей голове; но дерево вон там я, безусловно, вижу как что-то стоящее вдалеке, и окно, хотя и намного ближе, бесспорно находится передо мной. Функционально, однако, существование этих воспринимаемых зрением объектов является делом процессов в моем мозге, и, следовательно, во мне. Простейший физиологический анализ доказывает это.

Представляется целесообразным сразу обсудить физиологическую сторону этой проблемы. Для простоты мы сначала будем действовать так, как если бы зрительное поле было единственным объективным опытом, который у нас есть. Тогда, по крайней мере, одна вещь становится очевидной. Хотя обычно перед нами предстает множество объектов, их совокупность выглядит вполне упорядоченной в одном зрительном пространстве, так что любая конкретная вещь находится в достаточно ясных пространственных отношениях ко всем остальным. (Этому утверждению не хватает строгости, так как в нем не принимается в расчет конкретная группировка объектов; но для наших текущих целей его будет достаточно.) Карандаш на моем столе лежит ближе к книге, чем к лампе; нож находится между книгой и авторучкой и т. д.

Так же как все остальные характеристики этого поля связаны с физиологическими событиями в головном мозге, так и относительное положение данных в нашем перцептивном опыте объектов зависит от какого-то порядка в процессах, составляющих их

физиологическую основу. Однако простое геометрическое расположение этих процессов не может быть коррелятом видимого пространственного порядка. Я исхожу из предположения, что все данное нам в опыте имеет *функциональную* основу или, иначе говоря, зависит от реальных физических событий. Если мы захотим применить этот постулат к фактам, лежащим в основе переживаемого пространства, мы неизбежно придем к понятиям физики поля. В этом разделе науки принятие в расчет того, что можно было бы назвать “процессами-в-распространении” (“processes-in-extension”), считается само собой разумеющимся. Термин, который я только что использовал, – это просто другое название для самораспределенных процессов, о которых я говорил в главе IV. В таких процессах, как мы помним, локальные события, когда они происходят, имеют место только в рамках распределения как целого. Следовательно, все это широко распространенное состояние функции составляет “единицу”. В такого рода “единицах” расстояния могут измеряться в дюймах. Но согласно нашему постулату, это не тот способ, каким следует измерять расстояния, если мы хотим найти коррелят переживаемой (данной в опыте) протяженности. Предпочтительнее выбрать в качестве такого коррелята динамические отношения между частями данного процесса, которые сохраняют части такими, какие они есть. Эти отношения непрерывно распространяются по всему процессу, и именно их “функциональная геометрия”, предположительно, изоморфно связана с пространственными характеристиками перцептуальных полей.³¹ Разумеется, обсуждаемые динамические отношения действуют в ткани, т. е. в клетках, волокнах и тканевых жидкостях, которые занимают определенные объемы физического пространства. Но мы полагаем, что когда речь идет о нашей проблеме, принимаются во внимание только динамические отношения, а геометрические расстояния и области, на которые распространяется динамический порядок, не имеют прямого значения. Не спорю, динамический порядок в значительной степени *зависит* от геометрии среды, в которой он возникает. Например, большое расстояние в единицах геометрии мозга, вероятно, является в то же время и большим функциональным расстоянием, и т. д. Но эта зависимость далека от того, чтобы быть тождеством. Ибо, во-первых, динамические отношения внутри процесса являются функциональными отношениями, тогда как никакие геометрические отношения не являются функциями в этом смысле; и, во-вторых, функциональное распространение, о котором я говорю, зависит не только от геометрических характеристик среды, но и от законов физики, определяющих самораспределение. В следующих параграфах относительная локализация объектов в зрительном пространстве будет рассматриваться как коррелированная с относительными позициями соответствующих локальных процессов в зрительной области мозга. Предыдущие замечания призваны дать понять, что когда употребляется выражение “относительное положение процессов”, его всегда следует понимать с точки зрения функциональных, а не чисто геометрических отношений.

³¹ Совсем недавно понятие функционального пространства было более полно развито в работе W. Köhler and H. Wallach, “Figural After-Effects. An Investigation of Visual Processes”. *Proc. Amer. Philos. Soc.*, Vol. 88, № 4, 1944.

Давайте вернемся к вопросу, который был поставлен в начале этой главы. Целесообразно рассмотреть конкретный пример. В зрительном опыте карандаш занимает внешнее положение относительно книги и лежит на некотором расстоянии от нее. При этих условиях в головном мозге имеют место два локальных процесса, один из которых соответствует карандашу, а другой – книге. Кроме того, неврологи говорят нам, что эти процессы происходят в разных местах зрительной области мозга, а мы должны добавить, что функциональные отношения между ними являются отношениями, которые подразумевают определенное функциональное расстояние. Теперь я собираюсь показать, что локализация объектов вне нас прямо вытекает из этого соображения. Моя рука, например, появляется или может появиться в том же зрительном поле, что и другие зримые объекты. Очевидно, как этот дополнительный зримый объект является внешним относительно карандаша и книги в зрительном опыте, так и соответствующий процесс в головном мозге должен быть внешним по отношению к процессам, соответствующим карандашу и книге, – как геометрически, так и функционально. Руке как воспринимаемому зрением объекту должна быть дана та же теоретическая трактовка, которую мы даем карандашу и книге; и пространственное отношение между рукой и карандашом или книгой должно рассматриваться так же, как пространственное отношение между этими двумя вещами. Как правило, мое зрительное поле содержит, конечно же, не только кисть руки, но и другие части меня: всю руку, например, очень часто мои ноги, мою грудь и, хотя данный только в периферическом зрении, кончик моего носа. Все это визуальные данности, точно такие же, как книга и карандаш. Таким образом, в моем головном мозге как физической системе должны происходить процессы, соответствующие этим частям меня самого, так же как и другие процессы, которые соответствуют таким вещам, как карандаши, книги и т.д. Кроме того, мозговые процессы, которые лежат в основе воспринимаемой книги, воспринимаемого карандаша и всех других воспринимаемых зрением объектов вокруг меня, должны быть внешними по отношению к процессам, которые лежат в основе воспринимаемых зрением руки, ноги, груди и носа. Причина та же, как и в случае с книгой и карандашом – объектами, внешними относительно друг друга: материальная книга и материальный карандаш проецируются на разные части сетчатки, и поэтому вызывают процессы в разных частях зрительного мозга. Это остается в силе и для видимых частей моего организма в их пространственных отношениях с внешними объектами. Их ретинальные позиции отличаются от позиций таких объектов, а потому и соответствующие места в головном мозге отличаются от мест, в которых физиологически представлены внешние объекты.

В принципе, это можно считать решением нашей проблемы. Мое тело как опыт – в обыденной речи мы часто называем его “Я” (“I”) или “я сам” (“myself”) – без преувеличения является зримой вещью в том смысле, в котором карандаш или книга являются такими вещами. Так же как эти последние вещи выглядят внешними относительно друг друга, так и “Я” зрительно предстает внешним по отношению к ним, и наоборот. Если их появление в разных местах никого не удивляет, потому что это разделение может быть понято на основе

расположения их физиологических коррелятов в головном мозге, то у нас нет причин удивляться относительному положению таких зримых объектов, с одной стороны, и зримого себя, с другой. Таким образом, не нужна никакая особая гипотеза, чтобы объяснить, почему я зрительно занимаю внешнюю позицию относительно таких объектов, а они выглядят внешними по отношению ко мне. Если бы существовал какой-то парадокс в их видимости внешними объектами, т. е. вне меня, тогда точно такой же парадокс следовало бы отыскать в пространственном отношении, в котором находятся, скажем, карандаш и книга. Обычно люди не осознают этого лишь потому, что они не проводят различия между *телом* как перцептуальным опытом и *организмом* как физической системой, который, как таковой, никогда не появляется ни в каком опыте. Конечно, они игнорируют и тот факт, что воспринимаемая зрением часть себя физиологически причиняется проекцией частей организма на его собственную сетчатку, а также соответствующими процессами в головном мозге, отличающимися специфическим размещением, при котором они *окружены* процессами, соответствующими другим зримым объектам. Я не верю, что эта путаница когда-либо закончится, если мы не приучим себя последовательно называть воспринимаемого себя одним словом, а физический организм – другим словом. Я предлагаю, как уже делал ранее, первое называть “телом”, а термин “организм” закрепить за физической системой, которую исследуют анатомы и физиологи.

В сравнении с этим объяснением, идею о том, что вещи должны бы переживаться как находящиеся внутри нас самих, безусловно, невозможно отстоять. Причин для такого предположения не больше, чем для предположения, что карандаш мы должны были бы видеть внутри книги, или облака, или Луны. Если бы кто-то захотел возразить и сказал, что, в конце концов, перцептуальные (связанные с восприятием) процессы происходят в головном мозге, и в этом смысле в моем внутреннем мире, каков был бы правильный ответ? Нам ничего не остается, как ответить, что зрительный опыт соответствует всей совокупности самораспределенных процессов в зрительной зоне мозга, и что все отношения в зрительном пространстве, о которых каждый из нас может дать отчет, основываются на функциональных отношениях внутри этой совокупности. Если принять такую формулировку ответа, то другие зримые объекты должны выглядеть внешними относительно воспринимаемого зрением себя. Анатомическая или геометрическая локализация любых зрительных процессов в физическом мозге и черепе, с другой стороны, никогда не соответствует какому-либо опыту. Таким образом, эта локализация не может играть никакой роли в определении мест, в которых мы видим вещи. Если кто-то ожидает, что увиденные вещи будут переживаться как находящиеся в головном мозге, он не осознает, что первая половина этого высказывания относится к зрительному полю как к опыту, тогда как вторая его половина, в которой встречается термин “головной мозг”, относится к материальному объекту в физическом пространстве. Это означает, что такой человек ожидает, будто части зрительного пространства размещаются сообразно частям физического пространства, – совершенно нереальная идея.

Тот факт, что видимые объекты столь явно и четко локализованы вне видящего их и себя наблюдателя, заставляет любого человека удивляться, когда он впервые слышит о зависимости воспринимаемых вещей, цветов и т. д. от событий, которые происходят “в нем самом”. Разумеется, это утверждение корректно, только если оно понимается в физиологическом смысле так, что “сам” относится к организму, который не является частью нашего опыта. Однако оно вряд ли будет правильно понято теми, кто не научился проводить различие между физическим организмом и собой как конкретной переживаемой “вещью”. Конечно, по большей части удаленные вещи вообще не кажутся нам сколько-нибудь зависящими от этого конкретного опыта, нашего “Я”. А почему они, собственно говоря, должны зависеть? В зрительном опыте дерево зависит от меня как от факта опыта столь же мало, как и мозговой процесс, соответствующий дереву, зависит от процессов, соответствующих моему переживанию себя. Иногда, как мы показали в одной из предыдущих глав, некоторое влияние будет происходить, а затем переживаться; но, вообще говоря, дерево и я зависим друг от друга столь же мало, как и любые другие обособленные данности зависят друг от друга, когда они разделены значительным расстоянием.

Возможно, все это слишком хорошо известно, чтобы еще раз обсуждаться с такими подробностями. Однако несколько лет назад один врач-психиатр в Европе назвал эту проблему самой трудной среди вопросов, которые касаются души в ее отношении к телу: как могут вещи выглядеть находящимися вне нас, когда на самом деле они локализуются в нашем внутреннем мире?

До сих пор мы рассматривали себя и вещи исключительно как факты зрительного опыта. Но ситуация остается прежней, если мы рассматриваем и другие переживания. Вещи и их свойства могут восприниматься, не только зрительно, но и посредством осязания. Кроме того, мы можем чувствовать тепло или холод вещей, их запах, ощущать их тяжесть и слышать издаваемые ими звуки. Все эти переживания локализуются в одном перцептуальном пространстве – иногда точно, а иногда не очень. Более конкретно, все они получают локализацию относительно визуальных фактов. Так, голос может быть слышан как звучащий за окном; комната как зрительная сцена может содержать запах сигареты, а холодная поверхность стакана в моей руке ощущается там, где виден этот объект.³² Тот факт, что все сенсорные переживания появляются в общем пространстве, можно объяснить несколькими способами. Причина может быть такой же, как и в случае бинокулярного зрения, в котором, несмотря на участие двух органов чувств, двух глаз, весь опыт локализуется в одном поле. В данном случае мы знаем, что сотрудничество двух глаз в обеспечении нас одним полем зрения, по крайней мере отчасти, является делом наследственных факторов. Возможно, хотя это и не было доказано, что такое объяснение остается в силе для кооперации зрения,

³² В таком контексте не имеет значения, является ли локализация, скажем, звуков относительно воспринимаемых зрением объектов, неизменно *правильной*. Если она ошибочна, тогда тот факт, что мы способны компенсировать отклонение, сам по себе служит доказательством, что оба переживания появляются в одном и том же пространстве.

осязания и т. д. в обеспечении нас одним сенсорным пространством вообще. Возможно также, что переживания различных сенсорных модальностей локализируются в общем пространстве потому, что в самом раннем детстве мы усвоили, как они должны пространственно соотноситься. Помимо этих предположений, которые представляют собой, конечно же, нативистские и эмпиристские гипотезы в психологической теории, следует также рассмотреть и третье объяснение: в самом раннем детстве переживания различных сенсорных модальностей могли быть более или менее адекватно объединены в одном пространстве по *динамическим* причинам. Какая бы интерпретация ни оказалась правильной, все сенсорные факты действительно появляются в одном пространстве – пространстве, в котором также локализируются видимые объекты и сам видящий себя наблюдатель. Как следствие, некоторые незрительные переживания (например, такие как большинство звуков), вместе с большинством визуальных фактов, локализируются вне наблюдателя. Другие незрительные факты, такие как факты кинестезии, появляются внутри нас самих, но все еще в том же общем пространстве, которое содержит внешние переживания. Внутри себя мы находим, конечно, и такие субъективные состояния, как чувство усталости, здоровья, активности, раздражительности и т. д. В целом, мы можем сказать, что данные незрительного опыта достаточно адекватно локализируются относительно зрительных феноменов. Из этого следует, что если внешняя локализация воспринимаемых зрением объектов не составляет для нас проблему, то же самое должно оставаться в силе для всех случаев, в которых факты незрительного опыта появляются вне нас самих.

После этого предварительного обсуждения мы можем теперь обратиться к старому вопросу. Как такое возможно, что мы приписываем другим переживания более или менее похожие на те, которые есть у нас? Мы, кажется, делаем это все время, не только в общем, но и совершенно определенно в конкретных случаях. Очевидно, поэтому наш вопрос относится к фундаментальному факту социальной психологии. Но в то же время это и загадочный факт, ибо иногда другие люди, по-видимому, распознают наши переживания извне более ясно, чем мы можем “увидеть” их изнутри. Например, я испытываю трудности при описании внутреннего переживания колебаний или отсутствия решимости. Тем не менее, другие говорят, что такие состояния можно совершенно ясно видеть на моем лице. И я склонен верить им, так как мне очень хорошо знакомо это выражение лица из наблюдения за другими. Помнится Ницше однажды сказал, что так или иначе “Ты” старше, чем “Я”³³. Это относится прежде всего к нашему знанию характера и личности. Наши субъективные переживания далеки от того, чтобы дать нам адекватную картину нашей собственной персоны, в то время как другие часто распознают ее главные черты за несколько минут.

Я не считаю то, что *сообщают* нам другие люди, информацией, которая заслуживает нашего полного доверия в этом отношении, – как если бы их утверждения могли быть

³³ “Ты старше, чем Я; Ты признано священным, но ещё не Я: оттого жмётся человек к ближнему”. // Ницше Ф. Так говорил Заратустра. [О любви к ближнему]. Перевод — Ю. М. Антоновского под редакцией К. А. Свасьяна. – А. А.

приняты за описания фактов их опыта. По большей части люди не говорят о своих переживаниях как таковых. К тому же мы часто приписываем им напыщенность или сдержанность, дружелюбие или холодность, когда они ни слова не говорят о своих чувствах. В чужой стране мы часто и без труда распознаем, что другие ведут себя вызывающе или любезно, хотя их язык может быть нам совершенно неизвестен. Даже когда мы понимаем слова других людей, то, *как* они это говорят, все равно может быть более информативным сигналом, чем смысл их слов как таковых. В некоторых ситуациях красноречивое молчание может сказать нам больше, чем любое количество заявлений, которые могли бы быть сделаны в данных обстоятельствах. Поведение обезьян показывает, что обычно они достаточно хорошо понимают друг друга, хотя у них нет языка в том значении, которое мы, люди, вкладываем в это слово. По этим причинам язык как сообщение смыслов посредством слов и предложений вряд ли будет полезен нам в последующем обсуждении. Я убежден, что мы, тем не менее, сможем продуктивно рассмотреть релевантные аспекты нашей проблемы.

Ответ, который философы дали на наш вопрос, хорошо известен: так как я не могу непосредственно воспринимать то, что переживает другой человек, единственное доказательство существования у него психических процессов приходит ко мне от его тела. Более конкретно, именно события на поверхности этого объекта дают мне такую информацию. Но события такого рода, конечно, не имеют ничего общего с реальными переживаниями другого человека. Таким образом, единственная связь между моим доказательством и этими переживаниями (которые остаются ненаблюдаемыми) является косвенной. Она базируется на том, что специфические переживания имеют тенденцию сопровождаться столь же специфическими “выразительными” изменениями тела человека. В первый раз я познакомился с этой связью в моем собственном случае; я обнаружил, что мои различные переживания коррелируются с определенными движениями и другими изменениями в моем теле. После частых повторений это наблюдение побуждает меня мыслить по аналогии, когда я воспринимаю те же телесные события в других. Я начинаю верить, что в их случае эти события могут рассматриваться как признаки соответствующих психических процессов. Из того факта, что эта планета населена живыми организмами, иногда делается вывод, что на другой планете, такой как Марс, которая в некоторых отношениях схожа с Землей, тоже должны быть живые существа. Очевидно, что это вывод того же рода, как и тот, который мы здесь обсуждаем. К сожалению, астрономическая параллель показывает, что выводы такого рода не могут считаться особенно надежными. Не говоря уже о том, что эта теория, по всей видимости, не имеет никакой поддержки в наблюдении. В обычной жизни люди просто не поступают таким образом, хотя они, кажется, очень хорошо понимают своих собратьев.

По этой причине психологи предлагают другое объяснение. Правда, отправную точку они не меняют; это опять-таки утверждение, что мы обнаруживаем наши собственные переживания, сопровождаемые определенными телесными событиями. Но затем они подходят к главному пункту, в котором психологическое объяснение расходится с

философской теорией: по мнению психологов, постоянное повторение устанавливает прочные ассоциации между нашими переживаниями и сопутствующими телесными событиями. Как следствие, всякий раз, когда такие телесные события имеют место у других, в памяти сразу будут вызываться соответствующие переживания. Кроме того, такое воспоминание не обязательно заключается в появлении образов и идей; скорее, оно может принимать форму так называемой *ассимиляции*, при которой тот факт, который вызывает воспоминание, выглядит окрашенным, пропитанным вспомнившимся фактом. Ассимиляция уже упоминалась в других главах. Она действует, когда символ + выглядит как знак сложения, когда гроб кажется пропитанным ужасом смерти, а флаг выглядит впитавшим в себя особые достоинства страны. Точно так же, говорят нам, телесные изменения, наблюдаемые у других, теперь кажутся пропитанными переживаниями, которые мы часто испытывали, когда эти изменения происходили у нас самих. В результате на лицах других людей мы можем разглядеть дружелюбие, а в крике животного услышать настоящий гнев.

Мне вряд ли нужно еще раз указывать на то, что это эмпирическая теория, и что к ней следует относиться с осторожностью. Если бы она была верной, мы оказались бы неспособными понять любое поведение, которое не часто встречалось у нас самих. Факты, похоже, не согласуются с этим выводом. Неужели мы совершенно неспособны понять других как людей, которые полностью отличаются от нас? Особая мужественность Дугласа Фэрбенкса³⁴ раньше очень впечатляла меня, хотя, к сожалению, я не мог проявить ничего сопоставимого. С другой стороны, иногда я вижу на лице другого человека выражение такой отталкивающей жадности, для которой у меня едва ли есть аналоги в моем собственном опыте.

Философская интерпретация “социального понимания” была не менее эмпирической, чем его психологическое объяснение. Почему в обоих случаях считается само собой разумеющимся, что наше понимание других должно быть всецело косвенным процессом? Очевидно и философы, и психологи предполагают, что характеристики психических процессов, с одной стороны, и характеристики наблюдаемого поведения, с другой, различаются во всех отношениях. При этом допущении единственно возможным отношением между фактами первого и второго рода будет внешнее, хотя и регулярное, сопутствование, и эмпирические следствия напрашиваются сами собой. Но если бы это допущение было верным, мы могли бы без труда отделить в наших впечатлениях о других людях такие ингредиенты, которые имеют свой источник в наших собственных психических переживаниях прошлого, от тех компонентов, которые являются просто фактами поведения. Несравнимые факты не могут объединяться в неподдающиеся анализу “единицы”. Но если на дружелюбно выглядящем лице мы пытаемся отделить дружелюбие от характеристик лица как такового, мы найдем эту задачу крайне трудной. Пока мы рассматриваем лицо в целом, а не

³⁴ Дуглас Фэрбенкс – американский актёр, одна из крупнейших звезд эпохи немого кино. – А. А.

как мозаику цветowych пятен, дружелюбие, похоже, остается неотъемлемой характеристикой лица.

Мы изложили допущение, которое приводит к эмпирическим интерпретациям социального понимания. Но почему это допущение было почти общепринятым? Почему теоретики исходят из предположения, что психические процессы и сопровождающие их факты поведения не имеют ничего общего? Ответ достаточно очевиден. Согласно Декарту и многим другим философам, вещество и события в природе отличаются *toto genere*³⁵ от содержания и процессов психического мира. Немногие доктрины повлияли на современную мысль так сильно, как этот тезис. К сожалению, это также относится к ситуации, которую мы здесь обсуждаем. Поведение других людей, как утверждалось, имеет отношение к их телам. Следовательно, факты поведения являются физическими фактами и не могут, *qua* физические факты, иметь ничего общего с психическими процессами.

Из того, что мы узнали в предыдущих главах, должно быть ясно, что этот аргумент ошибочен. По невнимательности термин “факты поведения” употребляется в нем в двух различных значениях. Независимо от того, является ли данный аргумент правильным при применении к поведению как области физических фактов, проблема социального понимания не относится непосредственно к поведению в этом смысле. Она относится, в первую очередь, к фактам перцепции, которые один человек переживает в контакте с другими людьми; ибо и тела, и поведение этих других даны такому человеку только как перцепты и изменения перцептов. Из этого следует, что тезисам о природе физического мира и его отношении к психическим процессам просто нет места при первом рассмотрении нашей проблемы. Очевидно, наш первый вопрос должен заключаться в том, как *воспринимаемое* поведение может помочь человеку понять других людей. При попытке ответить на этот вопрос нам не нужно сразу делать какие-либо предположения о природе физических фактов.

Я, конечно, не отрицаю, что воспринимаемое поведение связано с изменениями, которые происходят на поверхности рассматриваемых организмов, т. е. с реальным поведением. Я также допускаю, что эти телесные, физические изменения более непосредственно связаны с психическими процессами людей, чем те события, которые мы воспринимаем при наблюдении за этими людьми. Тем не менее, поскольку поведение других дано нам только в восприятии, наше понимание других должно, прежде всего, опираться на этот источник. Таким образом, получается, что поведение как область перцептуальных фактов также должно быть нашим первым предметом рассмотрения, когда мы пытаемся решить проблему социального понимания. В конце концов, мы должны помнить, что иногда перцепты говорят нам больше о фактах, чем те события, которые выступают в роли посредников между этими фактами и перцептами (ср. Гл. V, с. 82). Точно так же воспринимаемое поведение может рассказать нам больше о психических процессах других, чем можно было бы заключить из изучения их реального поведения.

³⁵ (лат.) коренным образом. – А. А.

Наша проблема становится особенно интересной, когда она затрагивает более субъективные переживания других, такие как их эмоции и их мысли. Почему-то эти факты имеют тенденцию выражаться в поведении людей, когда мы его воспринимаем. Тогда, действительно ли поведение в этом смысле не допускает никакого сравнения с этими ментальными фактами? Или же ментальные факты выражаются в более специфическом смысле, в котором этот термин подразумевает, что выражение имеет сходство с тем, что выражается? Если бы последняя альтернатива могла быть подкреплена фактами, то главная причина сугубо косвенных интерпретаций социального понимания, очевидно, была бы устранена.

В этих обстоятельствах нашей основной задачей будет сопоставление субъективных переживаний с поведением, одновременно воспринимаемым другими. Впрочем, мы будем продвигаться вперед не спеша. В своем стремлении классифицировать факты человеческого опыта психология обычно подчеркивала различия там, где более тщательное изучение выявляет поразительные сходства. В качестве подготовительной работы мы сначала рассмотрим такие сходства в тех случаях, которые не осложнены субъективным опытом.

Возьмем качества различных ощущений. Долгое время считалось, что эти качества не имеют ничего общего. И все же мы можем указать на различные примеры, которые противоречат этой точке зрения. Яркость и темнота, например, являются атрибутами и слухового, и зрительного опыта. Опять же, если объект, к которому мы прикасаемся, кажется холодным, его холодность почему-то имеет сходство со зрительной яркостью; уютное тепло схоже с темнотой. Я уже упоминал ранее, что немецкое слово *“rauh”* (грубый, шершавый) употребляется для описания некоторых слуховых впечатлений, равно как и для характеристики фактов тактильного опыта. В английском языке не только поверхность, к которой мы прикасаемся, но также звук голоса и вкус вина можно назвать “мягкими” (*“smooth”*). Немецкий поэт Христиан Моргенштерн³⁶ однажды сказал о чайках:

“Die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hiessen”.

(Все чайки выглядят так, как будто имя им Эмма.)

Я нахожу, что Моргенштерн был совершенно прав. Звучание имени “Эмма” и внешний вид этой птицы кажутся мне похожими. Другой пример – мой собственный: когда просят соотнести бессмысленные слова *“takete”* и *“maluma”* с двумя изображениями, показанными на рис. 18 и 19, большинство людей делает это без всяких колебаний.³⁷ В примитивных языках мы действительно находим доказательства тезиса о том, что названия

³⁶ Христиан Отто Йозеф Вольфганг Моргенштерн (нем. Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern; 06.05. 1871 – 31.03. 1914 – немецкий поэт, писатель и переводчик, классик немецкой литературы конца XIX — начала XX веков. – А. А.

³⁷ Ср. также Usnadze, *Psychol. Forsch.*, 5, 1924. [См. Узнадзе Д. Н. Психологические основы наименования // Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М., "Наука", 1966, сс. 5– 26. – А. А.]

воспринимаемых посредством зрения или осязания вещей и событий часто возникали на основе таких сходств.³⁸

После этой подготовительной работы мы можем вернуться к нашей основной проблеме и сравнить субъективные переживания с перцептуальными фактами. В связи с этим будет интересно узнать, какие слова используются для ссылок на субъективные переживания. Большинство людей согласится с утверждением, что если, по сравнению с фовеальным зрением, периферическое зрение можно назвать “нечетким”, то тот же термин применим и к большинству субъективных переживаний; в этом отношении они имеют сходство скорее с фактами периферического, а не фовеального зрения. Но согласившись с этим, мы сделали важный шаг; мы признали, что субъективные переживания имеют, по крайней мере, что-то общее с некоторыми фактами перцепции. Людвиг Клагес (Klages) собрал большую коллекцию слов, которые используются при описании как субъективных переживаний, так и перцептуальных феноменов.³⁹ Приведу лишь несколько примеров. Что-то вызывает в нас “горькое” чувство. Опять же, кто-то говорит, что находится в “мягком” расположении духа. “Сладкая” любовь, кажется, встречается во всех странах, так же как “яркая” радость и “темная” печаль. В гневе есть то, что многие называют “горячим” (“холодный” и “горячий” гнев).

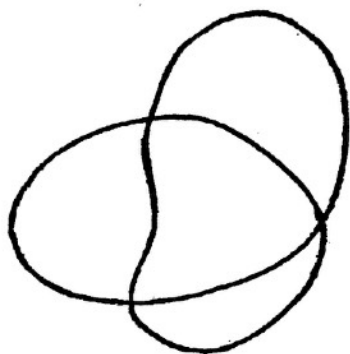


Рис. 18

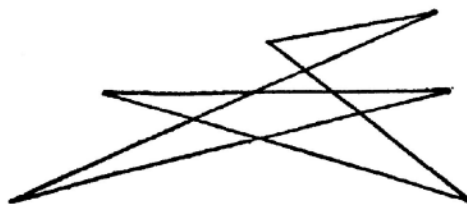


Рис. 19

³⁸ E. von Hornbostel, *Festschrift Meinhof*, 1927.

³⁹ L. Klages, *Vom Wesen des Bewusstseins*, 1921.

Часто рассматриваемые нами термины приписываются более *динамическим* характеристикам. Так, ожидание можно назвать “напряженным” – выражение, в котором субъективный опыт сравнивается с тем, что мы чувствуем прикасаясь к туго натянутой струне. Определенный образ мышления выглядит в нашем представлении “прямым”, и всем сразу понятно, что подразумевается, когда этот термин употребляется в таком контексте. “Покой” и “беспокойность” наблюдаются, конечно, в зрительных полях; но часто те же самые термины применяют к фактам субъективного опыта. Опять же бывает, что нас “тянет” к чему-то или, наоборот, что-то нас “отталкивает”. Иногда наши помыслы “высоки”, хотя временами они бывают “низкими”. У читателя не возникнет трудностей с продолжением этого списка.

Некоторые люди отказываются делать какие-либо выводы из таких фактов. Они говорят, что из простых аналогий нельзя вывести ничего существенного. Однако я не могу принять это в качестве аргумента, ибо то, что мы имеем в виду под аналогией, несомненно является определенным видом сходства. Кроме того, когда субъективным переживаниям даются названия, которые также применяются к фактам перцепции, это не происходит случайным образом. Если одно такое название применяется только к специфическим субъективным феноменам, а второе – только к столь же специфическим, но другим феноменам, то должен существовать принцип, регулирующий эти различные употребления. Этот принцип также должен действовать, когда в живом описании внутренних фактов кто-то изобретает такой новый перенос терминов, и еще раз, когда другие понимают, что он имеет в виду. Единственный принцип, который я смог обнаружить, заключается в следующем: определенные переживания внутреннего и перцептуального миров имеют сходство друг с другом.

Теория эмоциональной жизни Джеймса-Ланге утверждает, что эмоциональные переживания *являются* сенсорными фактами, а именно, смутными впечатлениями, которые берут начало в наших мышцах, внутренних органах и т. д. В этой теории может быть доля истины. Но, как мне кажется, нецелесообразно связывать наш нынешний аргумент с этой или любой другой теорией. Вполне можно признавать, что некоторые перцептуальные и эмоциональные факты схожи друг с другом, и все же не спешить постулировать их тождественность. Кроме того, последующее обсуждение, конечно же, будет касаться перцептуальных характеристик, которые демонстрирует поведение других людей. По большей части эти характеристики являются зрительными и слуховыми феноменами, которые не играют никакой роли в теории Джеймса-Ланге. Таким образом, у нас нет причин обременять наше исследование аргументами “за и против” этой теории эмоций.

Пока мы знаем только, что в принципе факты внутренней жизни и факты перцепции могут иметь некоторые общие черты. Главный вопрос, на который нам предстоит ответить, является, однако, более конкретным: может ли поведение человека, в том виде как оно воспринимается другими, иметь сходство с психическими процессами этого человека? Теперь я опишу несколько примеров, в которых наблюдение, как мне кажется, дает четкий ответ на этот вопрос.

В моем присутствии двое российских ученых говорят на своем языке о проблеме, относительно которой они давно разошлись во мнениях. Я могу наблюдать их поведение как совокупность зрительных и слуховых фактов, но я не могу понять их слов. Какое-то время эта

сцена спокойна. Внезапно, однако, голова человека (слева от меня) отклоняется назад, как если бы ее что-то оттолкнуло; с этого момента и тон его голоса, и линии его лица выражают определенную твердость. Вскоре меняется и поведение другого; у меня возникает соблазн применить к нему музыкальный термин *крещендо*.⁴⁰ Тот же самый феномен теперь начинает наблюдаться у человека, находящегося с левой стороны. Он тоже действует и говорит все более и более напряженно, так что вся наблюдаемая сцена подходит к пику возбуждения. Но неожиданно я замечаю, что человек справа от меня смотрит на висящий на стене плакат, – и на его лице появляется улыбка. Он что-то говорит своему коллеге, который теперь тоже смотрит в том же направлении. После секундного колебания его лицо оживляется легкой улыбкой, выражение непреклонности исчезает, и в течение нескольких секунд эта сцена становится такой же спокойной и мирной, какой она была в самом начале.

По счастливому стечению обстоятельств эти ученые знают мой язык и готовы объяснить мне, что произошло. Человек слева от меня говорит, что спустя какое-то время после начала дискуссии отдельные слова другого человека, которых он от него не ожидал, были восприняты им как личный выпад, и что в результате он поначалу почувствовал желание полностью уйти от обсуждения. Человек справа от меня сообщает, что неожиданно для него на лице другого человека появилась твердость, как если бы он не хотел слушать дальнейших аргументов, и что под этим впечатлением он, человек с правой от меня стороны, не мог не чувствовать нарастающего у себя раздражения. Человек с левой стороны от меня теперь признается, что постепенно и его охватило сильное раздражение. В конечном счете, мне объясняют, что плакат на стене – это русский перевод выражения “Keep smiling”. Так как этот совет оказался полезным, ученые вскоре нашли свой способ вернуться к более спокойному душевному состоянию.

Вряд ли можно отрицать, что в этом случае воспринимаемое поведение двух людей и их субъективные переживания имеют некоторые общие черты. Как я их вижу, двое ученых образуют группу, члены которой направляют всю свою активность друг на друга. Субъективно, каждый чувствует, что он направляет свои заявления против другого, или что он защищается от аргументов другого. Опять же, отклонение назад человека с левой стороны от меня показывает, как воспринимаемый зрением факт, насколько его поражает враждебное замечание другого человека, а появление твердости на его лице отображает жесткую, непреклонную внутреннюю установку, которую он принимает как следствие. Наступающее затем эмоциональное *крещендо* у обоих прямо выражается в зрительном и слуховом *крещендо* их поведения, как я воспринимаю его. Позже я вижу, что оба смотрят в направлении плаката – что они фактически и делают в это время. Наконец, я и вижу, и слышу, как возвращается спокойствие, наряду с тем, что их эмоции действительно утихают.

Урок, который можно извлечь из этого примера, применим далеко за пределами данного случая. Многие динамические события в субъективном опыте имеют тенденцию

⁴⁰ Крещендо (итал. *crescendo*) — музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука. – А. А.

выражаться в формах воспринимаемого поведения, которые, в известной степени, схожи с этими событиями. Вообще-то и эмоциональным, и интеллектуальным процессам присущи характеристики, которые нам также известны из музыки, т. е. из слухового опыта. *Крецендо* и *диминуэндо*, *аччелерандо* и *ритардандо* – очевидные тому примеры. Но эти термины применимы не только к слуховым фактам, но и к зрительно воспринимаемым событиям. Следовательно, когда такие динамические характеристики имеют место во внутренней жизни человека, они могут быть наиболее адекватно представлены в его поведении как слышимые и видимые другими. И действительно, это случается все время. Когда кому-то напоминают о несправедливости, от которой он пострадал, он вероятно будет, по мере того как его возмущение растет, ходить туда-сюда все энергичнее и быстрее. Так нарастающие темп и интенсивность его эмоционального мышления правильно отображаются в *аччелерандо* и *крецендо* его движений, как их видят другие. Естественно, то же внутреннее возмущение может выражаться в *аччелерандо* и *ринфорцандо* вокального поведения. Или понаблюдайте за человеком по утрам. Иногда его движения ровны и спокойны, но бывает, что его лицо и руки выглядят дергаными и беспокойными. В первом случае ему не нужно говорить вам, что он здоров и спокоен, а во втором – что он испытывает беспокойство; можно сказать, обе внутренние ситуации для вас совершенно очевидны. Аналогично, колебания и неопределенность имеют тенденцию сопровождаться формами поведения, которые, как перцептуальные факты, схожи с этими внутренними состояниями. Наблюдатель может, например, видеть движения в различных направлениях, каждое из которых замедляется едва начавшись, а их последовательность лишена унитарной организации. Кроме того, до тех пор, пока люди не находятся в сильно заторможенном состоянии, любое резкое нарушение непрерывности их переживаний, вероятно, будет сопровождаться внезапными событиями в их воспринимаемом поведении. Когда нас что-то внезапно пугает, мы отскакиваем назад или бросаемся бежать. А когда человек испытывает озарение, благодаря которому к нам иногда приходят новые идеи, он может остановиться в середине фразы, а может хлопнуть себя рукой по голове. Таким образом, его психические процессы и то, как он виден в глазах других, демонстрируют то же самое нарушение непрерывности. Часто поведение человека видится нам организованным в некий целостный акт, который соответствует организации его реального планирования и исполнения. Действия, которые вытекают из одного определяющего источника, имеют тенденцию выглядеть для нас одним связным потоком зрительных фактов. С другой стороны, когда действие переживается его субъектом как состоящее из относительно сегрегированных частей, такое же сочленение, вероятно, будет характеризовать его воспринимаемое поведение. При обсуждении нашей проблемы философы и психологи, возможно, слишком много внимания уделяли выразительным движениям, которые сопровождают *эмоции*. Во всяком случае, ими были практически проигнорированы столь же релевантные факты: поведение в самом практическом, основанном на опыте, смысле этого слова имеет тенденцию восприниматься организованным

в формы, которые копируют организацию соответствующих внутренних событий. Читатель найдет дополнительные примеры в книге, в которой я описал поведение обезьян.⁴¹

Теперь я обращаюсь к наблюдениям несколько иного рода. При направлении на что-то объективного, да и субъективного опыта тоже, может иметь место *напряжение*. Например, если мое внимание привлекает необычный объект, такой как змея, то это направление себя на такой объект сопровождается чувством напряжения. Естественно, человек, которому случилось при этом присутствовать, увидит мое лицо и мои глаза, направленные к месту нахождения этого объекта; но в напряжении моего лица он также получит зримую картину моего внутреннего напряжения; и это напряжение будет отнесено к тому же месту. Возможно, кто-то возразит, что между моим лицом и змеей нет никаких стимулов, на которых могла бы основываться перцепция отнесенности напряжения. Это возражение ошибочно, поскольку игнорирует факты зрительной группировки. Когда кто-то видит, что мои глаза смотрят в определенном направлении, – а в этом отношении человеческие глаза удивительно выразительны, – части поля, которые лежат в этом направлении, будут немедленно связаны с моими глазами, моим лицом и всей моей персоной. Такого рода группировка не более загадочна, чем случаи образования групп, которые обсуждались в предыдущей главе. Это остается в силе и для тех случаев, когда взор человека направлен в сторону от объекта. Здесь снова отнесенность взора может быть совершенно очевидной в зрительном поле наблюдателя. В качестве примера приведу следующие фразы, взятые из описания известного эксперимента:

“Он начал тянуться к голове животного указательным пальцем левой руки, но внезапно отдернул руку до касания”.

[Ребенку дают шерсть в бумажном пакете.]

...“Затем он начал играть с бумагой, избегая контакта с самой шерстью”.

Обе фразы содержатся в докладе доктора Уотсона (Watson) о его экспериментах с маленькими детьми.⁴² Первое утверждение означает, что движение пальца видится как направленное к животному; никакое другое толкование не может быть дано выражению “тянуться” (“to reach for”). Объективные методы наблюдения, в понимании этого термина Уотсоном, не выявили бы, конечно, никакой физической связи между реальным пальцем и реальным животным. Тем не менее, этот автор, – который питает отвращение к самому понятию опыта, – оказывается здесь под таким сильным влиянием факта зрительной группировки, что на мгновение забывает свои бихевиористские аксиомы и формулирует сообщение в терминах, которые имеют смысл только с точки зрения перцептуального опыта. На самом деле, он делает еще худшие вещи; потому что, используя выражение “тянуться”, он принимает точку зрения целевой психологии. Во втором утверждении те же замечания применимы к словам “избегая контакта с”. Очевидно, что если кто-то “избегает контакта” с

⁴¹ *The Mentality of Apes*, 1925.

⁴² *Psychologies of 1925*. 1926

объектом, или если он “тянется” за вещью, то соответствующие психологические факты превосходно отображаются в перцептуальном поле наблюдателя.

В последних нескольких примерах именно пространственная, а не временная сторона воспринимаемого поведения обнаруживает сходство с внутренними переживаниями человека. В качестве еще одного такого примера можно упомянуть, что люди в состоянии патологической депрессии принимают поникшую позу (*drooping carriage*), похожую на позу нормального человека во время крайней усталости или переживания глубокого горя. Прямо противоположное мы видим у пациентов, испытывающих чрезмерную эйфорию или излишне приподнятое настроение. Их тела часто выглядят распрямленными и устремленными вверх, а в одном случае, который однажды описал Пьер Жане (*Janet*), пациент начал ходить на носочках. Все это яркие визуальные факты, которые прямо отображают психические состояния.

Многим читателям будет не лишне познакомиться со следующим примером, который я беру из социальной психологии. Человек на руководящей должности, для которой он, возможно, слишком добродушен, привык относиться к своим подчиненным как к друзьям. Когда ему с неизбежностью приходится выносить одному из них серьезное порицание и чувствовать, что на этом их дружеские отношения заканчиваются, такой человек может стать объектом наблюдения, наводящим на очень интересные размышления. Если ему еще ни разу не приходилось делать это в предыдущих случаях, у него будут громадные трудности в произнесении решающих слов. Несмотря на его серьезные намерения, вместо таких слов, которые без оценок вскрывают суть сложившейся ситуации, он скажет о ней обтекаемо. Если другой человек достаточно чувствителен, он может догадаться о реальном содержании послания руководителя из того, что он слышит; но то, что фактически сказано, оставляет нечто вроде завесы вокруг сути проблемы. Воспринимаемое со стороны, поведение этого руководителя рисует нам картину переживаемого им смятения. Он прекрасно знает, что ему следует делать, но социальные факторы мешают ему вести себя полностью в соответствии с этой программой. Можно увидеть, как он ходит взад и вперед перед другим человеком, так как постоянно ощущает себя сбившимся с прямого курса. Когда он останавливается, стоит понаблюдать за его глазами. В чувствительной игре глаз не только внутренний выбор направления, но и трудности человека заметить намного легче, чем в чем-либо еще. Конечно, довольно легко смотреть прямо в глаза человеку, когда говоришь ему приятные вещи, даже если не совсем веришь в свои слова. В этом случае социальные силы не оказывают сопротивления, наоборот, они действуют именно в этом направлении. Но попробуйте смотреть в глаза другого, когда вы сообщаете ему то, что должно подействовать на него как социальное потрясение. Для некоторых людей это чрезвычайно трудная задача, особенно если в прошлом публичные отношения были очень дружественными. Человек в нашем примере может твердо намереваться смотреть в глаза другого, но при этом его глаза будут останавливаться, к примеру, то в области рта, то в области носа; или, если его глаза действительно встретятся с глазами другого человека, они сразу же будут отведены в сторону.

Подобно переживаниям этого руководителя, чувствующего, что он уходит в сторону от своих намерений и избегает сделать решительный шаг в своих словах, его поведение демонстрирует устойчивое отклонение от объекта, на который он направлено, и особенно от глаз другого человека, где, по-видимому, находится самый центр его как персоны.

Причина, по которой подобные сходства остаются для психолога неизвестными фактами, вероятно, кроется в аналитической тенденции нашей науки. До тех пор, пока мы думаем о перцептуальных ситуациях с точки зрения локальных нюансов яркости, цвета и т. д., мы не найдем поддержки взгляду, что поведение имеет тенденцию походить на ментальные факты. Но если мы посмотрим на поведение более наивным взглядом и позволим группировке, направлению, напряжению и т. п. вызвать у нас те впечатления, которые они обычно вызывают в нашей жизни, тогда такой взгляд больше не будет удивлять нас.

Теперь самое время сказать несколько слов о генетической стороне нашей проблемы. *Почему* воспринимаемое поведение человека часто имеет сходство с психическими процессами этого человека? Во многих случаях ответ достаточно прост. Возьмем такой пример: во время исполнения сонаты пианист живет в потоке четко организованных динамичных событий. В ходе переживания своей собственной игры в один момент времени он заканчивает одну музыкальную фразу и мгновение спустя начинает следующую; он начинает с *крещендо* как эренфельсовой характеристики одного музыкального события и переходит к *ритарданто* как эренфельсовой характеристики другого. Так вот, какими бы ни были законы двигательной иннервации, импульсы, которые направляются к его мышцам, несомненно, зависят от организации музыки в том виде, как она звучит в его голове. С точки зрения физики результат его игры состоит из распространяющихся в воздухе звуковых волн, представляющих собой неорганизованные последовательности взаимно независимых колебаний. Тем не менее, в этих волнах остается нечто такое, что в целом оказывается достаточным для адекватной организации того, что слышит аудитория. Там, где он намеревается сыграть *крещендо*, его игра приводит к последовательности волн возрастающей интенсивности. У его слушателей это порождает унитарное слуховое событие, которое опять-таки обладает эренфельсовым качеством “нарастания” (“swelling”). Там, где пианист заканчивает фразу, а затем начинает новую, он задает звуковым волнам такие отношения темпоральной близости, интенсивности и т. д., которые, вероятно, устанавливают такое же соединение звуков в слуховых полях людей в концертном зале. Ситуация примерно такая же, как и в случае материальных объектов, которые в зрительном опыте выглядят отдельными, обособленными вещами. Хотя отражаемые этими объектами световые волны и, следовательно, воздействующие на сетчатку стимулы никак не организованы, формальные отношения между этими стимулами хорошо сохраняются в процессе их передачи. Вследствие этого организация имеет тенденцию создавать “правильные” вещи в перцепции. Однако в данном нашем примере организация идет дальше в восстановлении определенных фактов, чем в случае восприятия объектов; ибо то, что слышит аудитория, имеет тенденцию согласовываться не только с нервными процессами пианиста, но и с его музыкальными

интенциями и действиями как психологическими фактами. Для того чтобы понять этот этап развития ситуации, мы должны вспомнить заключительные замечания главы II. Когда пианист исполняет музыкальную фразу как унитарное событие, можно ли допустить, что соответствующие процессы мозга составляют функциональную “единицу”? Или мы должны предположить обратное? Там, где в его переживании заканчивается эта фраза, а затем начинается новая, можем ли мы считать, что соответствующие процессы в мозге этого человека постоянно сцеплены? Или все же должны исходить из того, что темпоральная организация этих процессов также демонстрирует разрывность? Гештальтпсихология постулирует, что в обоих случаях физиологическая организация является такой же, как и ментальная организация. Это суждение остается в силе по отношению ко всем другим фазам организации. Следовательно, через иннервацию возбуждение переносит на мышцы пианиста организацию, которая имеет много общего у его психических процессов и их мозговых коррелятов. Таким способом устанавливаются формальные отношения между появляющимися в результате звуковыми волнами. Но и слуховая организация у людей, которые слушают музыку, зависит от таких отношений. Следовательно, их переживания имеют тенденцию организовываться в соответствии с организацией ментальных процессов у пианиста.

Даже если все это верно, разве наше понимание других людей не остается косвенным процессом? Разумеется, когда мы видим и слышим их, другие люди часто могут демонстрировать особенности поведения, которые имеют сходство с их внутренними переживаниями. Тем не менее, из этого вовсе не следует, что такие перцептуальные факты тождественны внутренним переживаниям этих людей. Поэтому на данном этапе нынешний анализ, как может показаться, не предлагает лучшего решения нашей проблемы, чем предложенные ранее другими. Нам вроде бы по-прежнему необходим заключительный шаг – умозаключение, ведущее от определенных фактов перцептуального опыта к ментальным процессам других. Сходство может облегчить такое умозаключение, но логический вывод или какой-либо другой косвенный процесс кажется необходимым при любых обстоятельствах.

Теперь я попытаюсь объяснить, почему я не могу принять эту аргументацию. При этом я буду вынужден защищать определенную форму бихевиоризма – хотя и не тот бихевиоризм, который обсуждался в главе I.

Если, однажды вечером, я думаю о встречах с другими людьми, которые у меня произошли в течение дня, я нахожу, что по большей части у меня не возникало каких-то особых трудностей с пониманием этих людей. И, тем не менее, я уверен, что во время этих встреч я едва ли занимался анализом их внутренних переживаний *per se*. Теперь, когда я думаю об этом, я, конечно, могу попытаться и намеренно воссоздать картины того, как мистер X и миссис Y, вероятно, чувствовали себя в том или ином случае. Я могу также сделать эту попытку и тогда, когда я на самом деле нахожусь рядом с этими людьми. Но пытаюсь сделать это, я быстро понимаю, что это совершенно непривычная, чуждая мне процедура; очевидно, что я редко делаю что-либо подобное в обычной социальной жизни. Более того,

предпринимаемые для этого усилия, как правило, мешают пользоваться тем способом, каким я обычно понимаю людей, и который, как мне кажется, часто работает гораздо лучше. Пытаясь понять их таким способом, я концентрируюсь главным образом на голосах людей и их внешности; а когда они говорят, то, естественно, и на содержании их высказываний. Но опять же, я редко перевожу содержание этих высказываний на язык субъективного опыта. Скорее всего, именно их слова как таковые передают мне смысл того, о чем идет речь. Кажется, я всегда забываю сделать последний шаг, посредством которого мы, предположительно, проникаем во внутреннюю жизнь других людей.

Наш анализ относится к пониманию в том виде, как оно происходит при обычных обстоятельствах. В данный момент мы не касаемся эпистемологических вопросов, которые философ поднял бы в этой связи; не затрагиваем мы здесь и те способы, которыми психолог попытался бы исследовать психические процессы других. Рассматриваемые нами факты социальной жизни наблюдаются в отсутствие каких-либо теоретических концепций. Для теоретика, который строго разводит данные перцепции и факты субъективного опыта других, шаг от первых к последним может казаться совершенно необходимым, если люди хотят понять друг друга. Но в обычной жизни мы не обращаем внимания на философские предпосылки, которые приводят к этому убеждению. В повседневной жизни мы, прежде всего, наивные реалисты. Нам и в голову не приходило рассматривать окружающие нас вещи как просто перцептуальные копии физических вещей. Это также верно в отношении особых объектов, которые мы называем другими людьми. Как следствие, все характеристики, наличию которых вещи и люди обязаны перцептуальной организации, обычно воспринимаются как характеристики этих вещей и людей как таковых. Но мы также игнорируем и второе отличие: мы не проводим четкую разграничительную линию между субъективными феноменами в более узком смысле этого слова и такими перцептуальными фактами, которые образуют человеческие тела. В конце концов, почему мы должны это делать? В нашем собственном случае многие субъективные переживания, кажется, нечетко локализируются в наших телах, и часто практически сливаются с некоторыми из их перцептуальных характеристик. Во многих случаях чрезвычайно трудно решить, является ли данный субъективный факт аффекцией нашего тела или нас самих в более ограниченном смысле. Почему иную точку зрения следует принимать в отношении тел других? Эти тела тоже часто проявляют характеристики, которые в некоторых отношениях в точности похожи на субъективные феномены. Таким образом, до тех пор, пока эпистемологические опасения не вступают в силу, мы принимаем как должное, что направление, напряжение, усилие, возбуждение и т. д. других людей проявляются в их (или на их) телах.

Это, по-видимому, и служит причиной того, что в социальных контактах повседневной жизни редко совершается заключительный шаг от перцептуальных фактов к психическим процессам других людей. С точки зрения наивной феноменологии нет надобности его совершать. Если я говорю о спокойствии человека, находящегося передо мной, я ссылаюсь на воспринимаемый мной факт. Это “спокойствие”, похоже, является состоянием того же сорта,

которое я сам иногда обретаю, а иногда не могу обрести. При обычных обстоятельствах меня не интересует любое другое спокойствие, которое может быть приписано данному человеку. Точно так же, если этот человек “начинает горячиться”, видимое и слышимое мной *крещендо* не является, конечно, нейтральным сенсорным фактом; наоборот, динамика этого перцептуального события *представляет собой* или *содержит* то, что я называю возбуждением данного человека. Я не спрашиваю себя, сопровождается ли эта впечатляющая демонстрация чем-то относящимся к иному миру. Такой вопрос может возникнуть только тогда, когда я принимаю изощренную установку, с которой философы и психологи подходят к такой ситуации. Конечно, в повседневной жизни я никогда не принимаю этой установки. Опять же, когда я сознаю “колебание” других людей, их “беспокойство”, “решимость” или “уныние”, “уклонение от чего-то” или “стремление добиться чего-то” и т. д., у меня редко возникает соблазн выйти за рамки перцептуальных фактов как таковых, – которые, повторяю, вовсе не являются нейтральными фактами. Когда я по обыкновению употребляю такие слова, они относятся к событиям в перцептуальном пространстве.

Позволю себе предложить читателю провести простенькое наблюдение, прежде чем он возьмется критиковать эти мои утверждения. Совсем не сложно смутить другого человека. Я предлагаю читателю сделать это и, если ему это удастся, спросить себя, является ли смущение другого человека перцептуальным фактом или чем-то таким, что происходит в ином мире. Конечно, во время наблюдения читателю придется воздержаться от любых философских соображений.

Один существенный момент в этом анализе требуется усилить или, если хотите, усложнить. Утверждая, что обыденное социальное понимание опирается на определенные перцептуальные события, мы, казалось бы, вынуждены были исходить из того, что такие события происходят только на поверхности тела другого человека. И все же такое допущение при феноменологическом описании не всегда было бы полностью оправданным; ибо бывает, что события, о которых идет речь, иногда появляются из внутренней области тела. Противоречит ли это замечание нашему анализу? Ответ вытекает из другого вопроса. Что представляет собой “эта внутренняя область”, из которой, предположительно, появляются такие события? Очевидно, это внутренняя область тела как перцептуальной данности. Тогда, если события появляются из объемной области, окруженной определенной поверхностью, эта объемная область и ограничивающая ее поверхность явно принадлежат одному и тому же миру, – который в данном случае является миром перцептуальных фактов. Таким образом, это все еще тело как перцепт, из внутренней области которого всплывают такие события. Следовательно, сделанное выше замечание полностью совместимо с нашим описанием социального понимания.⁴³

⁴³ Можно было бы спросить, как событие может появиться перед нами из внутренней области тела, когда эта область невидима. Подобные факты “трансценденции” (преодоления границ) отнюдь не редки в перцепции. Так как эта проблема касается перцепции вообще, а не только исследуемого здесь частного вопроса, мы не можем обсуждать ее здесь.

Наш анализ имеет одно следствие, о котором до сих пор не упоминалось. Если организм человека способен эмитировать стимулы, порождающие перцептуальные факты с “психологическими ингредиентами”, то нет причин, почему стимулы, приходящие из других источников, никогда не смогли бы вызвать аналогичные эффекты. Очевидно, изображения людей, особенно тех, которых мы видим движущимися на киноэкране, отвечают всем необходимым условиям. Но помимо таких банальных примеров, есть и другие события и объекты, которые производят на нас впечатление тем же способом. Мало кто способен воспринимать на слух грохочущее *крещендо* далеких раскатов грома как нейтральный сенсорный факт; они звучат “грозно” для большинства из нас. Как факт перцепции, разные виды погодных явлений так же производят на нас впечатление наполненных психологическими характеристиками.⁴⁴ Так, мы говорим о “тихих” и “беспокойных”, о “угрюмых” и “приветливых” днях. Такие слова также употребляются по отношению к ландшафтам, облику улиц в городах и селах, и т. д. Повторюсь: если бы только живые существа и их изображения демонстрировали подобные “характеристики Эренфельса”, это стало бы неожиданным и, более того, серьезным основанием для возражения против нашего общего аргумента. И наоборот, частое появление подобных феноменов в других частях перцептуального мира подтверждает наш тезис о том, что нет никакой нужды привлекать для этого интерпретации в терминах субъективных переживаний. Современный человек не приписывает такие переживания грозе или ландшафту; и все же он слышит угрозу в раскатах грома и видит приветливость в определенных ландшафтах.

Должен признать, что иногда проблема социального понимания все же представляет трудности, которые невозможно устранить на основе нашего нынешнего анализа. Видимо, поведение не всегда имеет сходство с внутренними переживаниями, которые оно сопровождает. Является ли смех, слышимый другими, адекватным выражением субъективных событий, происходящих у смеющегося человека? Мне трудно ответить на этот вопрос. Если бы правильный ответ был отрицательным, то один раз, в виде исключения, пришлось бы принять во внимание косвенные интерпретации понимания. Однако, учитывая факты, которые мы здесь рассмотрели, такие интерпретации пришлось бы существенно скорректировать. Ибо если наши описания верны, т. е., если понимание часто является совершенно прямым, то любое расширение этого прямого понимания за счет косвенных процессов пойдет в более или менее предписанном направлении. В частности, прямое понимание будет влиять на косвенное понимание и в негативном, и в позитивном смысле. Факты прямого понимания будут сопротивляться всем косвенным усложнениям, которые не согласуются с этими фактами; и они будут облегчать любые косвенные дополнения, которые точно соответствуют их собственной тенденции.

⁴⁴ В этом случае все несколько сложнее. Погода влияет на нас не только через стимуляцию органов чувств и последующую перцептуальную организацию, но и более прямым биологическим способом.

Помимо случаев, когда воспринимаемое поведение не имеет сходства с переживаниями человека, прямое понимание как таковое имеет свои ограничения. Мы не можем утверждать, что внутренняя жизнь человека полностью раскрывается в его поведении. Большинство людей начинают маскироваться с ранних лет, особенно тщательно скрывая от чужих глаз и ушей свою эмоциональную жизнь и мотивации. Актеры, пианисты, певцы и лекторы редко демонстрируют страх перед публикой, хотя среди них немало тех, кто его испытывает. Конечно, спокойствие, которое было обретено только как социальная маска, иногда не выглядит убедительным, просто потому, что оно требует усилий. Но вряд ли стоит сомневаться, что бесчисленные проходящие во внутренней жизни человека события остаются полностью скрытыми в то время, когда он находится в обществе других людей. Было бы весьма удивительно, если бы стимулы, исходящие из человеческого организма, всегда имели результатом полностью адекватную перцептуальную репрезентацию этих событий. Многие будут часто теряться и искажаться. Ведь функциональная связь между внутренними процессами одного человека и их перцептуальными последствиями у другого составляет чрезвычайно сложную причинно-следственную цепочку.

Утверждая, что обыденное социальное понимание происходит по большей части так, как здесь описано, мы не определились в том, может ли понимание в этом смысле использоваться в качестве источника данных в психологической работе. Казалось бы, ответ на этот вопрос должен быть строго отрицательным. Разве мы не убедились, что даже гром, погода и пейзажи демонстрируют факты такого рода? В этих случаях такие факты никто не примет в качестве данных о психологических процессах. Поэтому, кажется, мы не можем на самом деле полагаться на “прямое понимание”. Хотя этот аргумент выглядит довольно впечатляюще, я не могу счесть его полностью убедительным. Не так уж мало перцептуальных фактов касательно цвета, формы, движения и т. д. периодически используются в естествознании; тем не менее, хорошо известно, что цвет, форма и движение воспринимаемых объектов часто подвержены влияниям, которые, в таких условиях, делают эти факты бесполезными для ученого. По этой причине им доверяют только в предварительном порядке и, за известными всем исключениями, к ним вообще не обращаются в реальных измерениях. В связи с нашим вопросом представляется целесообразным последовать, *mutatis mutandis*, этому примеру, т. е. доверять непосредственному пониманию в том виде, как оно здесь описано, до тех пор, пока в конкретной ситуации не возникает повода для сомнений. Если бы мы полностью отказались от его свидетельств, мы могли бы легко упустить из виду факты, которые ускользают от более ортодоксальных методов психологии. Однако психологу не следует опираться на понимание в нашем смысле, если он не в полной мере осознает его подводные камни.

Эти замечания, конечно, не относятся к прямому пониманию как удивительной фазе *перцепции*. Лишь немногие перцептуальные факты представляют такой интерес, особенно для социального психолога; но именно этим немногим фактам психологи почти единодушно отказывали во внимании.

АССОЦИАЦИЯ

Если бы мы не уделяли должного внимания непосредственному опыту, то подверглись бы большому риску построить искусственно упрощенную систему психологии, такую как система бихевиоризма. Впрочем, очевидно невозможно развивать психологию как науку исключительно о непосредственном опыте. Для этой цели область опыта слишком ограничена. Совершенно очевидно, что события в нервной системе, которые сопровождаются опытом, являются лишь частями более крупных функциональных структур. В качестве таких частей они зависят от фактов, к которым опыт как таковой не имеет прямого доступа. Как можно претендовать на создание адекватной теории психологических событий только на основе опыта, если процессы, лежащие в основе этого опыта, представляют собой не более чем ограниченную сферу активности в пределах большего функционального целого? Никто не способен понять игру в шахматы, наблюдая только за ходами в одном углу доски.

В последнем случае наблюдатель вскоре начинает сознавать, что все это время важные события происходят за пределами узкого поля его наблюдения. Ибо шахматные ходы в этом секторе доски, очевидно, связаны с другими фактами, которые должны лежать за его границами, в другой части доски, тем более что некоторые ходы берут свое начало там, а другие ходы там завершаются.

Абсолютно то же справедливо и в отношении опыта. Например, читая или говоря о вещах, которых в то время нет перед нами, мы обычно не создаем адекватных мысленных образов таких объектов. Иногда бывает и так, что они *вообще не* представлены в переживаниях. Когда меня спрашивают о моей профессии, я отвечаю, что я психолог. Но фактическое переживание, связанное с этим словом, может ограничиваться чувством знакомости и доступности знания в определенном направлении, в котором мне пришлось бы продвигаться, если бы потребовались более конкретные и подробные сведения. Эта готовность к продвижению (*transition*) в правильном направлении тогда, когда сам объект эксплицитно не задан, была превосходно описана Уильямом Джеймсом.⁴⁵ Наверное, это один из самых распространенных феноменов нашего опыта. Его характерная особенность заключается в ясном ощущении того, что при таких обстоятельствах части актуального опыта указывают за пределы этого опыта, в направлении чего-то конкретного, что, по нашему убеждению, там находится. Таким способом опыт сообщает нам о собственной неполноте. И нам не следует так уж удивляться этому наблюдению. Ведь именно этого мы должны ожидать, если из более крупного функционального целого в опыте представлена только его ограниченная часть. Конкретное направление, которое мы затем осознаем, соответствует тому факту, что часть поля, данная нам в актуальном опыте, функционально связана с процессами, у которых нет переживаемых эквивалентов. Хотя они фактически не переживаются, такие процессы должны быть высокоспецифичными. Ибо, как правило, наше чтение и разговоры

⁴⁵ Очевидно, Кёлер имеет в виду феномен “на-кончике-языка”. – А. А.

идут в правильном направлении и, таким образом, оказывается, адекватно определяются этими – не представленными в нашем переживании – фактами.

Возможно, самый простой пример этого – последовательное сравнение в его различных формах. После нескольких лет, проведенных в путешествиях, я встречаю друга, и моя первая мысль: “Как же он постарел!”. Это не значит, что он выглядит особенно старым на абсолютной шкале возраста. Я каждый день вижу мужчин и постарше. Это также не означает, что мысленный образ друга, каким я знал его прежде, в данный момент реактивируется и сравнивается с его теперешней внешностью. И все же в моей фразе содержится некая отсылка к прошлому; она представляет собой крайнюю форму того, что происходит в большинстве случаев последовательного сравнения. Если, через пять секунд после звучания первого тона, я слышу второй, который имеет ту же высоту, но звучит заметно громче, я способен легко распознать это соотношение, хотя в большинстве случаев я фактически не вспоминаю первый тон, когда подается второй. (На самом-то деле, при этих условиях у меня возникают трудности с вызыванием более или менее адекватного мнемического образа первого тона, когда я слышу второй.) В настоящее время, кажется, все психологи сходятся в этом вопросе.

Но как нам удастся распознавать это соотношение, если фактически переживается только один из двух тонов? Ответ состоит в том, что мы не переживаем второй тон как отдельный факт. Наоборот, он воспринимается нами с конкретной отсылкой “к чему-то такому в прошлом”.⁴⁶ Эта отсылка имеет направление или отклонение во временном измерении, которое может идти вверх или вниз. Однако даже если мы примем это без доказательств, как должное, наша проблема еще не будет решена. Обычно наши оценочные суждения в таких случаях совершенно правильны. Следовательно, то, что остается от прошлого, т. е. от первого тона, должно в достаточной мере представлять его громкость, чтобы заставить второй тон появиться с *правильным* направлением. С другой стороны, этот *след* первого тона не может во всех отношениях принадлежать к тому же классу, что и процесс, который пятью секундами раньше сопровождал переживание первого тона. Если бы он носил точно такой же характер, то имело бы место соответствующее переживание – что, как мы уже знаем, обычно не происходит. Следовательно, только некоторый *эффект* того первого процесса может сохраняться, когда сам процесс затух. Именно этот эффект и должен быть представителем самого этого процесса. Фактически, он должен представлять этот процесс настолько хорошо, чтобы второй тон появлялся в правильном отношении к уровню первого.

Что касается вопросов детализации, то здесь могут быть выдвинуты разные гипотезы. Однако никакая теория не будет удовлетворительной, если она не предполагает существования какого-то следа. Однажды я развил более подробное объяснение последовательного сравнения, в котором учитывалась и природа следа первого тона, и

⁴⁶ Можно также сказать, что этот второй тон наделен качеством, которое принадлежит ему как второму члену пары (Ср. глава VI.).

природа наклона (slope) от первого ко второму.⁴⁷ Я пришел к выводу, что эксперименты с последовательным сравнением могут нам прямо показать, что происходит со следом первого процесса, когда сам этот процесс прекратился. До сих пор такие эксперименты заставляют меня верить, что следы такого рода сохраняются в течение длительного времени и что они, вероятно, идентичны физиологическим основам памяти.

Все разумные теории памяти, привычки и т. д. должны содержать гипотезы о следах памяти как физиологических фактах. Такие теории должны также предполагать, что характеристики следов более или менее схожи с характеристиками процессов, благодаря которым они образовались. Иначе как можно было бы объяснить точность вспоминания, которая в большинстве случаев весьма высока? Гештальтпсихология добавляет к этому, что любая специфическая организация, которую демонстрируют исходные процессы и сопутствующие им переживания, может сохраняться в этих следах. Если она сохраняется, то организация *как таковая* будет оказывать мощное влияние на вспоминание. Возьмем примеры, приведенные в главе VI, где рассматривалось понятие зрительной формы. Если вещь с ее специфической формой часто воспринималась вместе с другими фактами, предъявление той же вещи может потом привести к вспоминанию этих фактов. Но если, при той же стимуляции, по какой-то причине видимой окажется другая вещь с другой формой, вспоминания не произойдет. Так, когда цифра 4 показана в определенном окружении (Ср. Рис 14, с. 99), это легко вызовет вспоминание ее названия. Но когда ничего не подозревающему испытуемому показывают рис. 10 (с. 95), название этого числа не появится вообще. С другой стороны, как только испытуемый обнаружил цифру 4 в изображении на рис. 10, а это означает, что 4 теперь стала выделенной, обособленной вещью, он с легкостью увидит ее снова в последующих предъявлениях и тогда вспомнит название. Отсюда следует, что следы прошлого опыта – это и не индифферентный континуум, и не мозаика независимых локальных фактов. Напротив, они должны быть организованы таким образом, который имеет сходство с организацией исходных процессов. При такой организации они принимают участие в процессах вспоминания.

То же свойство следов может быть выведено из фактов узнавания. Когда Эдгар Рубин (Rubin) давал своим испытуемым инструкцию уловить некие конфигурации в определенном распределении фигуры и фона, они узнавали их достаточно хорошо, если позднее экспериментальные условия благоприятствовали той же самой организации. Однако, если область, которая сначала была фигурой, становилась фоном во втором предъявлении, и наоборот, испытуемые сталкивались с новыми формами, которых они, конечно, не узнавали. При этом стимулы оставались точно такими же, как и в первом предъявлении. Так еще раз было показано, что следы действуют в соответствии с прошлой организацией, а не как простые совокупности независимых локальных фактов. Мы можем пойти дальше: в

⁴⁷ *Psychol. Forsch.*, 4, 1923. Совсем недавно мои теоретические предположения были значительно улучшены Лауэнштайном (Lauenstein, *Psychol. Forsch.*, 17, 1933). [Отто фон Лауэнштайн (Otto von Lauenstein) – ученик В. Кёлера. – А. А.]

большинстве случаев вспоминания организуется и сам активированный материал. Это верно не только в отношении мысленных образов, но и в отношении знакомых моторных “мелодий”, как показали Мишотт (Michotte) и ван дер Вельт (van der Velt).⁴⁸ Люди с яркими, живыми зрительными представлениями согласятся с тем, что внутренний образ конкретного дерева отделяется как фигура от более тусклого окружения или фона. Конечно, в свободном воображении и в сновидениях мы можем видеть сцены, сильно отличающиеся от любых фактов опыта, которые мы получали когда-либо раньше. Тем не менее, даже самые странные творения сновидения остаются фигурами, демонстрирующими существенные признаки организации.

В бесчисленных случаях организация имеет решающее значение, так что даже радикальные изменения стимулов не препятствуют узнаванию или вспоминанию – при условии, что организация остается такой же, как и раньше. Так, мелодия узнается нами в измененном ключе, при исполнении в котором от нее может не остаться ни одной ноты оригинала. Более того, спустя несколько дней после того, как мы услышали мелодию в первый раз, мы можем застать себя напевающими ее в тональности, которая, при анализе, оказывается явно отличающейся от тональности образца. В данном случае все факторы, за исключением организации, по-видимому, не играют существенной роли, когда дело касается вспоминания. Точно так же незнакомая фигура, которая сегодня воспринимается как красная, расположенная немного левее точки фиксации и имеющая определенный размер, будет легко узнана завтра, даже если теперь она может быть зеленой или желтой, смещенной вправо и иметь другие размеры.⁴⁹ Очевидно, в любом случае узнавание и вспоминание зависят настолько же от организации прошлых событий, насколько они зависят от локальных эффектов стимуляции, которые, согласно теории мозаичности, были элементами прошлых переживаний. Позже мы вернемся к этому факту.

С представленной здесь точки зрения можно легко объяснить некоторые наблюдения, которые ставят в тупик, если только не признается важность организации. В экспериментах по отсроченным реакциям у животных было установлено, что после отсрочки в несколько секунд или даже минут некоторые животные все еще способны выбрать правильный объект, скажем, из трех одинаковых. Однако в момент реакции выбора правильный объект больше не выделяется посредством специфического сигнала, который подавался до этапа отсрочки. Так вот, если в течение времени отсрочки животное просто сохраняет свою ориентацию на правильный объект, его правильный выбор, возможно, никого и не удивит. Но реальная проблема возникает тогда, когда в этот период животное свободно передвигается по своей клетке и, тем не менее, позже делает правильный выбор. Утверждалось, что в таком случае реакция животного зависит от какого-то внутреннего сигнала или стимула. Это отчасти верно, поскольку без какого-то последствия начальной ситуации (в которой, например,

⁴⁸ *L'Apprentissage du mouvement et l'automatisme*. 1928.

⁴⁹ E. Becher, *Gehirn und Seele*, Heidelberg, 1911.

показывалось, что правильный объект содержит корм) правильные реакции были бы совершенно необъяснимы. Такое последствие, конечно же, является внутренним сигналом. Но когда после отсрочки и после многих случайных перемещений животного этот внутренний сигнал становится действующим, у правильного объекта также должна быть некоторая характеристика, к которой этот сигнал отсылает. Если мы исследуем каждый объект по отдельности, мы не сможем обнаружить такую особую характеристику, потому что каждый объект как таковой обладает теми же характеристиками, что и другие объекты. И все же они отличаются в одном отношении, а именно той ролью, которую каждый объект играет в данной группе объектов. Один представляет собой левый конец, другой – правый, а третий – середину или внутреннюю часть группы. Если после периода отсрочки животное реагирует правильно, единственной характеристикой интересующего нас объекта, которая позволяет животному отнести свой внутренний сигнал к этому объекту, является место объекта в группе из трех.⁵⁰ Перед отсрочкой определенное событие, такое как показ корма, поспособствовало выделению одного объекта. Но этот объект также характеризовался как занимающий определенное положение в группе объектов. Таким образом, если в это время данное событие оказалось связанным с положением правильного объекта в группе, животное среагирует после периода отсрочки именно на этот объект. Иными словами, отсроченная реакция этого типа зависит от восприятия и узнавания гештальт-качества. По этой причине отсроченные реакции, которые часто исследуются зоопсихологами, не могут быть поняты без обращения к принципу организации. Это становится еще более очевидным, если мы рассмотрим метод множественного выбора, который Роберт Йеркс (Yerkes) столь успешно использовал в своих исследованиях. Здесь еще яснее становится та особая роль объекта в группе, который становится связанным с реакцией. При этих условиях не вызывает особого удивления тот факт, что реакция может оставаться правильной, даже если положение целой группы и, следовательно, всех ее элементов будет свободно варьироваться в ходе проб.

В прошлом экспериментальная психология не проявляла большого интереса к понятию следов памяти как таковых. В области изучения памяти исследователей гораздо сильнее привлекало другое понятие. Когда мы говорим, что следы организованных процессов сами являются организованными объектами (entities), мы, похоже, умалчиваем о самом важном факте в работе памяти, а именно о том, что следы имеют тенденцию становиться связанными или ассоциированными. Ассоциация традиционно рассматривается как связь между двумя переживаниями, которая позволяет нам вспомнить второе переживание при последующем появлении первого. Как утверждается, такая связь образуется, когда два переживания возникают одновременно и, в частности, когда их смежное появление повторяется. Существование следов является первым базисным фактором памяти, привычек, навыков и т. д. Ассоциация по смежности является вторым таким фактором; и почти все классические исследования памяти имели дело с этой фазой научения и сохранения.

⁵⁰ Группа может, конечно, состоять из большего числа объектов. (Cf. O. L. Tinklepaugh, *The Journal of Compar. Psychol.*, 8, 1828).

Психологи гордятся своими достижениями в изучении ассоциаций, поскольку в этой области и методы, и результаты выглядят почти сопоставимыми с методами и достижениями естественных наук.

Эта гордость отчасти оправдана. Впрочем, мы постепенно начали осознавать, что, несмотря на наличие в нашем арсенале отличных методов, до сих пор изучался только очень специфический вид памяти, и что полученные результаты не следует поспешно распространять на память в целом. Кроме того, есть один вопрос, который практически не затрагивался в ходе этих исследований, потому что на начальном этапе его нелегко осознать как проблему. Верно ли, что простое повторение двух смежных процессов приводит к образованию ассоциации между ними? И является ли ассоциация простой связью, которая соединяет переживания так, как веревка связывает два объекта? Понятие ассоциации, которому адресованы эти вопросы, будет обсуждаться ниже.

Закон ассоциации по смежности всегда считался вполне удовлетворительным, так как дает научению чисто механическую интерпретацию. Что может больше соответствовать духу естественных наук? Я должен признаться, однако, что именно с точки зрения науки закон ассоциации по смежности представляется мне довольно странным утверждением. Случается так, что два процесса – *A* и *B* – происходят вместе, и какой бы ни оказалась природа *A* и *B*, между ними образуется связь! Я не знаю ни одного закона в физике или химии, который можно было бы в этом отношении сравнить с законом смежности. Несколько раньше, в главе IV, мы уже касались этого факта. Когда в физике два объекта или события, *A* и *B*, становятся функционально взаимосвязанными, эта взаимосвязь и ее последствия неизменно оказываются зависящими от характеристик *A* и *B*. Так обстоит дело в астрономии, где ускорение одной звезды, вызванное другой, зависит от массы. То же самое справедливо для электростатики, где направление, в котором происходит взаимодействие, зависит от знака электрических зарядов. В химии атомы реагируют или остаются нейтральными относительно друг друга в зависимости от их исходных характеристик. И наоборот, в науке не найти примеров взаимодействия, в котором природа взаимодействующих факторов не играет никакой роли. Тем не менее, в классическом законе ассоциации по смежности, природа вещей, которые становятся связанными, молчаливо игнорируется.

Очевидно, что в этом вопросе мы снова сталкиваемся с механистической или мозаичной теорией. Если при распределении событий в сенсорной нервной системе взаимодействие вообще принимает какое-либо участие, результаты должны зависеть от характеристик взаимодействующих процессов. Мозаичная теория сенсорного поля исключает эту возможность, предполагая, что локальные сенсорные факты остаются нейтральными относительно друг друга. Как следствие, только случайности периферической стимуляции определяют результирующий паттерн. Теперь мы понимаем, что в классической концепции ассоциации та же идея принимается без всяких доказательств. Все *A* и *B* – индифферентные, нейтральные кусочки мозаики. Они не взаимодействуют. Любая связь, которая может между

ними образоваться, должна, поэтому, быть подобна веревке, которой мы связываем два объекта. При *такой* связи характеристики объектов не имеют значения.

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что эта интерпретация ассоциаций уже не является разумной. Ее слабость очевидна, даже если мы ограничимся рассмотрением исследований, проведенных с использованием классических методов.

В серии слогов *A* и *B*, т. е. два смежных слога, конечно не индифферентны друг к другу, так как ни *A*, ни *B* не индифферентны даже к *F*, *G* и *H*, т. е. к более удаленным элементам в этой серии. Если испытуемого попросить записать шесть слогов, которые мы будем быстро читать ему, он обычно способен справиться с этой задачей. Но если вместо шести слогов мы продиктуем ему серию из двенадцати слогов, показатель его успешности будет, как правило, ниже, чем в случае более короткой серии. Очевидно, что все элементы такой серии имеют тенденцию служить помехой друг другу. Как тогда мы можем утверждать, что они взаимно нейтральны? В хорошо известной методике “парных ассоциаций” ассоциации испытуемого тестируются путем предъявления ему одиночных слогов, к которым он должен добавить элементы, которые следуют за ними в серии. Его результат в целом измеряется количеством проб, в которых его ответы верны. По существу, эта процедура предполагает, что ассоциации в границах серии являются взаимно независимыми фактами, которые, в силу этой независимости, допускают статистическую обработку. Это предположение не вполне корректно, ибо оно игнорирует общую взаимозависимость элементов в серии, о чем я только что упомянул. Конечно, если взаимозависимость в статистическом смысле одинакова во всех сериях, и если исследуемые проблемы носят общий характер, то большого вреда от такого предположения не будет. Но как только проблемой становится природа ассоциаций как таковых, мы, безусловно, должны быть более осмотрительными.

В качестве второго эмпирического факта, который кажется несовместимым с традиционным взглядом на ассоциации, мы можем упомянуть о некоторых изменениях, которым слоги подвергаются в процессе заучивания. По большей части серии слогов читаются испытуемым в специфической ритмической манере, которая заключается в выделении более крупных и меньших по объему групп. В то же время чтение обычно принимает определенный мелодический характер, в том смысле, что высота голоса повышается и понижается на начальных и конечных границах этих групп.⁵¹ По-видимому, это означает, что по ходу заучивания, и более всего во время первых чтений серии слогов, материал организуется каким-то определенным образом. Но мы знаем из предыдущих обсуждений, что если дело обстоит так, то отдельные слоги должны приобретать особые характеристики – характеристики, которые они получают благодаря их роли в организации. Это следствие прекрасно проверяется в тех случаях, когда после первого заучивания всей серии испытуемым показывают те же элементы в другой последовательности. В новом

⁵¹ Ср. образцы, приведенные в публикации Frings, *Arch. f. d. ges. Psychol.*, 30, 1914.

порядке они выглядят новыми и незнакомыми. Объективно это влияние организации наиболее убедительно демонстрируется, когда после того как испытуемые заучили всю серию слогов наизусть, так что могут без запинок повторить ее вслух по памяти, им показывают одиночные слоги для вспоминания следующих за ними элементов. Нагель (Nagel) обнаружил, что при таких условиях с трудом удавалось вспомнить треть слогов, хотя испытуемые могли с легкостью повторить по памяти эту серию слогов целиком.⁵² В потоке организованных серий данные слоги, по-видимому, больше не являются тем, чем они являются поодиночке.

Эббингауз и его преемники отдавали предпочтение бессмысленным слогам как наилучшему материалу для исследования ассоциаций, потому что хотели экспериментировать при условиях, в которых никакие старые, доэкспериментальные ассоциации не мешали бы новым, экспериментально устанавливаемым связям. Они думали, что в случае использования осмысленного материала такие старые ассоциации могли бы неконтролируемым образом повлиять на результаты. Бессмысленные слоги, как им казалось, также составляют более однородный материал, чем любые другие элементы. Было бы несправедливо отрицать, что психология получила мощнейший импульс от исследований, выполненных этим методом. Однако, похоже, что ранние исследователи все же однобоко использовали эту методику. Во всяком случае, наиболее ценные наблюдения в этой области были сделаны после того как постепенно была преодолена некоторая узость первоначальной точки зрения.

Некоторые психологи критиковали метод Эббингауза, потому что на самом деле он не позволяет исследовать ассоциации, которые образуются автоматически. Это хороший повод для критики, поскольку результаты, полученные этим методом, обычно излагаются так, как если бы ассоциации образовывались сами собой, спонтанно. Действительно, если предполагается, что простая смежность слогов вызывает их ассоциацию, большинство экспериментов, в которых используется этот материал, далеки от тестирования ассоциаций в этом смысле. Испытуемому не просто предъявляют последовательность слогов; наоборот, его просят заучить их наизусть. Если он следует этой инструкции, то не только смежность приводит к образованию ассоциаций, однако этот факт даже не упоминается, когда результаты описываются исходя из автоматически сформированных связей. Несомненно, это слабое место в этой процедуре. Ошибка является серьезной; постепенно пришло понимание, что без преднамеренного заучивания наизусть работать с серией бессмысленных слогов практически невозможно.⁵³

Тогда, что делают испытуемые, когда они намеренно пытаются заучить серию слогов? Никто не имел больше прав дать ответ на этот вопрос, чем Георг Элиас Мюллер (G. E. Müller), потративший большую часть своей научной жизни на исследование ассоциаций и сохранения материала в памяти. Его ответ был таким: “серии цифр, согласных звуков, слогов и т. п. выучиваются по существу в синтетической деятельности, в которой элементы серии

⁵² Arch. f. d. ges. Psychol., 23, 1912.

⁵³ Kühn, Zeitschr. f. Psychol, 68, 1914. Также Poppelreuter, Zeitschr. f. Psychol., 61, 1912.

объединяются так, что становятся прочными группами”.⁵⁴ В одной из предыдущих глав мы показали, что такая установка способна создавать группы в перцепции и что ее эффекты могут быть такими же подлинными перцептуальными фактами, как и любая спонтанная организация. Поэтому из утверждения Мюллера мы можем заключить, что преднамеренное заучивание равносильно преднамеренной организации.

Хотя в случае бессмысленного материала и, прежде всего, слогов такая деятельность, по-видимому, является совершенно необходимой, она, очевидно, не нужна при работе с некоторыми другими материалами. Мы то и дело застаем себя за вспоминанием событий, когда факты, которые теперь приводят к вспоминанию, безусловно, не были преднамеренно объединены с этими событиями. Из этого следует, что хотя бессмысленный материал, используемый в классических исследованиях, отвечает определенным условиям точности, он не может раскрыть нам всю правду об ассоциациях. Когда, вместо классического материала, мы имеем дело с более естественными переживаниями повседневной жизни, ассоциации, как правило, не образуются таким способом.

Но все ли наши переживания за стенами лаборатории спонтанно образуют между собой ассоциативные связи? И снова дело обстоит не так. Мы можем десятки раз слышать телефонный номер вместе с именем, и все же оставаться не в состоянии вспомнить его, когда слышим имя в очередной раз. В таком случае условия, вероятно, схожи с теми, которые характеризуют ассоциацию бессмысленных слогов. Между именем и номером нет особых отношений, они не стремятся образовать группу спонтанно. Так возникает подозрение, что ассоциация происходит спонтанно там, где организация является спонтанной, и что ассоциация предполагает преднамеренное объединение тогда, когда материал как таковой вряд ли образует организованные группы.

Это предположение подкрепляется тем фактом, что значимые слова (имена существительные) образуют ассоциации гораздо легче, чем бессмысленный материал. В данном случае, конечно, эти слова уже давно насыщены своими смыслами. Поэтому, когда испытуемые заучивают серию существительных, они находят эти смысловые значения твердо закрепленными за словами; и, очевидно, именно эти значения слов теперь так легко ассоциируются. Но почему так должно быть? Большинство психологов ответят, что значения существительных сцеплены не только с этими словами, но, как следствие прежних ассоциаций, и друг с другом; иначе говоря, процесс заучивания только укрепляет связи, которые долго существовали до этого момента. Здесь необходимо подчеркнуть различие между гештальтпсихологией и ассоцианизмом. Пусть кто-нибудь прочитает несколько раз следующие пары существительных: озеро—сахар, сапог—тарелка, девушка—кенгуру, карандаш—бензин, дворец—велосипед, железная дорога—слон, книга—зубная паста. Заучить эту серию будет существенно проще, чем такое же количество бессмысленных слогов. Но можно ли при этом утверждать, что между озером и сахаром, дворцом и велосипедом и т. д. существуют

⁵⁴ G. E. Müller, *Abriss der Psychologie*. 1924.

сильные доэкспериментальные ассоциации, которые просто нуждаются в небольшом освежении и поэтому делают заучивание легкой задачей? Мне кажется, что мы не можем утверждать этого, потому что тысячи раз те же самые слова встречались в других гораздо более привычных связях. Такие более сильные связи должны оказывать тормозящее влияние на более слабые ассоциации, которые, согласно данному выше объяснению, делают заучивание в этом случае столь легким. Поэтому данное объяснение не настолько правдоподобно, каким оно может показаться на первый взгляд. Гештальтпсихология предлагает другую интерпретацию. Когда я читаю эти слова, я могу вообразить, в виде серии несколько необычных картин, как кусок сахара растворяется в озере, как сапог лежит на тарелке, как девушка кормит кенгуру и т. д. Если это происходит во время чтения серии слов, я переживаю в воображении ряд хорошо организованных, хотя и довольно необычных целостностей. Возможно, что заучивание здесь дается так легко, потому что материал такого рода легко поддается организации. Для того чтобы исключить возможность частых подобных связей в прошлом, мне пришлось, конечно, выбрать странные пары существительных, из смысловых значений которых могут организовываться более крупные картины, но не совсем спонтанно. Если я не ошибаюсь, объединения и последовательности, которые еще легче ассоциируются в повседневной жизни, являются просто примерами полностью спонтанной организации.

На этом основании бессмысленные слоги должны рассматриваться как наихудший материал, который мог бы быть выбран, если бы мы хотели раскрыть сущностную природу ассоциаций. Так как такие слоги самопроизвольно не организуются в хорошо различимые, четко определенные группы, природа спонтанной ассоциации не может открыться психологу, который использует только этот материал. Кроме того, поскольку серия бессмысленных слогов строится в случайном порядке, их последовательность мало что может рассказать нам о характере зависимости заучивания от того, что можно назвать *структурой* серии. Несмотря на то, что такая серия состоит только из бессмысленного и, в значительной степени, однородного материала, она может быть построена по-разному. В качестве соседних слогов могут быть поставлены слоги, фонетически соответствующие друг другу, а может быть сделано прямо наоборот. Одни пары могут быть построены по одному принципу, а другие – по другому. Серия целиком может обнаруживать специфическую структуру; или это может быть индифферентная серия, такая как те, которые обычно использовались в традиционных исследованиях. Все эти вариации следует изучать, если мы хотим понять, является ли организация тем существенным фактом, который лежит в основе ассоциации. Исходя из только что проведенного нами обсуждения, мы будем склонны утверждать именно это.

Как последний аргумент в пользу нашего тезиса, мы можем указать на тот факт, что если серия заучивалась посредством объединения ее элементов в пары, испытуемые будут легко вспоминать вторые элементы пары при предъявлении им первых элементов, тогда как при предъявлении вторых элементов пары и следующих элементов серии, т. е. когда необходимо вспомнить первые элементы следующих пар, припоминание будет затруднено.

Если предположить, что во время заучивания элементы серии предъявлялись как их объективно однородная последовательность, то этот результат несовместим с тем понятием ассоциации, каким оно было прежде. Очевидно, что описание условий ассоциации не будет адекватным, если они не описываются с учетом условий организации материала. Сильная ассоциация возникает только между такими элементами серии, которые становятся частями четко определенных групп. Мы не отрицаем, что пространственная и временная смежность является крайне важным фактором в ассоциации. Но этот фактор, похоже, не действует напрямую. В одной из предыдущих глав мы показали, что фактор пространственной близости играет важную роль в образовании и выделении сенсорных “единиц”. Отталкиваясь от этой формулировки, можно, пожалуй, прийти к следующему заключению: пространственная и временная смежность способствует ассоциации только потому, что она, под именем близости, является благоприятным фактором организации. Тогда это условие является лишь одним из многих других условий, которые имеют благоприятное влияние на организацию, и раз уж выходит так, что организация – это действительно решающее условие того, что обычно называют ассоциацией, закон ассоциации, возможно, придется соответствующим образом переформулировать.

Сказанное можно подытожить так: Там, где организация сильна по природе и не требует вмешательства каких-либо внешних сил, ассоциация возникает спонтанно. В отсутствие характерной организации никакой ассоциации ожидать не стоит до тех пор, пока субъект намеренно не создаст какую-то конкретную организацию. Кроме того, когда элементы серии хорошо ассоциированы, они наделяются характеристиками, которые зависят от их положения во всей серии, – так же, как тоны приобретают определенные характеристики, когда слышатся в составе мелодии. Наконец, элементы серии, которые составляют небольшие прочные группы, являются в то же время элементами, которые особенно хорошо ассоциированы.

После этих prelimинарий мы можем обсудить природу связи, которая, как утверждается, возникает между следами процессов, когда эти процессы становятся ассоциированными. Преобладает мнение, что ассоциация предполагает повышенную проводимость нервных путей, соединяющих участки, где происходят процессы и образуются соответствующие следы. При каждом повторении этих процессов в ткани между ними предположительно происходит какое-то событие, снижающее ее сопротивление. В результате возбуждение, достигающее участка с первым следом, будет, в последующем, распространяться к участку со вторым следом, а не к другим участкам головного мозга. Таким образом, след второго процесса имеет тенденцию активироваться при вызывании одного только первого процесса. Эта гипотеза не вполне удовлетворительна. Хотя она и заставляет нас ожидать, что после повторных предъявлений пары элементов возбуждение будет распространяться по соединительным путям и, возможно, еще больше увеличивать их проводимость, она не говорит нам, почему что-то особенное должно произойти с этими путями в первый раз. Этот

ее недостаток трудно преодолеть, особенно в тех случаях, когда ассоциация хорошо образуется уже после одного предъявления элементов.

Мы не знаем, что происходит при воспоминании. Единственное, что нам остается предположить, так это существование некоторой связи между следами двух процессов, *A* и *B*, так что реактивация *A* приводит к воспоминанию *B*, а не каких-либо фактов, с которыми *A* не было ассоциировано. Тогда в этом отношении возможны две гипотезы. Если мы считаем, что *A* и *B*, становясь ассоциированными, остаются двумя взаимно нейтральными событиями, которые просто происходят вместе, тогда какое-то специальное связующее звено, вроде группы волокон с особенно хорошей проводимостью, можно рассматривать как адекватную основу ассоциации. Однако, заняв полностью противоположную позицию, мы можем рассуждать так: когда *A* и *B* образуют ассоциацию, они переживаются не как два независимых элемента, а как члены организованной группы-единицы. Возможно, пока это можно принять только как допущение. Но исходя из этой предпосылки относящаяся к нервной системе ситуация не может складываться из двух отдельных частей, одна из которых соответствует *A*, а другая – *B*. Напротив, единое переживание (unitary experience) указывает на то, что в нервной системе формируется функциональная единица, в которой процессы *A* и *B* обладают лишь *относительной* независимостью. Если дело обстоит так, мы не можем ожидать, что в нервной системе останутся два отдельных следа после того, как *A* и *B* перестанут переживаться как факты актуального опыта. Следы, как уже говорилось, имеют тенденцию сохранять организацию исходных процессов. Тем самым создается только один след, репрезентирующий функциональную единицу, благодаря которой он образовался. И в нем *A* и *B* будут существовать только как относительно сегрегированные субъективные единицы. В результате, благодаря их включению в один след, *A* и *B* будут точно так же “связаны”, как они могли бы быть связаны посредством специального связующего звена. Предполагается, что такое связующее звено задает распространению нервной активности правильное направление от *A* к *B*. Однако то, что *A* и *B* находятся в составе единого следа (который, конечно, отделен от других следов), будет иметь точно такой же эффект.

Желательно представить наше предположение в более радикальной формулировке, по которой его можно было бы легче отличить от старой точки зрения. Согласно нашему утверждению, ассоциация утрачивает свой характер как специальное и самостоятельное теоретическое понятие. Ассоциация становится словесным ярлыком для обозначения того факта, что организованные процессы оставляют следы, в которых более или менее адекватно сохраняется организация этих процессов. Я не отрицаю, что ассоциации укрепляются благодаря повторению. Но это вовсе не означает, что повторение увеличивает силу специальной связи. Я также признаю тот факт, что иногда, как в случае бессмысленного материала, для создания ассоциации требуется особая установка (attitude) субъекта. Но, как мы ранее показали, все указывает на правомерность утверждения, что эта установка является установкой на активную организацию. Если субъект достигает цели, то теперь у него есть соответственно организованные факты опыта; сопровождающие нервные события должны

быть аналогично организованы; и образуются следы, которые опять-таки будут иметь ту же организацию. Единственная новая проблема, которая возникает в этой ситуации, это проблема влияния интенций на организацию. И эта проблема связана не только с вопросами памяти (ср. Гл. V, с. 86).

Некоторые склонны заявлять, что не имеет значения, принимаем ли мы ту или иную теорию ассоциации, так как мы все равно не можем заглянуть в мозг и поэтому не можем решить, какая из них правильная. С такой точки зрения ценность гипотезы явно недооценивается. Если гипотеза имеет конкретное содержание, она также должна иметь конкретные следствия; и они могут быть проверены. В данном случае такие следствия достаточно очевидны.

Старый закон ассоциации по смежности, как мы помним, не обращается к характеристикам *A* и *B*, которые вступают в ассоциативную связь. Это вполне естественно, так как в этом законе неявно предполагается, что ассоциация является связкой наподобие веревки, при помощи которой вещи, одинаково нейтральные по отношению друг к другу и к этой связке, принуждаются к некоему “сообщничеству” (partnership). Организация, с другой стороны, далека от того, чтобы быть объединением, образованным под давлением внешних сил на взаимно нейтральные факты. В чувственном опыте, как было показано, организация явно зависит от характеристик фактов в их отношении друг к другу. Поэтому, если ассоциация является последствием организации, она должна также зависеть от этих характеристик. Отчасти это влияние было подтверждено наблюдениями, описанными в этой главе. Но многое еще предстоит сделать. Нам нужны все возможные вариации материала, который предъявляется для заучивания. Такие вариации прямо предписываются принципами гештальтпсихологии. В целом верно ли то, что, если другие обстоятельства остаются прежними, сила ассоциаций изменяется в зависимости от силы организаций, в которых находятся элементы? Кроме того, нам известны специфические условия, от которых зависит сенсорная организация. Можно ли показать, что эти условия столь же существенны для ассоциации, как и для первичного опыта?⁵⁵ Разумеется, не все законы, управляющие изменением ассоциаций, могут быть выведены таким путем. Законы чувственного опыта не дают нам прямой информации о природе следов как таковых. Эти законы также ничего не говорят нам о судьбе следов с течением времени. Зато при изучении природы следов мы можем в любой момент сделать наблюдения, благодаря которым сможем прояснить для себя

⁵⁵ В настоящее время (1947) ответ на этот вопрос частично известен. Показано, что функциональные взаимосвязи в серии элементов наиболее сильно зависят от характера материала, представленного в данной серии. Это верно как в отношении взаимосвязей, затрудняющих заучивание, так и в отношении взаимосвязей, облегчающих этот процесс. До сих пор исследования в основном касались той роли, которую *подобие* элементов играет в заучивании. Возмущающие эффекты подобия исследовались фон Ресторфф (von Restorff, *Psychol. Forsch.*, 18, 1933) и рядом других психологов в Германии и в Америке. Результат этих исследований совершенно ясен: серии бессмысленных слогов являются трудным для заучивания материалом не столько потому, что элементы серии не несут никакого смысла, сколько потому, что в таких однородных сериях специфические подгруппы не образуются спонтанно. Положительное влияние подобия элементов на их ассоциацию было продемонстрировано автором этой книги (*Proc. Amer. Philos. Soc.*, 84, 1941).

некоторые проблемы *перцепции*. Перцептуальная организация происходит не только в пространстве, но и во времени. В последнем случае поведение следов, вероятно, будет столь же важным, как и характер изменения соответствующих актуальных переживаний. Роль следов в этой связи будет легче понять, если их природа в целом станет более известной.

Второе следствие нашей гипотезы имеет как практическое, так и теоретическое значение. Это следствие относится к психологии животных. Мы уже знаем, что бессмысленные слоги нелегко образуют ассоциации сами по себе, потому что внутри серии таких элементов характерные, легко различимые пары и другие специфические группы не формируются спонтанно. Однако испытуемые, обнаруживающие большие затруднения с заучиванием таких серий, в повседневной жизни могут обладать хорошей памятью. Они могут вспомнить очень много событий, которые они никогда не намеревались сохранить в своей памяти. Это напоминает один из странных контрастов, – который все зоопсихологи, должно быть, наблюдали, – между научением животных, как оно происходит во время лабораторных экспериментов, и формированием навыка у тех же животных, когда они живут в естественной среде. Я не думаю, что причина этого различия адекватно формулируется, когда люди ссылаются на “более естественные” условия, представленные в последних ситуациях. Что означает термин “естественные” в таком контексте? Возможно, он просто означает благоприятные условия в отношении ассоциации; другими словами, благоприятные условия с точки зрения организации.

Под влиянием старого понятия ассоциации многие эксперименты с животными, среди прочих экспериментов по сенсорному различению, проводятся таким способом, в котором понятие организации полностью игнорируется. Например, на задних (тупиковых) стенках двух коридоров представлены два объекта, которые животное, как ожидается, постепенно станет различать под влиянием вознаграждения и наказания. На полу коридоров, вне всякой связи с этими объектами, размещены провода, через которые животное получает удар током (наказание), когда делает неправильный выбор. Очевидно, удару током, нанесенному в этом месте коридора, и объекту, показанному в другом месте, будет нелегко стать частями организованной “единицы”. С другой стороны, после правильного выбора животное получает корм где-то за этой сценой, т. е. в ситуации столь же отделенной от правильного объекта, как удар током от неправильного объекта. Один начинающий бихевиорист однажды спросил меня, могла бы гештальтпсихология предложить, помимо туманных понятий, что-то определенное, имеющее существенное значение в реальной работе. По-моему, даже если мы не предложим бихевиоризму ничего кроме нашей критики его метода и советов по его усовершенствованию, этого будет вполне достаточно. У людей научение, похоже, зависит от организации. Крайне маловероятно, что то же правило не распространяется на формирование навыка у животных. Поэтому при исследовании сенсорного различения было бы лучше вместо выделения решающих факторов сделать все возможное для облегчения их организации как единого целого. Несколько лет назад я предложил следующую процедуру. Неправильный объект внезапно перемещается прямо к животному всякий раз, когда оно

приближается к этому объекту. Такая методика, несомненно, имела бы большее сходство с ситуацией научения животного в реальной жизни, чем традиционная процедура. С гораздо большей долей вероятности объект оказался бы пропитан “негативностью”.⁵⁶ В результате удалось бы сберечь много времени. Однако помимо чисто практических соображений, мне представляется разумным постулат экспериментальной науки, требующий варьирования условий во всех отношениях. Если бы бихевиористов удалось убедить варьировать их экспериментальные ситуации с учетом вопросов организации, они, вероятно, узнали бы много нового о природе научения у животных.⁵⁷

Мои замечания в той же мере относятся к выработке условных рефлексов, в какой они относятся к другим методам, с помощью которых изучается научение у животных. Некоторые авторы предпочитают термин “условный рефлекс” термину “ассоциация”. Однако я не считаю, что первое понятие является более ясным или более фундаментальным, чем последнее. На самом деле, под названием “условный рефлекс” может скрываться всего лишь особый случай ассоциации. Условный раздражитель, который становится искусственно связанным с рефлексом, может, вероятно, вызывать рефлекс только потому, что он в первую очередь связан с адекватным раздражителем, вызывающим рефлекс естественным образом. Это, конечно же, ассоциация двух сенсорных фактов. По-видимому, такая ассоциация может стать настолько сильной, что *при посредстве* простого следа адекватной стимуляции один только условный раздражитель способен вызвать рефлекс. Так вот, если эта ассоциация является именно тем, что выучивается в ходе обусловливания, и если такая ассоциация двух процессов является лишь последствием их организации, мы должны сделать тот же вывод в отношении обусловливания, какой мы уже делали в отношении обычной ассоциации и научения различению у животных. В настоящее время у нас, похоже, нет экспериментальных данных для ответа на вопрос, будут ли изменения в предъявлении условного раздражителя, в его отношении к безусловному, влиять на процесс обусловливания. В общеизвестных экспериментах колокольчик звенит, например, прямо перед подачей корма; но в них не уделяется внимания условиям, которые могли бы помешать или облегчить организацию этих двух событий. И все же, на данный момент зоопсихология имеет возможность одновременно проверить ценность двух предположений: во-первых, верно ли, что обусловливание заключается в ассоциировании двух сенсорных фактов? И во-вторых: зависит ли обусловливание от факторов организации?

С позиции, которую мы к настоящему времени выработали, некоторые из наших предыдущих обсуждений предстают в новом свете. Мы повысили правдоподобие утверждения, что ассоциация зависит от организации, потому что ассоциация является

⁵⁶ W. Köhler, *The Ped. Seminary*, 32, 1925.

⁵⁷ Наиболее решительный шаг в этом направлении был сделан К. С. Лешли (Lashley, *Journ. Genet. Psychol.* 37, 1930), который ввел специальную подставку для прыжка (jumping stand) в репертуар зоопсихологии. Главное преимущество этого устройства заключается в том, что оно фактически вынуждает животное обращать внимание на существенные части экспериментальной ситуации.

последствием организованного процесса. Когда впервые вводилось понятие организации, нас на каждом шагу стесняли эмпиристские объяснения, в которых факты, противоречащие мозаичной теории, быстро отбрасываются как простые продукты научения. Смею надеяться, было показано, что эти факты в принципе не допускают объяснений на основе научения и что организация должна быть признана в качестве первичной фазы опыта. Теперь мы можем пойти дальше и заявить, что, наоборот, любые воздействия, оказываемые научением на последующий опыт, являются, скорее всего, последствием предшествующей организации. Ибо научение, в том смысле, в котором данный термин употреблялся в этой главе, эквивалентно ассоциации, а ассоциация, если мы правы, является последствием организации. Следовательно, любые попытки свести организацию фактов опыта к влиянию ассоциированных смысловых значений и т. п. представляют собой замкнутый круг. Нельзя сводить организацию к другим факторам, если эти другие факторы могут быть поняты только на основе организации. Я без колебаний повторяю, что факты опыта *почти всегда* пропитаны смыслами. Но это утверждение вводило бы в заблуждение, если бы я не добавлял, во-первых, что по большей части это организованные переживания, за которыми закрепляются такие смысловые значения, и, во-вторых, что факты научения, которые здесь рассматриваются, выводятся опять-таки из принципов организации.

IX

ВСПОМИНАНИЕ

Психология исследует три основные темы в области памяти: (1) научение и образование следов, которые позже позволяют нам вспомнить, (2) судьбу этих следов в период времени между научением и воспоминанием и (3) сам процесс воспоминания (воспроизведения). Безусловно, воспоминание играет определенную роль в исследовании *всех* этих проблем, потому что изучение законов научения и законов сохранения требует ровно столько же воспоминания, как и изучение воспоминания как такового. Но когда нас интересуют проблемы научения, мы можем поддерживать постоянными условия, касающиеся сохранения и воспоминания, так чтобы варьировать только условия научения. Если наша проблема касается сохранения, то условия научения и условия воспоминания будут поддерживаться постоянными, а варьироваться будут условия, которые касаются интервала между научением и воспоминанием. При изучении же воспоминания будет иметь место вариация только тех обстоятельств, которые касаются этого события. Таким образом, эти три класса проблем действительно допускают разделение. В этой главе мы будем заниматься главным образом вопросами сохранения и воспоминания, хотя также рассмотрим и некоторые факты, касающиеся научения и образования следов.

В главе VI я упомянул некоторые эксперименты, в которых животные, научившись выбирать одну часть пары, например, более темную из двух серых, должны были реагировать на новую пару. Эта пара состояла из объекта, который являлся “правильным” выбором в период обучения, и нового объекта. Новый объект находился в том же отношении к “правильному” объекту, в каком этот относился к “неправильному” объекту исходной пары. В результате, в большинстве проб животные выбрали новый объект, очевидно потому, что в новой паре этот объект играл ту же роль, какую “правильный” объект играл в период обучения. В изменившейся ситуации новый объект был “темной частью пары”.

Однако этот результат не носит общего характера. Он зависит от времени, которое проходит между пробами со старой парой и первыми пробами с новой. Один раз, когда обучение завершалось, цыпленку предъявляли новую пару в единичных пробах между

выборами альтернатив со старой парой, и эта процедура повторялась до тех пор, пока пробы с новой парой не становились статистически надежными. Было обнаружено, что при этих условиях животное выбирало объект, считавшийся “правильным” в период обучения, столь же часто, как и новый объект. Этот факт можно объяснить следующим образом: когда цыпленок реагирует на объекты, они всегда появляются (appear) в виде пары, в которой один серый объект является темной частью пары, а другой серый объект – ее светлой частью.⁵⁸ Но в то же время один объект будет виден как имеющий более или менее определенный темно-серый оттенок, а другой – как имеющий более или менее определенный светло-серый оттенок. До тех пор пока эта пара не транспонирована, оба способа видеть объекты совместимы с направлением обучения. С другой стороны, если в течение периода обучения цыпленок реагирует на “правильный” объект исходя из его роли в данной паре, а также как на объект более или менее определенного оттенка серого, обучение даст два эффекта, которые должны конфликтовать между собой, как только будет введена новая пара. На данный момент первый продукт научения будет способствовать выбору одного объекта, а второй – выбору другого. Теперь давайте предположим, что эти два эффекта обучения не одинаково прочны. Если это действительно так, увеличение интервала между пробами со старой парой и пробами с новой парой будет благоприятствовать реакциям, которые зависят от более прочного продукта обучения. Таким образом, из нашего эксперимента следует, что навык, зависящий от пары в целом, более устойчив, чем навык, зависящий от разных серых объектов как таковых. Пара в целом отчасти теряет решающее значение только тогда, когда животное реагирует на новую пару сразу после проб со старой, то есть в то время, когда следы отдельных серых объектов все еще сохраняют эффективность в памяти. По-видимому, общее правило состоит в том, что сохранение организации фактов является более прочным и длительным, чем сохранение отдельных фактов как таковых. Некоторые психологи отмечали, что часто мы сохраняем способность вспомнить общую структуру событий, когда их более конкретное содержание больше не доступно. Этот тезис заслуживает тщательного изучения, поскольку работа в этом направлении может помочь нам понять психологическую природу понятий. В случае с цыпленком было легко исследовать нашу гипотезу. Мы дали животному дальнейшие пробы с новой парой через несколько минут после последних проб со старой парой. Как результат, теперь у него наблюдалось явное преобладание “относительных” реакций.

В этой области многое еще предстоит сделать. В начале главы VIII я упомянул, что последовательное сравнение представляет собой способ, с помощью которого можно исследовать судьбу следов. Мы только что узнали о втором способе. Третий способ, который в чем-то схож со вторым, также может быть получен из экспериментов с животными. Я

⁵⁸ Здесь, как и всегда, когда речь идет о животных, для простоты я употребляю термины вроде “появляться” (“appearing”). Независимо от того, есть ли у цыпленка зрительное поле в человеческом смысле этого слова, такие термины имеют четкое функциональное значение, которое нас только и интересует в данном случае.

рассмотрю его на примере конкретных проблем, которые поднимает гештальтпсихология. Когда Джозеф Ярбро (Yarbrough)⁵⁹ исследовал отсроченное действие у кошек, он обнаружил, что если животным приходилось выбирать между тремя объектами, их реакции переставали быть надежными после задержки всего на четыре секунды. При двух объектах для достижения того же результата задержка могла доходить до величины, более чем в четыре раза превышающей время задержки при трех объектах. Почему в последнем случае результат намного лучше? Исследование на людях с похожей, хотя и более сложной, задачей даст нам объяснение. Если 25 объектов, обладающие по отдельности одинаковыми качествами, располагаются перед испытуемым в виде полукруга, они не все играют одинаковую роль в ситуации, воспринимаемой зрением. Два объекта, первый с левой стороны и первый с правой стороны, характеризуются четко определенным и весьма специфическим граничным местоположением. В известной степени объект в середине полукруга может также рассматриваться как специфически выделенный, по крайней мере, в зрительном поле человека. А все остальные составляют не более чем индифферентное заполнение дуги. Теперь предположим, что испытуемому указывают на один из объектов, и после задержки, в течение которой испытуемый не должен фиксировать на нем взгляд, его просят показать, какой это был объект. До тех пор, пока один из тех особо выделяющихся своим местоположением объектов используется в тесте, реакция испытуемого всегда будет правильной. Но если критический объект находится в индифферентной позиции, и если испытуемому не разрешается использовать косвенные процедуры вроде нумерации, вероятность появления ошибочных реакций весьма высока. Так, испытуемый может выбрать шестнадцатый вместо семнадцатого объекта, или восьмой вместо девятого, а если время задержки увеличивается, или если испытуемый недостаточно внимателен, даже более грубые ошибки могут стать частыми. Это еще раз показывает зависимость отсроченной реакции от более или менее специфического положения правильного элемента в группе, что было ранее продемонстрировано Матильдой Герц в опытах с птицами (ср. сс. 74–76). Тот же объяснительный принцип можно теперь применить к кошкам, которые, после задержки, должны выбрать между тремя объектами. Если подсказка, даваемая при первоначальном предъявлении, относится к объекту с левого края, задача животных имеет отношение к весьма специфическому месту в группе объектов. Специфика этого места, скорее всего, сохранится в памяти. То же самое верно, если критическим объектом является объект с правого края. Однако в случае объекта, расположенного в середине, его локализация внутри группы может быть гораздо менее четко определенной – для кошек. Когда этот объект выделяется при первом предъявлении, его роль в группе на какие-то мгновения может быть достаточно ясной; но вскоре его след, вероятно, теряет свою индивидуальность и становится частью теперь уже недифференцированной внутренней области группы. Из этого следует, что животные будут реже реагировать правильно, когда в эксперименте используются три объекта, а не два.

⁵⁹ *Journ. of Animal Behavior*, 7, 1917.

Только если бы экспериментатор надумал задать трем объектам другое распределение в пространстве, с тем чтобы каждый из них занимал характерное, хорошо дифференцируемое местоположение, возможно, кошки смогли бы снова справиться с поставленной перед ними проблемой. Наверное, читатель склонен возразить, что с тремя объектами вероятность ошибок *ipso facto* увеличивается, и что поэтому поведение кошек может не иметь никакой связи с более или менее специфическим местоположением объектов в данной группе. Разумность этого возражения можно было бы легко проверить, внося именно такие изменения в экспериментальную ситуацию, о которых я только что говорил. С точки зрения организации, это не только вопрос количества, но и вопрос распределения в пространстве. Поэтому, если бы мы расположили три объекта так, чтобы каждый из них играл специфическую роль, то быстро выяснили бы, приемлемо ли объяснение с точки зрения простого количества объектов. В собственных экспериментах Джозефа Ярбро получен результат, который противоречит этому чисто количественному объяснению. Если бы простое количество объектов, а не отсутствие достаточной специфичности как в случае одного объекта, было условием, приводящим к неудаче в ситуации с тремя объектами, то ошибочные реакции животных должны были бы равномерно распределяться между тремя объектами. В действительности дело обстоит иначе. После длительной задержки (более 4 секунд) некоторые кошки никогда не выбирали объект, занимающий среднее положение. Все их реакции были направлены на первый объект с левой стороны или на первый объект с правой стороны. Именно этого следовало ожидать, если наше объяснение является правильным, поскольку данный факт не может быть понят без ссылки на организацию. Мы можем сделать вывод, что у кошек следы прошлых событий претерпевают чрезвычайно быструю трансформацию, в ходе которой менее четко заданные части групп разрушаются. После того как это произошло, последующее поведение, очевидно, будет определяться упрощенной организацией, которая только и остается.

Похожее наблюдение мы сделали с г-ном Тинккло (Mr. Tinklepaugh), когда, используя другой метод, проводили эксперименты по отсроченной реакции с обезьяной (a monkey). Довольно большая квадратная площадка на земле была покрыта слоем песка высотой в несколько дюймов. На глазах у животного мы оставляли на песке определенные метки, такие как, например, небольшой холмик из того же материала или, в другом эксперименте, прямая линия, прочерченная на поверхности площадки пальцем. После этого приготовления пища закапывалась в песок в таком месте, которое, будь нашим испытуемым человек, четко выделялось бы как точно заданная позиция *рядом* с меткой. Мы хотели узнать, будет ли животное использовать эту метку для запоминания местонахождения пищи; ибо без метки на однородной поверхности его предыдущие реакции на закопанную пищу не были достаточно ясными. Обезьяна, которая наблюдала за нашими приготовлениями, не выпускалась из клетки, пока не проходило некоторое время. Когда ей позволяли подойти к песчаной площадке, она сразу же шла к метке и пыталась найти там еду. Она никогда не искала пищу в окрестностях метки. Дальнейшие наблюдения весьма желательны; но одно объяснение

представляется настолько правдоподобным, что я без колебаний упомяну его здесь. Так же, как и в случае отсроченной реакции, которая исследовалась у кошек, реакция данной обезьяны зависит от следа, в котором репрезентирована организация зрительного поля. В этом поле холмик или линия на песке являются заметными признаками для ориентировки на местности. С другой стороны, местонахождение спрятанной пищи задано менее определенно. Поэтому мы можем предположить, что происходит упрощение, аналогичное упрощению, наблюдавшемуся в экспериментах Джозефа Ярбро. У нашей обезьяны след поля также будет трансформироваться во время задержки, и в ходе этого изменения все менее определенные части снова окажутся в невыгодном положении. Как след, ситуация станет такой неясной, что практически от нее останется только выступающая метка с нечеткой ссылкой на скрытую пищу. Метод, который мы использовали в работе с этой обезьяной, конечно, может быть усовершенствован. После чего он может стать точным инструментом для исследования судьбы мнемических следов у животных.⁶⁰

Таким образом, следы отнюдь не являются жесткими образованиями. Наоборот, они наполнены динамическими тенденциями; и эти тенденции, похоже, гораздо сильнее у животных, чем у людей. С этой точки зрения изучение отсроченной реакции у животных, вероятно, будет иметь большое значение для общей психологии. Всегда разумно исследовать в первую очередь наиболее выраженные формы феноменов.

В таких наблюдениях поведение, зависящее от следов памяти, используется как индикатор изменений, которым эти следы подвергаются. Впрочем, есть и другие ситуации, в которых следы хорошо сохраняются, хотя, при обсуждаемых здесь обстоятельствах, вспоминание, тем не менее, затруднено или даже невозможно. Некоторые примеры такого рода упоминались в предыдущей главе. Сейчас мы рассмотрим другие примеры, которые также показывают, что вспоминание зависит от очень специфических условий.



Рис 20 (слева) и Рис. 21 (справа)

Если термин ассоциация выражает тот факт, что след унитарного опыта сам является унитарным фактом, то из этого, как может показаться, следует неизбежный вывод: стоит

⁶⁰ Тем временем г-н Тинккло добился значительного прогресса в этом направлении. Его “метод замещения” является отличным способом для изучения характеристик и судьбы следов. (*The Journ. of Compar. Psychol.*, 8, 1928.) Ср. также *W. Köhler, Psychol. Forsch.*, 1, 1921.

только такому унитарному следу образоваться, любая группа стимулов, соответствующая значительному фрагменту первоначальной ситуации, будет вызывать вспоминание других ее частей. На самом деле для такого вывода нет оснований, потому что между характеристиками организованного опыта и соответствующими стимулами нет и не может быть взаимно-однозначного соотношения. Организованный процесс зависит от всего набора стимулов и их “характеристик-во-взаимосвязи” в такой форме, которая не допускает разложения на независимые эффекты локальных стимулов. По этой причине любой фрагмент первоначального набора стимулов не порождает процесс, который фактически содержался в первоначальном процессе. Скорее, такой фрагмент вызывает процесс, отличающийся в некоторых отношениях от соответствующей части первоначального события. Как следствие, процесс, который сейчас устанавливается, может не иметь эквивалентного аналога в унитарном следе прошлого события, и может по этой причине оказаться не в состоянии вызвать вспоминание его других частей. Например, рис. 20 вряд ли вызовет в памяти недостающие линии латинской буквы **H**, хотя, геометрически, на рис. 20 представлена большая часть этой буквы. Да и рис. 21 не вызовет вспоминания отсутствующих линий буквы **R**. Воспринимая зрительно буквы **H** или **R**, мы, конечно, не видели в них изображенных на рис. 20 или 21 фигур как актуальных зрительных форм. Поэтому следы **H** и **R** не содержат частей, которые соответствуют линиям, изображенным на наших рисунках, – и вспоминание не происходит. Мы должны сделать вывод о том, что вспоминание ограничивается случаями, в которых установившийся на данный момент процесс и часть первоначального унитарного события являются достаточно похожими. Это будет происходить лишь в том случае, когда данный процесс соответствует *естественной* части, или субцелому, первоначальной организации. Так, можно ожидать, что аббревиатура U.S. вызовет вспоминание **A.**, а звезды – вспоминание других элементов американского флага. В обоих случаях часть, которая сейчас представлена, имеет сходство с относительно независимой частью первоначального опыта. Очевидно, сходство – это главное условие. Если мы нарисуем профиль от носа вниз к подбородку, эта линия не соответствует субцелому лица. Тем не менее, поскольку такая линия не слишком отличается от той же линии, являющейся частью полного профиля, процесс, соответствующий этой линии, имеет сходство с частями процесса, который лежит в основе профиля как зрительной формы, а также соответствующих следов. Следовательно, вспоминание в этом случае, скорее всего, происходит.

В целом, однако, вспоминание не может происходить с такой легкостью, как это предполагается в современных эмпирических теориях. Похоже, оно ограничено довольно узким проходом между Сциллой и Харибдой. Ассоциация необходима для вспоминания, и ассоциация предполагает достаточную степень консолидации в смысле организации. С другой стороны, вспоминание, может происходить только в том случае, если процесс, который устанавливается в данный момент, имеет сходство с какой-то областью внутри организованного следа всего переживания. Таким образом, если часть исходной ситуации почти полностью поглощена более крупной организацией, стимуляция, которая соответствует

этой части, будет не способна вызвать воспоминание. Между этими ограничивающими условиями, одно из которых накладывается природой ассоциации, а другое – сущностью воспоминания, существует довольно узкий диапазон, в котором только и может происходить воспоминание.

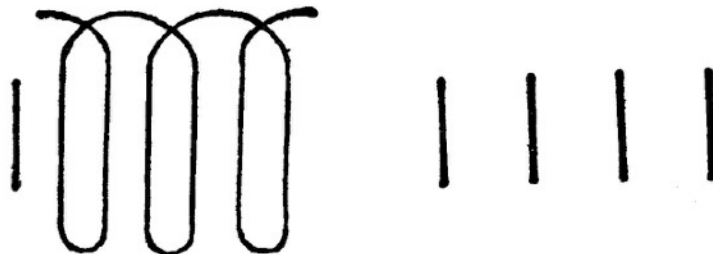


Рис. 22 (слева) и Рис. 23 (справа)

Чтобы продемонстрировать этот факт, я проделал следующий эксперимент. Испытуемым показывали пары рисунков. Спустя некоторое время фрагменты этих рисунков предъявлялись с инструкцией вспомнить недостающие части. Теперь, в случае, как на рис. 22 например, предъявлялась либо вертикаль слева, либо рис. 23. Геометрически, рис. 23 представляет собой значительно бóльшую часть исходного рисунка, чем эта единственная вертикаль. И все же, когда предъявлялась вертикаль, правильное воспоминание происходило гораздо чаще, чем когда испытуемым показывали рис. 23. С точки зрения гештальтпсихологии это вовсе не является неожиданностью. Рис. 23 дает зрительный опыт, который не появляется в составе рис. 22. На рис. 23 даже первая вертикаль слева утратила свою тенденцию вызывать воспоминание рис. 22, потому что на рис. 22 вертикаль обособлена как нечто отдельное, тогда как на рис. 23 она представляет собой левый конец группы параллельных линий.

Это последнее замечание вводит дополнительное ограничение на возможности воспоминания. Совокупность стимулов может оказаться неспособной вызвать воспоминание не только когда она обособляется от других стимулов, с которыми была первоначально объединена, но и когда дается вместе со стимулами, которые не присутствовали во время первоначального предъявления. Это условие тоже может приводить к переживаниям, которым не соответствует ни одна часть имеющегося следа. Мы еще раз убеждаемся в том, что значение имеет не только организация, установившаяся во время ассоциации, но и организация во время (ожидаемого) воспоминания. При демонстрации в определенном окружении, конкретный набор стимулов может составлять отличную основу для воспоминания. Однако такой конкретный набор будет не часто повторяться в точно таком же окружении, в каком он появился при образовании ассоциации. Тогда, помимо более грубых препятствий, которые были рассмотрены выше, даже небольшое изменение окружающего поля может сделать данный конкретный набор стимулов неспособным вызвать воспоминание

ассоциированных элементов, просто потому что такое изменение вводит новую организацию, в которой уже нет места фактам опыта, соответствующим данному конкретному набору. В том, что это так и есть, можно заключить из экспериментов Нагеля (Nagel) (ср. с. 136). В прочно заученной серии бессмысленных слогов каждый элемент, хотя он и встроен в полную серию, казалось бы, является полностью автономной вещью. Но если один такой слог дается отдельно для вспоминания следующего слога, этого изменения его окружения часто достаточно, чтобы сделать вспоминание невозможным.

Такое же влияние организации на вспоминание продемонстрировали Шепард и Фогельсонгер (Shepard and Fogelsonger), причем в неожиданной форме.⁶¹ Эти психологи требовали от своих испытуемых заучивать наизусть пары слогов. Некоторые из этих пар имели одинаковые вторые члены. Интервал между первым появлением такого слога и его повторением в другой паре составлял 25 минут. Во время теста давался первый слог пары, а второй ее слог нужно было вспомнить. Но поскольку два слога сопровождалась, в разное время, одним и тем же вторым слогом, в этом тесте оба они предъявлялись вместе. Если организация не принимается в расчет, следует ожидать, что в последнем случае второй слог, соответствующий двум предъявленным слогам, будет легче вспомнить, чем второй слог, который был ассоциирован только с одним первым слогом; ибо обычно предполагается, что две ассоциации, действующие в одном направлении, усиливают друг друга. На самом деле, однако, наблюдалось прямо противоположное. Тот факт, что эти два слога давались вместе, по всей видимости, препятствовал вспоминанию. Помеха была особенно сильной, когда оба слога давались одновременно, но она также была заметной при предъявлении слогов в быстрой последовательности. Вероятно, этому можно дать следующее объяснение. В период заучивания испытуемым всегда давали только один первый слог вместе с соответствующим ему вторым слогом, и когда в решающих пробах перед ними появлялись два слога, эти объекты поначалу выглядели незнакомыми в новой группировке; в результате ни один из них не мог сразу вызвать в памяти второй слог, общий для обоих. Это объяснение подтверждалось качественным наблюдением. Испытуемые в своих отчетах сообщали, что вспоминание стало возможным только благодаря аналитической установке (*attitude of analysis*), при которой один из слогов в достаточной степени изолировался. Из нашего объяснения следует, что любой не относящийся к делу слог, который никогда не появлялся в период заучивания серии, но теперь появляется вместе с первым членом заученной пары, должен вызывать то же возмущающее действие. Авторы данного исследования обнаружили, что дело обстоит именно так. Таким образом, предложенное объяснение, кажется, полностью подтверждается. Наш вывод состоит в том, что даже очень небольшое изменение обстоятельств будет иногда затруднять вспоминание.

⁶¹ *Psychol. Rev.*, 20, 1913

Аналогичный результат получил Г. Фрингс (Frings)⁶² в своей работе об эффектах торможения, хотя проблемой его исследования было научение, а не вспоминание. Как было показано в классических экспериментах, в том случае, если слог *A* стал ассоциироваться со слогом *B*, тот же слог *A* уже не может столь же легко ассоциироваться с третьим слогом *C*, как это мог бы сделать нейтральный слог. Также, после того как слог *A* стал включенным в ассоциативную связь не только с *B*, но с *C*, он значительно медленнее вызывает вспоминание как *B*, так и *C*. Конкуренция двух организаций дает тормозящий эффект. Фрингс смог показать, что при определенных условиях эти эффекты торможения полностью исчезают. Его испытуемым предлагалось заучить серию слогов, причем в инструкции говорилось, что слоги следует читать и запоминать ритмическими группами (наподобие анапеста), в которых после двух менее акцентированных элементов третий следует с главным акцентом. В такой группе первые слоги естественно образуют субцелое. В тесте предъявлялись эти два слога, а третий нужно было вспомнить. Тогда, если такая группа как **(ac)d** появляется в первой серии, а такая группа как **(bc)e** в последующей серии, можно ожидать, что образование ассоциации между **c** и **e** будет тормозиться, потому что **c** сначала ассоциировалось с **d**, а теперь ассоциируется с **e**. Аналогично, как только, несмотря на это торможение, образуются ассоциации **(ac)d** и **(bc)e**, у испытуемых возникнут трудности при вспоминании **d**, когда дается пара **ac**, и **e**, когда дается пара **bc**. С точки зрения организации, однако, мы должны отдавать себе отчет в том, что в группе **(ac)d** слог **c** – элемент субцелого **(ac)**, тогда как в группе **(bc)e** он является элементом другого субцелого **(bc)**; и что, следовательно, слог **c** не совсем та же самая вещь в обоих случаях. Мы можем также сказать, что в первом случае не **c**, а скорее субцелое **(ac)** ассоциировалось с **d**, и что в последнем случае опять же **(bc)**, а не **c**, ассоциируется с **e**. По этой причине ни научение, ни вспоминание не должно тормозиться. Эксперименты подтвердили эту точку зрения. Когда слог **c** появлялся в двух различных субцелых, не наблюдалось никаких эффектов торможения. Особенно интересно, однако, что эффекты торможения возникали сразу же, как только испытуемый утомлялся во время заучивания серии слогов, и поэтому утрачивал способность быстро воспринимать слоги в предписанных ритмических комплексах.

Мы показали, что из-за фактов организации экспериментальные результаты могут значительно отличаться от того, что заставляют нас ожидать классические законы ассоциации и вспоминания. И все же самое радикальное ограничение этих законов пока не рассматривалось. Однако мы не можем начать дальнейшее продвижение в этом направлении до тех пор, пока не обсудим более общую тему, – задачу, которой мы сейчас и займемся.

В различных случаях мы упоминали, что каждый человек переживает свое “Я” (self) как особую, отдельную данность среди многих других объектов. Следовательно, в головном мозге должны происходить процессы, соответствующие не только фактам объективного опыта, но переживаемому “Я”. Процессы, представляющие “Я”, отличаются во многих

⁶² Arch. f. d. ges. Psychol., 30, 1914. Эти эксперименты были спланированы К. Бюлером (Bühler).

отношениях от тех, которые соответствуют внешним объектам, но оба вида процессов должны иметь и общие характеристики. Это следует из того факта, что иногда “Я” взаимодействует с внешним опытом точно так же, как одно переживание внешнего мира взаимодействует с другим таким переживанием. Для подтверждения этого достаточно будет привести два примера.

Когда физический объект движется, соответствующая зрительно воспринимаемая вещь будет, как правило, также *видеться* движущейся. Есть, однако, случаи, в которых, несмотря на то, что объективно один объект движется, а другой находится в состоянии покоя, зрительно первый остается почти или полностью неподвижным, а последний движется. И это происходит не только как редкая иллюзия. “Индукцированное” движение, как этот феномен был назван Карлом Дункером (Dunker)⁶³, появляется при вполне определенных условиях и всегда наблюдается, когда они реализуются. Так, когда облака проходят мимо луны в определенном направлении, луна часто видится движущейся в противоположном направлении. Когда при отправлении поезда пассажир фиксирует взгляд на какой-то точке окна железнодорожного вагона, объекты снаружи начинают плавно двигаться в направлении, противоположном движению поезда. Любое изменение пространственных отношений объекта с другими вещами может сказываться так на объекте, находящемся, с точки зрения физики, в состоянии покоя. Так вот, абсолютно то же самое обычно происходит с нашим “Я”, когда изменяется его пространственное отношение к внешним объектам. Например, когда окружающая нас среда вращается вокруг нас, мы вскоре начинаем чувствовать себя вращающимися в противоположном направлении. Здесь индукцированное движение себя опосредуется зрительными переживаниями. Мишотт и Гатти (Michotte и Gatti) показали, что тот же эффект вызывается в том случае, когда человек держит в руках два объекта, которые с помощью некоего устройства медленно и с одинаковой скоростью перемещаются в одну сторону. Здесь снова испытуемый чувствует, что его тело поворачивается в противоположную сторону. Таким образом, наше “Я” демонстрирует феномен индукцированного движения точно так же, как и внешние объекты.

В качестве второго примера я выбираю тот факт, что наше “Я”, как и любой другой объект, может становиться членом перцептуальных групп. Естественно, если я кладу свои руки на стол, в то время как другой человек делает то же самое на противоположной стороне стола, я вижу четыре руки в двух парных группах. Но и целое “Я” может точно так же входить в группу. Если кто-то сопровождает меня во время прогулки по улице, и если впереди нас идет другая пара, я чувствую (и частично вижу) себя членом одной из двух групп.

В предыдущих главах понятие организации применялось к внешнему опыту. Но наши нынешние примеры показывают, что на самом деле организация имеет отношение к целому полю, а это означает, что наше “Я” тоже подпадает под ее действие. Другими словами, я утверждаю, что некоторые общие принципы функции применимы к самому себе в той же

⁶³ К. Dunker, *Psychol. Forsch.*, 12, 1929.

мере, как и к объектам в более привычном смысле слова. Поначалу это заявление может показаться немного тревожащим, потому что традиционная мысль склонна придавать нашему “Я” уникальное положение. Разве мы не сохраняем свою тождественность в то время как почти все остальное в окружающем нас поле свободно изменяется? Однако, несмотря на эту тождественность, разве не являются состояния “Я” гораздо более изменчивыми и разнообразными, чем объективный опыт? Я охотно допускаю, что всё это важные факты, которые неизбежно оказывают сильное влияние на любую организацию, в которой участвует наше “Я”; но из этого не следует, что, когда мы рассматриваем роль “Я” в опыте, понятие организации как таковое больше не применимо. Бывает, что благодаря этим фактам “Я” занимает центральное положение в тотальном поле; но даже это происходит далеко не всегда. В конце концов, во многих ситуациях опыт включает в себя других людей, и есть обстоятельства, при которых такие люди занимают более заметное положение в поле, чем наше “Я”.

Изучая поведение в перцептуальном смысле этого слова⁶⁴, мы познакомились с разновидностью группировки, в которой определяющую роль играет динамическая референция (reference) (гл. VII). Не лишне будет вспомнить, как Уотсон, бихевиорист, описывал поведение ребенка. Он видел ребенка включенным в отношение с объектом, факт, который предполагает не только то, что в его зрительном поле ребенок и объект, о которых идет речь, были членами парной группы. Эта особая группа характеризовалась также динамическим отношением, которое распространялась от одного из ее членов к другому. Аналогично, когда собака лает, действие животного будет часто восприниматься как явно относящееся к конкретному объекту, на который направлен лай. В целом, нет более убедительных примеров группообразования, чем те, в которых проявляются динамические факторы в этом смысле. Мы также показали, что эта референция (reference) может быть двух видов. Она либо положительна, то есть направлена к объекту, либо отрицательна, каким она бывает, например, в установке избегания. В обоих случаях мы будем использовать выражение “*биполярная организация*”, предназначение которого – помочь отличить такие динамические случаи от обычных парных групп.

Впрочем, наше обсуждение, в ходе которого мы впервые познакомились с биполярной организацией, также дало понять, что в этом отношении, не меньше, чем в других, воспринимаемое поведение имеет тенденцию отображать переживания воспринимаемого существа. Иными словами, биполярная организация возникает не только тогда, когда мы наблюдаем, что делают другие. Наоборот, любой из нас может оказаться в известном смысле направленным к одним объектам или от других объектов, что предполагает динамическое группообразование того же рода. Фактически, за исключением состояний крайне низкой жизнеспособности, вряд ли существует тотальное поле, у которого отсутствует биполярная организация. Наше “Я” практически всегда направлено к чему-то или от чего-то. Наиболее

⁶⁴ Т.е. поведение, данное нам в восприятии. – А. А.

яркие примеры – это случаи интенсивных эмоций и мотиваций. Но внимание в целом также может служить примером. В случае зрительного восприятия его направленность в тенденции совпадает с направлением зрительной фиксации, но эта связь не жесткая. В действительности внимание как обращенность к конкретным вещам переживается в его чистом виде, когда, фиксируя данную точку, мы сосредоточиваемся на одном объекте за другим на периферии поля.

Очевидно, что биполярная организация имеет сходство с ситуациями в физике, в которых силовые линии или направленные процессы привязывают одну часть поля к другой. В гештальтпсихологии различные направленные установки “Я” не интерпретируются как “инстинкты”, присущие “Я” *per se*. Наоборот, они рассматриваются как *векторы*, которые зависят как от “Я”, так и от наличных объектов, или, точнее, от отношения, которое образуется в данное время между характеристиками первого и характеристиками последних. И это полностью согласуется с представлением о том, как физические векторы между объектами зависят от “характеристик-во-взаимосвязи” этих объектов. Различные состояния “Я”, о которых здесь идет речь, в высшей степени обусловлены физиологическими состояниями в организме. Исследования отдельных инстинктивных потребностей (appetities), сексуального поведения и т. д. сделали это совершенно ясным. Даже когда у взрослого человека имеются устоявшиеся формы поведения относительно конкретного вектора, его привычная активность в этом отношении вряд ли появится, если условия внутри организма не будут благоприятствовать этому. Зато при наиболее благоприятных внутренних условиях действие может быть сильным даже при отсутствии адекватных объектов. Несмотря на все это, столь же верно и то, что сила психологических векторов также зависит от предлагаемых объектов. Самые доказательные исследования в этой области не оставляют никаких сомнений в только что сказанном.⁶⁵

Наше сравнение биполярной психологической организации с действием поля в физике вполне серьезно. Фактически, мы склонны предполагать, что, когда наше “Я” чувствует себя так или иначе включенным в отношение с объектом, в головном мозге действительно существует силовое поле, которое распространяется от процессов, соответствующих “Я”, до процессов, соответствующих объекту. Принцип изоморфизма требует, чтобы в данном случае организация опыта и лежащие в его основе физиологические события, имели одинаковую структуру. Наша гипотеза соответствует этому постулату. В следующей главе мы приведем дополнительные факты, которые указывают в том же направлении.

⁶⁵ В случае некоторых векторов мы действительно не знаем конкретных физиологических условий, которые обуславливают внутреннюю сторону биполярной организации. Например, после долгого одиночества большинство людей обычно испытывают сильное “стремление” (“drive”) к социальному контакту, даже с незнакомыми людьми. В некоторых отношениях действие этого вектора схоже с действием потребностей в пище, воде или половом партнере. Может быть длительное отсутствие социального контакта и, как следствие, достаточно интересных “объектов” создает особое состояние в нервной системе, и это состояние, в общих чертах, сопоставимо с отсутствием пищи, воды и т. д.?

Игра психологических векторов, источники, из которых они возникают, напряжение, которое некоторые части поля испытывают под их влиянием, различные изменения, вызываемые вследствие этого, и, в конечном счете, прекращение действия векторов и напряжений после получения определенных результатов – все это составляет главный предмет психологии, равно как и главное содержание жизни. Мы не можем заниматься этими проблемами в настоящей главе. Однако для наших непосредственных целей мы извлекли важный урок из нашего отступления от основной темы: при использовании понятия организации мы должны применять его к нашему “Я” так же, как и к другим частям поля.

Теперь мы можем вернуться к обсуждению запоминания и вспоминания. Имеет ли факт биполярной организации какие-либо последствия в этом разделе психологии? Очевидным последствием является следующее. Мы обнаружили, что ассоциация подразумевает сохранение унитарных следов после того как произошли организованные процессы. Тогда, если “Я” образует особенно сильные функциональные “единицы” с объектами, к которым его отсылают вектора, то следует ожидать, что не только переживания внешних событий, но и это действие векторов, вместе с соответствующими состояниями “Я” и соответствующими объектами, оставят такие следы в нервной системе. В действительности, мы, конечно же, воскрешаем в памяти наши прежние установки, когда снова попадаем в определенные ситуации, так же как мы способны вспомнить эти ситуации, когда такие установки опять возникают.

Но что-то более важное следует из того, что векторы действуют в психологических ситуациях, и что их действие имеет последствие. Следующее переживание достаточно типично: у меня есть задача, которая, возможно, мне не нравится, но которую необходимо выполнить в срок. Однако в течение дня я оказываюсь занятым множеством других дел. Я разговариваю с друзьями, читаю книгу и т. д. Но время от времени дает себя знать что-то вроде давления внутри меня, и при анализе это давление, оказывается, исходит от той задачи. Давление это равнозначно устойчивой тенденции задачи напоминать о себе и, таким образом, вторгаться в текущее поле действия. Очевидно, этот феномен может означать только то, что данный след все еще содержит вектор. Именно в связи с такими наблюдениями можно лучше всего понять важные эксперименты, впервые проведенные К. Левиным и Б. В. Зейгарник.⁶⁶

Испытуемому дается серия простых заданий. Например, он должен скопировать несколько строк из книги; продолжить орнамент, принцип которого задан в образце; решить простую математическую задачу; назвать двенадцать городов, названия которых начинаются с буквы L, и т. д. В некоторых случаях испытуемому дают возможность закончить свою работу, в других экспериментатор прерывает его до завершения работы. После серии таких задач, только половина которых была завершена, испытуемого просят в случайном порядке вспомнить какие задания он выполнял. Отчет, представляемый в этих обстоятельствах, как правило, является весьма любопытным. Первые вспоминаемые испытуемым задания, как

⁶⁶ Ср. *Psychol. Forsch.*, 9, 1927.

правило, относятся к тем, которые были прерваны, и обычно из этого класса запоминается намного больше заданий, чем из другого. Когда в одном из таких экспериментов испытанию подвергались 32 испытуемых, 26 из них вспомнили больше прерванных заданий, чем завершенных; по всем испытуемым, взятым вместе, перевес прерванных заданий составил 90%. Для устранения влияния особенностей отдельных заданий принимались специальные меры: задания, которые были прерваны в опытах с некоторыми испытуемыми, были завершены в данном случае точно так же, как и многие другие. Из серии 22 заданий 17 чаще вспоминались после прерывания, чем после завершения. Когда тот же эксперимент был повторен с другими испытуемыми, перевес случаев вспоминания для прерванных задач составил в среднем те же 90%. В третьем эксперименте, в котором испытуемыми были дети, он составил 110%.

В объяснении полученных результатов авторы эксперимента ссылаются на тот факт, что пытаясь решить проблему, испытуемый испытывает напряжение, которое связывается им с его работой, и что это напряжение имеет тенденцию сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто решение. Если работа прерывается до завершения, след ситуации будет содержать это напряжение. И точно так же как во время выполнения задания такое напряжение способствует продолжению работы, оно все еще действует в том же направлении когда ситуация, после прерывания, уже стала следом. Так как вспоминание, вероятно, было первым шагом к завершению задания, такой результат эксперимента вполне понятен.⁶⁷ Если это объяснение является правильным, оно должно иметь проверяемые следствия. Я упомяну только об одном из них. Нельзя ожидать, что в нормальных условиях напряжение в следах будет сохраняться вечно. Более вероятно, что оно постепенно исчезает. Именно это и было установлено. Когда вспоминание проверялось после 24 часовой отсрочки, численный перевес прерванных задач в отчетах испытуемых значительно уменьшился.

Эти факты указывают на то, что вспоминание зависит от характеристик первоначальной ситуации. Другая проблема касается вопроса о том, в какой степени вспоминание подвержено влиянию векторов, заданных во время вспоминания как такового. В этой связи многие эксперименты с памятью открыты для серьезной критики. В главе VIII мы показали, что когда испытуемые активно заучивают наизусть бессмысленный материал, результаты невозможно интерпретировать так, как если бы они относились к автоматически образованным ассоциациям. Аналогично этому, когда испытуемому дается слог с явной задачей вспомнить следующий, результаты могут сильно отличаться от тех, которые могли бы быть получены в тесте спонтанного вспоминания. В этом случае опять традиционная экспериментальная процедура далека от соответствия классическому закону ассоциации и вспоминания по смежности. Если мы хотим следовать очевидному смыслу этого закона, мы должны предъявлять испытуемому слог безо всякой инструкции и в ситуации, в которой ничто не заставляет его предполагать, что он должен вспомнить ассоциированный элемент.

⁶⁷ Попутно можно отметить, что здесь, вероятно, нужно признать некоторую связь между данными экспериментальной психологии и фрейдистскими концепциями.

Вопрос как раз в том, будет ли при таких обстоятельствах этот элемент спонтанно воскрешаться в памяти. По большей части экспериментаторы не поступают таким образом; наоборот, они просят вспомнить. Тогда, подобно тому, как испытуемого можно направить на части его настоящего поля, его также можно отослать к тому, что лежит за пределами этого поля, например, к вещам и событиям прошлого. Это – установка, которую мы обычно принимаем, когда мы пытаемся вспомнить имя человека или название места. И эта установка обязательно скажется на воспоминании. Несмотря на то, что в законе ассоциации этот фактор никогда не упоминается, в большинстве случаев он примешивается к независимым переменным в экспериментах, которые имеют отношение к данному закону. Крайне мало исследований, в которых удалось избежать этой несообразности.

Некоторое время назад многие психологи сказали бы, что автоматическое воспоминание является одним из главных двигателей психической жизни и поведения. Здесь не помешало бы предостеречь против серьезного заблуждения. Экспериментальные данные свидетельствуют против такого взгляда. Было показано, что воспоминание не происходит, если не выполняются определенные условия. Наиболее важную работу в этой области проделал Курт Левин.⁶⁸ Среди его экспериментов есть один, в котором прямо исследовалась эта проблема. Он заставлял своих испытуемых заучивать пары слогов либо обычным способом, либо новым методом, который я не могу здесь описывать. После большого количества повторений, которые были распределены на несколько дней, испытуемым предъявлялись одиночные слоги с инструкцией читать их, а затем ждать. Время от времени (случайным образом) им показывали первый элемент одной из ранее предъявлявшихся пар. С традиционной точки зрения, можно было бы ожидать, что второй элемент такой пары сразу и автоматически вспомнится. В целом, однако, дело обстояло совершенно иначе. Даже когда инструкция была изменена на “скажите мне первое, что приходит вам в голову после прочтения каждого слога”, результат остался в целом отрицательным. Интересно рассмотреть исключения, в которых воспоминание ассоциированного слога все же происходило. Когда испытуемому дают инструкцию пассивно ждать, его установка недостаточно четко определена. После некоторого ожидания, та или другая установка будет почти всегда развиваться в направлении конкретизации. Например, если слог выглядит знакомым, то появится тенденция идентифицировать и рассматривать данный элемент исходя из прошлого. Теперь, как только испытуемые начали таким образом направляться к старому контексту, воспоминание стало происходить довольно часто. И это было отнюдь не спонтанное воспоминание, поскольку оно не произошло бы без этой специфической тенденции у данного испытуемого.

Если испытуемого просто как-то направляют к наличному объекту, это не может служить достаточным основанием для воспоминания. В экспериментах Левина был необходим

⁶⁸ *Psychol. Forsch.* 1 u 2, 1922. В чем-то похожие эксперименты были еще раньше проведены Поппельрейтером (*Poppeleureter, Zeitschr. f. Psychol.*, 61, 1912), который также был первым, кто выступил с критикой, упомянутой в этом тексте.

вектор в направлении элемента, принадлежащего событиям прошлого; в противном случае воспоминание не происходило. Подобные факты можно без труда наблюдать в повседневной жизни. Например, хорошо известные объекты сильно ассоциированы с их названиями. Тем не менее, гуляя по улице и последовательно направляя внимание на множество вещей, мы по большей части далеки от того, чтобы вспоминать их названия. Если выдвигается возражение, что объекты образуют ассоциации с огромным множеством вещей помимо их названий, и что все эти разнообразные ассоциации тормозят друг друга, этот же аргумент допускает, что бесчисленные сильные ассоциации обычно не приводят к соответствующему воспоминанию. К сожалению, этот факт постоянно игнорируется в теориях эмпиристов. Но когда ассоциации действительно становятся эффективными? Предположим, что читатель идет со мной по улице, и что он только что согласился с моим заявлением по поводу отсутствия воспоминания названий встречающихся нам знакомых объектов. По всей вероятности, сразу же после этого читатель сможет дать название любому из известных объектов, расположенных вдоль улицы. Это ясно доказывает, что взаимное торможение нескольких ассоциаций не может быть главным фактором, который препятствует воспоминанию в такой ситуации. Ибо, где сейчас эти торможения? Решающим моментом, конечно, является то, что наш разговор задал читателю установку не только в отношении названий как таковых, но и в отношении именованного как особой формы воспоминания. Как следствие, сразу начинают действовать соответствующие ассоциации.

Эти наблюдения помогают нам увидеть существующую проблему. Лабораторная среда далеко не всегда нужна, чтобы считать факты важными. Нам никогда не следовало верить тому, что именно спонтанное воспоминание главным образом поддерживает психическую жизнь и поведение. В любой момент мы оказываемся занятыми какой-то работой, или какой-то проблемой, или предметом разговора, и т. д. В этих условиях динамические отношения между “Я” и его объектами имеют тенденцию развиваться последовательным и согласованным образом, что придает выражениям “работать”, “решать нашу проблему”, “поддерживать тему” и т. д. их очевидные значения. Порой может казаться, что это несколько оптимистичное описание жизни. Например, когда я возвращаюсь к своей рукописи, моя работа может и не быть сразу такой уж последовательной. Сначала даже слабый шум может отвлечь меня от моей задачи, и одна небольшая помеха за другой может оказывать такое же действие, пока, наконец, снова не будет установлен непрерывный поток логически последовательных операций. А как насчет воспоминания, когда это благоприятное положение дел снова преобладает? Все слова и понятия, которые встречаются в моей работе, связаны с другими словами, понятиями и ситуациями, большинство из которых совершенно не связаны с текущей задачей. Такие ассоциации относятся к самым разным периодам моей жизни и разнообразным интересам. Тогда, если каждая из них автоматически вызывала бы соответствующие воспоминания, моя умственная сцена быстро превратилась бы в хаотическое скопление бессвязных элементов. На самом деле, моя работа продолжается как функционально автономная, связанная последовательность операций, которая имеет тенденцию

приближаться к конечной цели в соответствии с планом, который я держу в голове. Даже если в самом начале что-то и может отвлечь меня от следования намеченным курсом, вскоре я начинаю настолько хорошо управлять собой, что после временного отвлечения сразу возвращаюсь на главную дорогу. Спонтанное вспоминание той или иной вещи может вызывать часть таких отвлечений от работы, так же как это делает случайный шум; но оно не может объяснить ту стабильную последовательность, с которой продолжается сама работа. По сравнению с векторами, благодаря которым “Я” в таких условиях направляется на свою задачу, спонтанное независимое вспоминание должно быть признано фактором второстепенного значения.

Это было убедительно продемонстрировано в некоторых экспериментах К. Левина. Я опишу его наблюдения в несколько упрощенном виде. Сначала его испытуемым пришлось снова заучивать пары бессмысленных слогов. Позже им предъявляли дополнительно определенные слоги с инструкцией, что в каждом слогое нужно поменять местами первую и последнюю буквы. Измененный слог нужно было произнести, а время, которое требовалось на эту операцию, измерялось. Читатель конечно же заметит, что здесь мы имеем, в простой форме, именно ту ситуацию, которую я только что описал. Испытуемый работает над конкретной задачей. С одной стороны, если среди слогов предъявляется первый из ранее ассоциированной пары, соответствующее вспоминание, казалось бы, должно привести к ошибочной реакции. Любая тенденция в этом направлении должна бы как минимум тормозить правильный ответ, что неизбежно увеличивало бы время выполнения операции. С другой стороны, если предъявляемый теперь слог опять является первым членом ранее ассоциированной пары, но при этом слог, который испытуемый должен образовать путем перестановки букв, оказывается идентичным второму элементу этой пары, любая тенденция к вспоминанию этого слога должна облегчить правильный ответ, и время выполнения операции должно бы сократиться. К удивлению автора эксперимента ничего подобного не наблюдалось. Вообще не было неправильных ответов, соответствующих независимому и спонтанному вспоминанию. Кроме того, там, где любая тенденция такого рода предположительно тормозила реакцию испытуемого, время выполнения операции, как правило, не превышало среднего уровня. А там, где такая тенденция, как ожидалось, должна бы ускорять реакцию, время выполнения операции было таким же, как и в случае контрольной серии слогов.⁶⁹ Очевидно, что в условиях этих экспериментов векторы действуют в соответствии с принятой инструкцией, какими бы сильными при этом ни были ассоциации, связывающие части данной ситуации с посторонним материалом.

Доктор Левин ясно понимает, что в известной степени этот факт можно объяснить на основе принципа, который обсуждался в начале этой главы. Мы помним, что если между *A* и *B* образовалась ассоциация, предъявление *A* не приведет к вспоминанию *B*, если

⁶⁹ Из этих результатов следует, что мы не можем, как предлагал Н. Ах (N. Ach), измерять способность к волевому движению через силу противоположных ассоциаций, которые просто служат противовесом волевому усилию.

характеристики A уже не идентичны тем, которые были во время образования этой ассоциации. Мы также знаем, что эти характеристики изменятся, если, несмотря на предъявление соответствующей A совокупности стимулов, A становится частью измененной организации при последующем появлении. Так вот, когда во время заучивания слог читается естественным образом, он воспринимается как простая “единица”. Но если испытуемый позже выполняет инструкцию, согласно которой первую и последнюю буквы слога нужно поменять местами, он будет воспринимать данный слог исходя из этой задачи. Как следствие, он появится в измененной организации. Например, его две ключевые буквы будут теперь восприниматься как выступающие на передний план, выделяющиеся части. Этого может быть достаточно, чтобы сделать слог неспособным спонтанно вызвать в памяти свою пару. Такое объяснение, по всей видимости, подтверждается наблюдением, что в большинстве случаев испытуемые К. Левина не осознавали факт предъявления им знакомых слогов среди новых. Было бы желательно провести аналогичные эксперименты с другими материалами, характеристики которых более специфичны, чем характеристики бессмысленных слогов, и потому с меньшей вероятностью подвержены перцептивным изменениям в новом поле. И доктор Левин, и я уверены в том, что полностью адекватной теории этих фактов пока не существует. В некоторых экспериментах Левина установка испытуемого по отношению к слогам была практически такой же при тестировании, какой она была в период заучивания слогов. Тем не менее, не происходило никакого вспоминания, пока испытуемые пытались следовать инструкции. Во всяком случае, если объекты обычно не вызывают вспоминания их названий (ср. выше с. 155 и далее), это не всегда можно объяснить предположением, что рассматриваемые объекты значительно изменяются их новым окружением, в котором они теперь воспринимаются.

В дальнейших экспериментах К. Левину удалось вызвать не только вспоминание, но торможение под влиянием предыдущих ассоциаций, которые противодействовали данной задаче. Это достигалось посредством создания особой общей ситуации. Предположим, что в случае некоторых слогов вспоминание приводит к тому же результату, как и процедура, выполнение которой требует инструкция. Если в этих обстоятельствах испытуемый поддается искушению прибегнуть к вспоминанию как более легкому способу, его установка может неумышленно и полностью стать установкой на вспоминание. Как только это направление установилось, следующий слог будет иметь тенденцию вызывать в памяти свою пару, даже если в этом случае вспоминание дает результат, который не соответствует задаче. Таким способом были, наконец, продемонстрированы не только ошибки вследствие вспоминания, но и торможение правильного выполнения задачи. Вроде бы это доказывает, что ранее установившиеся ассоциации не могут влиять на данное поле, если не действует соответствующий вектор.

Я не решаюсь принять это в качестве общего положения. С одной стороны, психологическая теория слишком далеко заходит, предполагая, что когда образованы сильные ассоциации, вспоминание будет происходить спонтанно и независимо от того, как

складывается текущая ситуация. С другой стороны, есть ли у нас основания предполагать, что в течение всего нашего времени жизни мы ни разу ничего не вспомним, если воспоминание не поддерживается вектором в соответствующем направлении? Возможно, было бы разумнее *воздержаться* от окончательного суждения до тех пор, пока будущие исследования не прояснят этот вопрос.⁷⁰ Тем временем, если будет доказано, что именно векторы играют важнейшую роль во вспоминании, появление и исчезновение таких векторов станет особенно важной проблемой психологии. Векторы возникают и сохраняют устойчивость, но они также изменяются и исчезают по многим причинам. Можно смело предположить, что при изучении таких событий мы вновь столкнемся с проблемами вспоминания. Мы не очень много знаем о вспоминании векторов как таковых. Однако возможность того, что векторы, бывшие когда-то активными, снова могут быть приведены в действие посредством вспоминания, заслуживает серьезного внимания.

По этой и ряду других причин не следует делать никаких преувеличенных выводов из предыдущего обсуждения. Верно, что современные теории навыка, ассоциации и вспоминания не принимают в расчет тех условий, которые должны быть выполнены, чтобы хорошо организованная ситуация оказалась серьезно нарушена вспоминанием, которое не соответствует этой ситуации. Верно и то, что мы едва начинаем осознавать более существенные проблемы в этой области. Опять же, к счастью, верно, что в миллионе случаев вспоминания не происходит, хотя в соответствии с широко принятыми взглядами оно должно бы возникать. Тем не менее, вспоминание в целом остается одним из самых частых и наиболее важных фактов психической жизни. Если в то время как я пишу этот текст, я отвлекаюсь постоянно от своей задачи случайным вспоминанием посторонних вещей, – факт, безусловно, важный; но не менее важен и достоверен тот факт, что я не смог бы написать ни одного слова, если бы результаты прошлого обучения ежесекундно не оказывали на меня действие. Все время в моей голове откуда-то появляются – благодаря вспоминанию – английские слова. При письме моя рука движется по бумаге, следуя формам, которые легко появляются из хранилища приобретенных навыков. Было бы смешно, если бы мы стали отрицать такие факты и их важность для занятий человека на протяжении всей его жизни. Проблема заключается лишь в том, чтобы объяснить, почему в целом вспоминание всегда ограничивается случаями, когда оно разумно относительно текущих общих ситуаций и их органического развития.

Эта глава посвящена критической оценке теории вспоминания и ее нерешенным проблемам. Поэтому здесь можно поднять еще один вопрос – вопрос, много лет назад

⁷⁰ После того как это было впервые написано, фон Ресторф (von Restorff) и автор этой книги провели специальное исследование условий, от которых зависит вспоминание (*cf. Psychol. Forsch.*, 21, 1935). Наши эксперименты, похоже, не оставляют никаких сомнений по поводу действительной распространенности случаев совершенно спонтанного вспоминания. Но они также подтвердили представление о том, что вспоминание может как облегчаться, так и почти полностью предотвращаться различными условиями организации.

обсуждавшийся Иоганном фон Крисом (von Kries), но так и оставшийся без должного внимания со стороны психологии.

Предположим, что два элемента A и B образовали ассоциацию. Каким образом процесс A – или подобный ему процесс A' – вызывает воспоминание B ? В некоторых учебниках этот факт легко объясняется с точки зрения механистической теории: в то время, когда такая ассоциация только образовывалась, процесс A распространялся по определенному пути в нервной системе, и практически одновременно процесс B распространялся по другому пути по соседству. Предполагается, что когда A и B достигают головного мозга, что-то происходит с нервными волокнами, соединяющими места мозговой локализации этих процессов, так что эти волокна становятся в дальнейшем лучшими проводниками. С этой точки зрения, воспоминание будет происходить в будущем всякий раз, когда новый процесс A (или A') распространяется по пути первоначального процесса A до той же конечной станции. Ибо это место теперь особенно хорошо связано с конечной станцией пути, по которому распространялся процесс B . Выбирая линию наименьшего сопротивления, возбуждение будет распространяться к месту локализации B – и реактивировать его след. Всем знакомы иллюстрации вроде той, что представлена на рис. 24, которые отображают всю функциональную схему такого объяснения. Ясно, что это типичная механистическая теория, в которой воспоминание не зависит от характеристик процессов, образовавших ассоциацию. Если A (или A') вызывает воспоминание B , это происходит только потому, что процессы типа A распространяются по заданным путям к месту, которое особенно хорошо связано с другим местом, в котором B представлено своим следом.

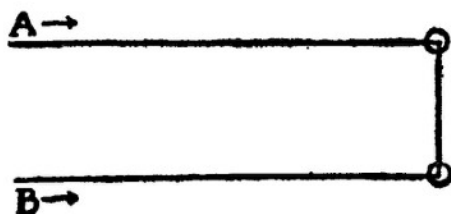


Рис. 24

По двум причинам эта схема не может объяснить воспоминание. Во-первых, если случится так, что процесс X , который довольно сильно отличается от A , станет распространяться по пути процесса A , он тоже выберет линию наименьшего сопротивления, распространится до следа B и реактивирует его, даже если X никогда не появлялся вместе с B . Никто не может возразить, что это объяснение должно применяться только к таким процессам, которые раньше происходили вместе. В самом объяснении такое ограничение не упоминается; из этого объяснения мы также не можем заключить, почему вообще должно существовать какое-то ограничение в его применении. Таким образом, данная схема не

объясняет, что может являться существенным условием вспоминания. Во-вторых, если случится так, что новый процесс *A* (или *A'*) начнется из другой точки органа чувств, и поэтому будет распространяться по другому пути, он не попадет к месту, которое ранее было связано с местом локализации следа *B*. Как следствие, нет оснований полагать, почему при этих условиях эффекты *A* должны распространяться до места *B*, а не до любой другой части мозга. Это означает, что в таком случае *A* не может быть причиной вспоминания *B*, хотя между *A* и *B* существует ассоциативная связь. На самом деле, однако, если в то время, когда образовывалась эта ассоциация, процесс *A* начинался в одной области сетчатки, похожий процесс *A* (или *A'*) в большинстве случаев будет вызывать вспоминание *B*, даже если *A* теперь зарождается в другой области сетчатки. Как раз это и было показано Эрихом Бехером (E. Becher).⁷¹ Похоже, из этого следует, что природа (процесса) *A*, а не его локализация в нервной системе имеет решающее значение для вспоминания.

Если мне будут возражать, что между новым путем процесса *A* и местом следа процесса *B* может также существовать некий высокопроводящий путь, я должен буду ответить, что этим аргументом оригинальное объяснение приносится в жертву. Ибо теперь нервные пути больше не делаются высокопроводящими благодаря ассоциации, которая ответственна за правильное вспоминание; наоборот, делается отсылка к нервным волокнам, являющимся исключительно хорошими проводниками по неизвестным причинам. И почему только процессу *A*, который действительно ассоциирован с *B*, должно так везти, что он один находит такой удобный путь от своего нового места до *B*? То же самое могло бы произойти и с любыми процессами *D*, *E*, *F* и т. д., которые никогда не были ассоциативно связаны с *B*, но могли случайно найти хороший путь к *B*, – с тем результатом, что *B* вспомнится.

Слабость этого предположения заключается в том, что оно ставит вспоминание в зависимость от локализации процессов, – как если бы процесс данного типа всегда распространялся по одному и тому же маршруту. Но в зрительном отделе нервной системы, например, данный процесс может проводиться по одним нервным волокнам в одно время и по другим – в другое время. Данным в непосредственном опыте цветам, вещам и формам не присущи специфические места, которыми ограничивается их появление. Вообще говоря, если взять зрение, то корреляция между различными видами процессов и отдельными локализациями приблизительно равна нулю. Это исключает любую возможность объяснения правильного вспоминания на основе особых анатомических мест и соединений.

Учитывая эти обстоятельства, было бы естественно искать решение этой проблемы с динамической, а не с механической точки зрения. Сходство между новым *A* (или *A'*) и старым *A* должно вносить вклад в тот факт, что новый процесс *A* будет вызывать вспоминание *B* практически из любого места. Теперь мы знаем, что сходство – это фактор, который в высшей степени способствует образованию пар в перцепции, даже когда члены такой пары не

⁷¹ *Gehirn und Seele*, 1911. Карл Лешли (Lashley) провёл подобные эксперименты с крысами. Я могу подтвердить его выводы. Однако по анатомическим соображениям эксперименты Бехера все же кажутся мне более убедительными, чем наблюдения в психологии животных.

располагаются по соседству. Тот же фактор может благоприятствовать особой динамической взаимосвязи между новым процессом *A* и следом старого *A*. Если это происходит, то местоположение *A* уже не будет играть решающую роль в данном процессе, и *A* будет способно вызвать воспоминание *B* при любой из своих возможных локализаций.⁷²

X

⁷² Результаты исследования, указанного в ссылке 70 (с. 158), полностью согласуются с этой интерпретацией воспоминания.

ИНСАЙТ

Если ассоциация, привычное действие и воспоминание не составляют того, что преимущественно определяет ход психической жизни, то какие другие факторы играют в ней более важную роль? На этот вопрос есть ответ, который редко дается в ясной формулировке, но, тем не менее, вызывает у большинства людей молчаливое согласие. Мы будем называть его убеждением обывателя. Обыватель считает, что он часто непосредственно чувствует, почему ему хочется делать одни вещи в первой ситуации, а некоторые другие вещи – во второй. Если он прав, то силы, которые преимущественно определяют его психические тенденции и его действия, по большей части непосредственно даны в его опыте. Не все психологи разделяют это мнение. Многие до сих пор считают, что люди делают ту или иную вещь, потому что в первом случае особенно хорошими проводниками оказываются одни нервные пути, а во втором – другие. С этой точки зрения, люди, у которых подходящие нервные пути оказались наилучшими проводниками в данной ситуации, должны благодарить за это госпожу Удачу. Ибо, почему вариации проводимости нервных путей должны систематически коррелировать с характеристиками и, следовательно, требованиями данных ситуаций?

Убеждение обывателя вырастает из повседневного опыта. Защитники другого мнения, похоже, считают, что только их точка зрения совместима с духом науки. Так чья позиция нам ближе? Признаюсь, я предпочитаю убеждение обывателя. При рассмотрении сенсорных процессов данные непредубежденного описания оказались лучшими ориентирами, чем постулаты механистической теории. Доверяя первым, теоретик, занимающийся сенсорной функцией, к настоящему времени установил такой контакт с естественными науками, который никогда не достигался теми, кто считал научно приемлемым только принцип механизма. После этого урока я чувствую себя оправданным, выбирая подход с позиции обыденного опыта и в отношении тотального поля, в котором наше “Я”, как и его объекты, играет определенную роль. Это означает, что здесь снова отвергаются некоторые функциональные понятия, использования которых якобы требует наука. Будем надеяться, что, как и в области сенсорной функции, доверие непосредственному наблюдению будет в конечном итоге вознаграждено гораздо лучшим контактом с наукой.

После признания конкретных вещей, групп, событий, “Я” и т. д. естественными частями тотального поля, вряд ли можно совершить ошибку хуже, чем ошибка возвращения назад к атомизму на этом уровне. Нас не может устроить рассмотрение одних обособленных данностей в одной главе, других выделенных данностей в другой главе, нашего “Я” в третьей и установок (attitudes) в четвертой. Течение реальной жизни не поддается методам точной нумерации и классификации. Когда мы сводим вместе членов одного класса, то, скорее всего, разрываем в ходе этого процесса живые связи динамических отношений. Возможно, наиболее интересные динамические отношения возникают между членами совершенно разных классов. В анатомическом музее может быть полезно увидеть вместе сотни сердец; но в

физиологии функция сердца связана с функцией легких, а не с функцией другого сердца. Если данные нам в непосредственном опыте вещи представляются как один класс, наши “Я” как второй и наши установки как третий, возникает соблазн уверовать в то, что из этих трех классов отдельные образцы могут выбираться *ad libitum*, а затем собираться вместе для того, чтобы образовать тотальное поле. Очевидно, что это предположение нельзя считать серьезным; есть определенные закономерности, в соответствии с которыми вещи, “Я” и установки могут становиться частями одного поля. Чтобы понять это, не обязательно быть гештальтпсихологом. Но даже в только что сделанном утверждении упущен очень важный момент, и поэтому оно может ввести в заблуждение. Только ли из эмпирических закономерностей мы узнаем о фактах, которые могут быть включены в одно тотальное поле? Обыватель убежден, что в этом есть нечто большее, чем только простая закономерность. Он утверждает, что он чувствует, как многие из его установок (*attitudes*) вырастают из вещей и ситуаций, как *адекватные* реакции. Таким образом, мы возвращаемся к нашей отправной точке. Такого рода опыт, о котором заявляет обыватель, вряд ли играет сколько-нибудь заметную роль в научной психологии нашего времени. Я считаю, что должен принять сторону обывателя и что, на этот раз, он, а не наша наука, обладает необходимым аксиоматическим знанием. Обыденное мнение, скорее всего, станет важной проблемой психологии, неврологии и философии будущего.

В ходе последующего обсуждения нам придется рассматривать очевидные, можно даже сказать тривиальные наблюдения. Не наша вина, что, как это ни прискорбно, такие наблюдения исчезли из психологии как науки и поэтому должны открываться заново. Позже мы увидим, что именно такие очевидные фазы человеческого опыта могут отображать фундаментальные факты мозговой динамики.⁷³

Временами я нахожусь в состоянии “восхищения”. Но восхищение никогда не встречается в виде обособленного факта. Это всегда восхищение “чем-то”. Также не возникает ни малейшего сомнения по поводу объекта, к которому относится это состояние. Например, прошлым вечером в концертном зале именно голос *альт* звучал “восхитительно” глубоко, спокойно и доверительно. Бесспорно, он и был объектом моего восхищения – не нос моего соседа, не спина дирижёра, не какие-то тысячи других объектов и событий, которые представали передо мной. Восхищение, как и другие установки (*attitudes*), имеет направление. В моем примере эта установка была направлена на поющего человека. Тогда, не подразумеваю ли я под этим, что восхищение просто распространилось до поющего человека и остановилось там, как если бы оно было сравнимо с длинной палкой, которая протянулась между мной и этим местом? Если бы это было так, восхищение было бы не более чем третьей вещью между двумя другими, а причинную связь между голосом и восхищением можно было бы принять только в качестве гипотезы. Возможно, эту связь даже удалось бы верифицировать в ходе соответствующих исследований; но, безусловно, она не могла бы

⁷³ Предстоящее обсуждение, конечно же, тесно связано с понятием биполярной организации в том виде, как оно раскрывается в главе IX.

непосредственно переживаться. На самом деле, конечно, в этой ситуации я непосредственно чувствовал, во-первых, что мое восхищение относилось к пению, а не к чему-то другому, и, во-вторых, что это восхищение было естественным ответом на такую манеру пения. Как следствие, мне не нужны были никакие косвенные критерии, никакие научные исследования, никакие коэффициенты корреляции, чтобы знать о связи между пением и моим восхищением. На самом деле мой опыт сказал мне больше, чем могла бы открыть любая научная индукция. Ибо индукция умалчивает о природе функционального отношения, наличие которого она подтверждает, в то время как в настоящем примере конкретный факт психологической каузации непосредственно переживался как вполне понятная зависимость.

Несколько недель назад я увидел, как мой маленький ребенок улыбается в первый раз, и я был очарован этой улыбкой. Как я узнал, что мое чувство было связано с улыбкой ребенка? Если бы мои переживания представляли собой совокупность чувств, событий и вещей, одни из которых направлены, а другие нет, но все распределены определенным образом, просто в силу гистологических обстоятельств, то я мог бы только гадать о возможных функциональных отношениях между различными компонентами этой совокупности. Потенциально изменение любого компонента могло бы сопровождаться изменением любого типа в любой другой части; и единственный способ, которым можно было бы обнаружить фактическую функциональную связь, – это систематическое варьирование условий до тех пор, пока некоторые возможности не будут устранены, а другие не получат статистическое подтверждение. В данном случае, например, только частое совпадение улыбки на лице ребенка с переживанием очарования позволило бы мне предположить, что между ними, вероятно, есть какая-то связь. И даже при этом я не смог бы прийти к однозначному выводу, пока все другие факторы не будут подвергнуты достаточной вариации и не обнаружат свою нерелевантность. До чего мы дошли в психологии, если приходится серьезно обсуждать такой тезис! В моем конкретном переживании одна сторона лица ребенка оказалась выглядящей немного темнее из-за падающей на нее тени. Согласно странной точке зрения, которую мы сейчас рассматриваем, я мог бы отнести свое чувство к этой тени, а не к улыбке ребенка. Такую ошибочную гипотезу могло бы предотвратить лишь достаточное количество противоположных случаев.

После долгой прогулки в жаркий летний день я выпиваю бокал холодного пива. В то время как я делаю это, я ощущаю прохладу и характерный вкус во рту. А еще получаю большое удовольствие. Теперь, нужно ли мне постепенно учиться тому, что в такой ситуации удовольствие относится к прохладе и вкусу? Что оно не имеет ничего общего с пауком, которого я вижу на стене, или с размерами кресла передо мной? Конечно, никакого такого научения не требуется. Тот факт, что мое удовольствие относится к прохладе и вкусу во рту, я сознаю не менее непосредственно, чем свое удовольствие, прохладу и вкус пива как таковые. Мое удовольствие также ощущается как адекватная реакция на эти факты. Между удовольствием и его сенсорной основой я непосредственно переживаю то, что в немецком языке называют их *“Verständlicher Zusammenhang”* (ясной, понятной связью).

То же самое можно сказать и о многих случаях, когда установка (*attitude*) субъекта является *негативной*. В течение двух недель я был занят тщательной подготовкой набора инструментов для проведения определенных экспериментов. Этим утром я нахожу их сваленными в беспорядке в углу лаборатории – и во мне закипает злость. Если бы теперь я сказал: здесь окно, там стол, в одном углу инструменты, в другом стул, а рядом с дверью я в состоянии гнева, – было бы это перечисление адекватным описанием ситуации? Конечно же, нет. Я уверен, что, например, дверь никак не связана с моим гневом. Обнаружив сваленные в кучу инструменты, я сразу же знаю, что именно это факт заставляет меня сердиться. И опять же не только эта конкретная референция непосредственно дана в моем переживании; гнев также переживается как естественный в данных обстоятельствах.

Однажды чудесной ночью на Тенерифе, когда я спокойно работал за своим столом, я внезапно испугался так, как никогда раньше не пугался. Неожиданно все в доме пришло в движение, затряслось, задрезжалось – мой первый опыт землетрясения. Могут ли быть какие-то сомнения в том, что меня испугало именно это внезапное нарушение привычного хода вещей, а не что-то еще? Очевидно, нет. Снова эта эмоция переживалась как вызванная определенным опытом (*experience*). Как правило, нам не нужно постепенно учиться тому, что вслед за неожиданными интенсивными событиями возникает испуг, как если бы *a priori* дружелюбное лицо или запах розы могли бы также сопровождаться испугом. Когда страх внезапно охватывает нас, всегда есть ощущение, что он вызван конкретными событиями.

Посидев полчаса в ресторане, где в клубах табачного дыма люди ведут громкие разговоры, я начинаю испытывать дискомфорт и готов уйти. Ясно, что это неприятное чувство связано с данной ситуацией. Я знаю об этой связи не из установленной в предыдущий период жизни закономерности, согласно которой в моем случае такие условия регулярно сопровождалось состоянием дискомфорта; наоборот, я переживаю непосредственно, *hic et nunc*, как это окружение раздражает и выводит меня из равновесия. Я просто чувствую, что такие условия неизбежно вызывают этот эффект; причинная связь является частью моего опыта (*experience*).

Два дня назад я был сильно удручен тем, что не мог придумать, как удовлетворительно изложить главное, по моему мнению, содержание этой главы. При таких обстоятельствах разве имели место два отдельных факта, состояние удрученности как таковое и, кроме того, некая интеллектуальная ситуация? И действительно ли возможную связь между ними можно было предположить только на основе статистических данных? Такие вопросы звучат совершенно ненатурально. Когда я пытался решить свою проблему, я ясно чувствовал, что мое уныние зависит от трудности, с которой я столкнулся. А еще я чувствовал, что это состояние уныния вполне закономерно в свете сложившейся ситуации.

Если во всех этих случаях мои внутренние реакции переживаются как вытекающие из природы данных ситуаций, то в некоторых других случаях события в окружающей среде воспринимаются как вытекающие из моих установок. Например, я могу пассивно смотреть на рис. 1 (с. 73). В этих условиях я воспринимаю этот рисунок как две группы точек. Но если в

то время, когда я смотрю на него, что-то заставит меня подумать о косых линиях, фигура, возможно, преобразуется в три пары точек, каждая из которых образует своего рода косую линию, идущую от нижней точки вправо до точки, расположенной выше слева. Если эта трансформация действительно происходит, есть ощущение, что она возникает под влиянием моей особой психической установки в данный момент. Предположим, что я чешу голову или напеваю мелодию в то время, когда изменяется организация фигуры на рис. 1 (с. 73) Такие действия, конечно же, не ощущаются как связанные с этой трансформацией.

Или возьмем такой пример. Как называется город, который мы проезжаем в поезде по пути в Санта-Фе? Вот он приближается. Когда я ищу его название, эта операция не выполняется как нечто отдельное; да и место, в котором забытое название должно скрываться, не является вещью в себе. Наоборот, процесс поиска ощущается как направленный к месту скрытого названия. Когда, в конце концов, название появляется, возникает ощущение, что этот результат был добыт благодаря напряженному поиску. Итак, я не постепенно усвоил, что в такой ситуации поиск *per se*, как оказывается, связан с появлением названия. Я также не постепенно узнал, что в таких ситуациях шум за окнами вагона является нерелевантным фактом.

Какое-то время я удерживаю свою руку горизонтально. Рука в этом положении будет оставаться не долго, если я не приложу особого усилия. В то самое время, помимо переживания этого усилия, я вижу голубое небо, слышу песню жаворонка, воспринимаю руку как зримую вещь, ощущаю запах мокрой земли. А еще есть особое ощущение в поднятой руке – ощущение, становящееся с каждой минутой все сильнее, наподобие тянущей вниз силы в руке. Геометрически или логически, все эти факты непосредственного опыта допускают множество различных объединений в пары. Мое усилие могло бы быть связано с песней жаворонка, с запахом земли, с цветом поднятой руки и с синевой неба. На самом деле, однако, моё усилие не является чем-то обособленным, что можно было бы одинаково хорошо связать с любым из этих фактов опыта. Наоборот, есть ощущение, что оно удерживает руку в горизонтальном положении вопреки тянущей ее вниз силы. Характер этой силы, по моему ощущению, требует точно такого усилия, если я хочу, чтобы моя рука оставалась в данном положении; а характер усилия переживается мной как компенсирование именно этой силы. Если кто-то задумает описать эту ситуацию с исчерпывающей полнотой на основе локальных данных, с учетом их положения в пространстве, направления (если оно есть), локализации во времени и даже их отношений касательно места, расстояния, последовательности или одновременности, сходства и т. д. – он едва ли упомянет главную характеристику ситуации, которая представляет собой динамические отношения между некоторыми ее частями.

Рассматривая в чем-то похожий случай, Дэвид Юм твердо отстаивал противоположную точку зрения. Я не знаю, как поднимается моя рука, говорил он, когда я хочу поднять ее. Это не более чем простая последовательность во времени, поскольку мне неизвестна природа механизма, который фактически поднимает руку. Это странный аргумент. Он абсолютно чужд анализу чистого опыта, который обещал дать Юм. В таком контексте,

когда мы говорим о руке, мы должны, конечно, рассматривать ее как переживаемую, данную в непосредственном опыте вещь, а не как физический объект, движущийся в физическом пространстве. Какими бы ни были иннервации и сокращения мышц в этом случае, феноменологический анализ должен здесь иметь дело с намерением, с одной стороны, и с переживаемым движением данной в непосредственном опыте руки, с другой стороны. Проблема заключается в том, ощущается ли намерение таким же внешним, посторонним для движения руки, как цвет облака или загорелая кожа руки в той же ситуации. В этом вопросе великий философ, кажется, допустил ошибку и непреднамеренно воспользовался логической уловкой. В результате эта проблема оставалась незамеченной на протяжении многих лет.

Для того чтобы яснее показать важность обсуждаемого вопроса, я сейчас изложу возражение, основанием для которого послужило мое наблюдение за собой. Можно сказать, что такие переживания “зависящего от чего-то”, “являющегося естественным результатом чего-то”, “основывающегося на чем-то” и т. д. на самом-то деле не доказывают, что подразумеваемые здесь связи необходимы. Например, много лет назад на меня производила сильное впечатление увертюра к “*Тристану и Изольде*”, и в то время я описал бы свое наслаждение как прямой и понятный результат действия такого рода музыки. Однако я не могу сейчас сказать, что моя реакция на увертюру Вагнера всё та же. Если честно, она мне надоела. Пожалуй, я мог бы дойти до утверждения, что теперь антипатия представляется мне совершенно естественной реакцией на эту музыку. Тогда, заставляет ли эта перемена мнения сколько-нибудь усомниться в том отчете, который я дал о моих ранних реакциях? Мы можем легко показать, что здесь нет никакого противоречия. И правда, в точно такой же физической ситуации, подвергаясь воздействию тех же самых звуковых волн, человек может сегодня чувствовать, что восторг является единственной адекватной реакцией, и, тем не менее, некоторое время спустя, слушая ту же композицию, испытывать отвращение. Простой способ добиться такого изменения – заставить людей слушать по несколько сотен раз одну и ту же последовательность звуков каждый день.⁷⁴ Но что происходит при таких обстоятельствах? Мы должны проводить различие между мелодиями как физическими фактами и мелодиями как фактами слухового опыта (слуховыми переживаниями). После нескольких сотен повторений большинство мелодий, как слуховые переживания, больше не сохраняют те же характеристики, какие у них были в самом начале. Теперь они звучат пусто и банально. Повторение влияет на мелодии так же, как оно влияет даже на лучшие анекдоты и шутки. Из этого следует, что изменение реакций, когда объективные условия постоянны, полностью совместимо с нашим главным тезисом. Этот тезис указывает на доступные пониманию отношения между данными нам в опыте фактами и непосредственно переживаемыми внутренними реакциями. Как только, при действии тех же стимулов, изменяется непосредственно переживаемый материал, мы больше не можем ожидать, что те же самые реакции покажутся нам естественными и адекватными. Напротив, нам пришлось бы

⁷⁴ К. Lewin and A. Karsten, *Psychol. Forsch.*, 10, 1927.

усомниться в нашем тезисе, если бы при таких обстоятельствах эти реакции остались прежними.

Есть еще одна причина, по которой музыка, которой я наслаждался много лет назад, может больше не доставлять мне удовольствия: за это время *я сам* сильно изменился. Как мы можем ожидать, что данная композиция будет вызывать в изменившемся “Я” те же самые эффекты, которые оно вызывало в прежнем “Я”? Эффекты зависят не только от конкретных причин, но и от характеристик системы, в которой эти эффекты имеют место. И это столь же верно для переживаемой каузальности, как и для каузальности в физике.

Однако я должен еще раз повторить, что в большинстве случаев осознание каузальных отношений в психологическом поле следует разграничивать с утверждениями о более или менее регулярном сосуществовании и совпадении психологических фактов. Данный опыт первого вида получает свое эмпирическое, основанное на наблюдении, значение независимо от того, что может произойти в других случаях. Так же как я без колебаний соглашаюсь, что сейчас я вижу красный цветок, хотя, если я позже стану дальтоником, он будет выглядеть серым, так и данный опыт причинной зависимости должен приниматься как таковой, даже если последующие переживания в схожих ситуациях не показывают той же зависимости.

Старое правило в науке гласит, что ничто не делает положительные утверждения более приемлемыми, чем откровенное признание случаев, к которым эти утверждения не применимы. Я не хочу отрицать, что в бесчисленных случаях мы очень далеки от того, чтобы по непосредственному опыту понять, как одно событие вызывается другими событиями. Предположим, испытуемый наблюдает движение, которое повторяется в заданной части зрительного поля. Когда позднее он видит отрицательный послеобраз этого движения, такой эффект оказывается для него неожиданным, – при условии, что это его первая встреча с данным феноменом. Его удивление доказывает, что этот послеобраз вызван условиями, которые нашему испытуемому неизвестны или которые не воспринимаются им как причинно связанные с этим эффектом. Опять же, многие испытуемые сильно удивляются, когда после сравнительно недолгой фиксации взгляда на центре изображения, представленного на рис. 8 (с. 87), перед ними внезапно появляется новая конфигурация. Они не чувствуют интуитивно, почему происходит именно это преобразование. Когда-то один физик согласился быть моим испытуемым в эксперименте с этим рисунком. Его просили подавать сигнал обо всех преобразованиях, которые происходили во время фиксации внимания на центре фигуры, изображенной на рис. 8. В этом эксперименте изображение состояло из ярких линий в совершенно темной комнате. В результате, когда наблюдения были завершены, физик спросил меня, как мне удалось так быстро и так часто менять “объекты”, хотя мое место находилось на расстоянии нескольких ярдов от изображения и, как мне казалось, я вообще не двигался. Он даже не допускал, что события в его собственном организме только и были ответственны за эти преобразования.

Всем известно, что так называемые настроения могут изменяться без осознания причин. Так же как мы можем внезапно почувствовать, что простудились, не понимая где и

когда, так мы иногда чувствуем раздражение, когда у нас, казалось бы, нет причины для такого настроения. Конечно, раздражение имеет тенденцию скоро находить что-то, на чем оно может разрядиться, и тогда это “что-то”, вероятно, выступит в роли адекватного объекта. Но прежде чем это случится, мы можем только догадываться, что могло быть скрытой причиной такого настроения; ибо сначала настроение не содержит (непосредственно) переживаемой отсылки к какому-то конкретному объекту. В действительности его причиной могут быть метеорологические условия, которые влияют на наш организм, или нарушенное пищеварение. Мы непосредственно не осознаем такие влияния.

Из этого примера можно извлечь два урока. Во-первых, он подтверждает тот факт, что хотя динамические отношения могут переживаться, эффекты также могут быть заметными, когда переживание не указывает на их причины. Второй урок заключается в том, что оба вида детерминации могут быть объединены в едином событии. Ибо когда мы находимся в раздражённом настроении и теперь обнаруживаем что-то, что более или менее соответствует этой внутренней ситуации, объект нашего внимания сразу же предстает в качестве вполне адекватной причины сильного гнева. И все же, наша реакция может оказаться сильно преувеличенной из-за действия скрытых причин, которые сделали нас раздражёнными задолго до этого случайного повода.⁷⁵

Однако я не считаю, что факт скрытой детерминации в одних случаях может служить аргументом против существования данной в опыте (непосредственно переживаемой) каузации в других. Известно, что в случае холеры и чумы главными причинами заболеваний являются определенные бактерии. В случае диабета это не так. Разве кто-то будет использовать этот “негативный пример” в качестве аргумента против бактериологии? Следовательно, мы можем спокойно принять подобный дуализм в психологической каузальности.

Однако, несмотря на все наши примеры, не является ли переживаемая каузация часто просто продуктом научения? Если в моей почте адрес на конверте написан определенным почерком, этот факт меня радует, тогда как при обнаружении некоторого другого почерка, верно обратное. Давайте проигнорируем графологический и эстетический аспекты этой

⁷⁵ В этом месте, похоже, уместно упомянуть о психоанализе. По мнению психоаналитиков, люди часто вообще не знают, почему они ведут себя таким или иным образом. Их реальные мотивы могут сильно отличаться от тех, которые, как они считают, действуют здесь и сейчас. Вообще говоря, мы можем согласиться, что некоторые такие случаи происходят в нормальной жизни, и что при патологических состояниях их может быть еще больше. Однако я сомневаюсь, что подобных наблюдений достаточно для оправдания того общего пессимизма, который так часто порождается ими. У нас нет причин сомневаться в достоверности бесчисленных фактов опыта, говорящих о том, что обыватель ясно осознает мотивы своих действий. К этому я хотел бы добавить, что нам следует разграничивать две ситуации: в некоторых случаях могут быть правы фрейдисты, тогда как в других случаях люди просто *не распознают* свои внутренние состояния. Я склонен полагать, что многие наблюдения, которые фрейдисты интерпретируют на свой лад, на самом деле являются случаями, в которых распознавание (и осознание) не происходит. Осознание, которое запускается совершенно легко в перцепции, происходит на удивление вяло в случае внутренних процессов. Кстати, это верно в любом случае, заслуживают ли обсуждаемые внутренние факты того, чтобы оставаться неосознанными, или нет.

ситуации и предположим, что главным образом мое знакомство с авторами писем заставляет один почерк выглядеть привлекательным, а другой – неприятным. В обоих случаях я чувствую, что мои реакции сообразны данным объектам. Тем не менее, эти реакции, по-видимому, были сформированы на основе прошлого опыта. Те же самые слова и буквы вряд ли воспринимались бы как адекватные причины моих реакций, если бы не произошло соответствующего “обусловливания”. Это наблюдение может заставить нас на минуту усомниться в правильности многих утверждений, изложенных в предыдущих разделах. Однако на самом деле такие факты никоим образом не противоречат нашему главному аргументу. В настоящем примере определенный почерк пропитан дружескими переживаниями, которые у меня были с определенным человеком, а другой почерк – неприятными фактами, за которые ответственен совсем другой человек. Поскольку сами эти люди, будь они здесь, вызвали бы соответствующие реакции, их почерки делают это за них сейчас в силу наполненности одним или другим значением. Ошибочно полагать, что в таких случаях эмоциональные реакции постепенно связывались с почерками. Скорее, связь, которая фактически возникла, состоит в том, что видимые формы тех или иных слов и букв, написанных одним или другим почерком, оказались насыщенными позитивными или негативными переживаниями прошлого. Вследствие такого насыщения почерки теперь являются адекватными причинами эмоциональных реакций, которые я только что описал. Неудивительно, что они и переживаются, как такие причины.

В этом месте, как мне кажется, будет нелишне сделать еще одно замечание. Когда я хочу пить, я склонен думать об освежающем напитке. Этот объект моего мышления, конечно же, вводится в поле благодаря воспоминанию. Я все же надеюсь, что этот факт не имеет отношения к нашей нынешней проблеме. Даже если такое воспоминание, возможно, имело место, как только мысль о напитке становится частью поля, возникает ощущение, что этот объект является наиболее адекватной причиной моего желания, а желание – непосредственно понятным ввиду наличия такого объекта. Сам факт, что что-то попало в поле благодаря процессу воспоминания, нерелевантен вопросу о том, в какого рода отношении внутри поля этот объект дан нам в непосредственном опыте. Это необходимо подчеркнуть, потому что мы настолько привыкли к объяснениям на основе научения, привычки, воспоминания и т. д., что как только в ситуации обнаруживается *хоть что-то*, связывающее ее с прошлым и воспоминанием, мы склонны отказываться от дальнейшего размышления. Однако даже если все части ситуации обязаны своим присутствием процессам воспоминания, нам все равно не уйти от этого вопроса: ощущаем ли мы непосредственно, что какие либо из этих фактов опыта находятся в причинно-следственных отношениях?

Вот мы и вернулись к убеждению обывателя. Психология и эпистемология науки демонстрируют тенденцию либо игнорировать это обыденное мнение, либо атаковать его, как если бы оно таило в себе серьезную опасность. В этой связи Дэвид Юм часто упоминался как человек, на котором лежит ответственность за такую враждебную установку. Но, как мне кажется, эта выдающаяся фигура в истории человеческой мысли является лишь самым

известным представителем тенденции, которая существовала в Древней Греции еще более двух тысяч лет назад и которая проистекает из сильной потребности в ясности.⁷⁶

Есть ясность особого сорта, которая не слишком хорошо вписывается в убеждение обывателя и мои утверждения в этой главе. Этот идеал ясности был бы достигнут в том случае, если бы мир можно было представить в виде огромного скопища отдельных, равных и неравных, частей, которым свойственны лишь формальные отношения в том, что касается положения во времени и пространстве, сходства и т. д. То, что такова истинная картина нашего опыта, было молчаливо принято Юмом как должное в его знаменитом анализе каузальности, так что в конечном итоге он не доказал ничего сверх того, что предположил с самого начала. Он не испытывал трудностей при подборе примеров, которые, казалось бы, подтверждают его тезис о том, что каузальность никогда непосредственно не переживается, ибо во многих случаях мы действительно не чувствуем, как одна вещь определяется другими вещами. А так как он не рассматривал другие случаи, многим казалось, что правильность его взглядов была бесспорно доказана. Кажется, принято считать, что Юм был величайшим эмпириком всех времен. Но сводя мир опыта к частям, между которыми имеют место только формальные отношения, он явно был во власти определенных интеллектуальных предпосылок и идеалов. Он был великим философом, но не был в строгом смысле эмпириком. Эмпирики не принимают или, по крайней мере, не должны принимать так много само собой разумеющегося.

В своем радикальном эмпиризме Уильям Джеймс особо подчеркивал тот факт, что “отношения между вещами, – как конъюнктивные, так и дизъюнктивные, – являются такими же объектами конкретного непосредственного опыта, ни больше и ни меньше, чем сами эти вещи”.⁷⁷ Как я думаю, это заявление скорее создает препятствие на нашем пути, а не служит поддержкой, как могло бы показаться с первого взгляда. Беспольной для нас оказывается и критика Джеймсом атомизма в трактовке опыта, ибо явно не признает важности того, что мы назвали организацией (Гл. V). В некотором смысле, а именно, в чисто логическом смысле, отношения можно рассматривать между всеми частями и фрагментами данного поля – если нас интересует такая возможность. Но такие общие отношения совершенно неспособны привести нас к пониманию, почему в данном случае конкретная установка (*attitude*) переживается как возникающая “по причине” присутствия столь же конкретного события или объекта в этом поле. В данной ситуации это почти всегда уникальное отношение. И тогда как это динамическое отношение действительно переживается, огромное множество формальных отношений, о которых упоминает Джеймс, обычно вообще остается за пределами непосредственного опыта. Более того, такие формальные отношения существуют, конечно, и между данной установкой и любым другим элементом в этом поле. При этих обстоятельствах

⁷⁶ Например, в некоторых диалогах Платона о характеристиках реального мира безошибочно прослеживается та же тенденция.

⁷⁷ *The Meaning of Truth*, Preface.

представляется более важным осознавать большую разницу между отношениями в этих двух значениях слова, чем делать упор на то, что их формальный тип может устанавливаться повсюду.

Справедливости ради следует упомянуть, что в некоторых местах Джеймс подходит к нашей проблеме с другой стороны, как в случае, когда он пишет о нашем “упорстве, с которым мы стремимся преодолеть ощущаемые препятствия, встречаемые на пути к ощущаемой нами цели, и достигаем ее или терпим крах”;⁷⁸ и еще: “субъект опыта ощущает стремление, препятствие, волю, напряжение, торжество победы или отказ от намерения точно так же, как он ощущает время, пространство, быстроту или интенсивность, движение, вес и цвет, боль и удовольствие, сложность или любые другие качества, которые характерны для данной ситуации”.⁷⁹ Это нечто совершенно непохожее на сеть формальных отношений, которые в равной степени распространяются по всему полю. Акцент не делается точно на том, что я пытался выделить; но нет никаких сомнений в том, что время от времени Уильям Джеймс испытывал сильное желание отвести непосредственно ощущаемой детерминации надлежащее место в описании опыта.⁸⁰

Когда мы обсуждали чисто сенсорную организацию, у нас не было особой возможности ввести понятие переживаемой детерминации, так как более простые эффекты сенсорной организации, в большинстве своем, почти не говорят нам о том, как они возникают. Я не утверждаю, что сенсорные поля лишены переживаемых каузальных связей. Например, перцептуальные ситуации, предъявляемые в виде рисунков, вероятно, содержат убедительные примеры таких динамических отношений, и то же самое можно сказать о многих перцептуальных ситуациях в обычной жизни (*ср.* Гл. VII). Тем не менее, остается верным, что наиболее интенсивные переживания такого рода происходят в тотальном поле и касаются динамических отношений между нашим “Я” и определенными объектами. В этих обстоятельствах представляется целесообразным ограничиться в дальнейшем обсуждении также каузальными отношениями, в которых одним из элементов является “Я”.

Получение непосредственного знания о детерминации, как оно описано в предыдущих разделах, можно еще назвать *инсайтом*. Когда я однажды употребил это выражение в описании интеллектуального поведения обезьян,⁸¹ с тех пор, похоже, не удалось полностью предотвратить досадное недоразумение. Как оказалось, иногда животные способны к достижениям, которых мы не ожидали от существ, стоящих в своем развитии ниже человеческого уровня. Тогда и было заявлено, что такие достижения очевидно связаны с

⁷⁸ *Some Problems of Philosophy*, p. 213.

⁷⁹ *A Pluralistic Universe*, p. 376.

⁸⁰ Со времен Джеймса аналогичные взгляды отстаивали несколько авторов, чьи имена можно найти в библиографии, приведенной в конце этой главы.

⁸¹ *The Mentality of Ape*, 1925.

инсайтом. Видимо, некоторые читатели истолковали эту формулировку так, как если бы речь шла о загадочной психической силе или способности, которая отвечает за поведение обезьян. Вообще-то, когда я писал отчет о своих экспериментах, ничего подобного не подразумевалось. Остается надеяться, что сейчас такого недопонимания не возникнет. Тогда понятие инсайта было умышленно введено на основе совершенно обычных и простых фактов. Это понятие никак не связано вопросом об изобретениях или о других выдающихся интеллектуальных достижениях и используется, безотносительно к умственной способности, в строго описательной манере. Я не стану отрицать, что с философской точки зрения есть существенная разница в том, может ли детерминация определенных переживаний переживаться сама по себе или нет. Но на данный момент, как мне кажется, важнее полностью разобраться в сути этого понятия как такового, чем пытаться сразу полностью осознать такие дополнительные следствия. Я также постарался сделать ясным, что термин инсайт, взятый в его основном смысле, относится к переживаемой динамике в эмоциональном и мотивационном полях не меньше, чем к переживаемой детерминации в интеллектуальных ситуациях.

Несколько раз я отмечал, что в обыденном опыте нет ничего более очевидного, чем инсайт, т. е. осознание детерминации, как оно описано в этой главе. Вряд ли найдется хотя бы одно поле, у которого полностью отсутствует эта характеристика. И все же среди психологов лишь небольшое меньшинство, похоже, в полной мере осознает, что это одно из самых важных психологических понятий. Правда, многие в своей речи употребляют выражения, которые подразумевают, что инсайт происходит в головах их испытуемых или в их собственном опыте. Однако возможно, что это происходит только потому, что убеждение обывателя воплощено в определенных речевых оборотах, которые авторы употребляют без ясного осознания импликаций. В результате, понятие инсайта не встречается среди понятий, которые они фактически используют в своих теориях. Ибо пользоваться обыденным языком – еще не значит видеть, как много подлинной, качественной психологии этот язык содержит. Есть и те, для кого данный Юмом анализ опыта и концепции девятнадцатого века представляют собой ограничительные рамки, которые никогда не будут серьезно затронуты дальнейшими событиями. В их глазах, содержание этой главы должно, конечно, выглядеть чистым мистицизмом. Предположим, что представитель этой группы едет в автобусе, в котором ему приходится стоять, потому что там много народа. В какой-то момент крупный мужчина, решив устроиться поудобнее, наступает на ноги нашему юмисту. В принципе, у юмиста не было бы возможности решить, что стало причиной испытываемого им гнева – красивое лицо девушки в автобусе или поведение мужчины. Он мог бы выяснить это путем экспериментирования и индукции или, возможно, благодаря тому, что научился правильно связывать такие вещи в прошлом. В любом случае, если его теоретические убеждения верны, он не смог бы дать себе ответ без таких косвенных доказательств.

Принадлежат ли бихевиористы к этой группе? Скорее всего, они бы отказались от зачисления в любую из групп, потому что пока наша проблема ограничивается областью

переживаний, которые они вообще отказываются принимать во внимание. Но, на самом деле, это и не важно. То, что бихевиористы называют научной процедурой, при всех обстоятельствах представляет собой индуктивный метод, который только и признается строгими юмистами.

Впрочем, наше обсуждение может быть перенесено из области опыта в область физиологии мозга. Вспомним, что в главе II мы решили использовать опыт как индикатор процессов, которые выступают в роли посредников между внешними условиями и внешним (доступным наблюдению) поведением организма. Эта процедура основывалась на принципе изоморфизма, т. е. на утверждении, что наши переживания и процессы, лежащие в основе этих переживаний, имеют одинаковую структуру. Так, мы предполагали, что когда зрительное поле демонстрирует нам вещь как обособленную данность, соответствующий процесс в головном мозге до известной степени отделяется от окружающих процессов. В другой главе мы пришли к заключению, что ради сохранения согласованности мы должны постулировать определенные мозговые процессы, которые лежат в основе нашего переживания “Я” в его различных состояниях. Тогда, так же как в нашем опыте “Я” окружено объектами, так и процессы, которые соответствуют “Я”, должны происходить среди процессов, которые являются коррелятами этих объектов. Но к переживаниям окружающих нас объектов и нашего “Я” в его различных состояниях добавляются еще переживания психологической каузации, благодаря которым состояния “Я” ощущаются нами как детерминированные частями нашего окружения, а иногда и события в этом окружении воспринимаются как вызванные активностью нашего “Я”. С нашей точки зрения, есть только один путь, следуя которым можно отобразить в головном мозге такие факты переживаемой детерминации: мы должны использовать то, что в естественных науках называют *физикой поля*. Другими словами, когда мы чувствуем, что это именно мы реагируем на характеристики определенного объекта, то в головном мозге процессы, лежащие в основе переживаемого нами “Я”, должны подвергаться влиянию процессов, которые соответствуют данному объекту. Более конкретно, специфические характеристики процессов, соответствующих объекту, должны каким-то образом быть представлены в той области, где происходят процессы, лежащие в основе “Я”, и под влиянием этого “поля” процессы, соответствующие “Я”, должны изменяться в том или ином отношении. И наоборот, определенная установка “Я” в отношении объекта должна иметь физиологический эквивалент, который распространяет свое действие до места, где этот объект представлен физиологически, так что процесс, соответствующий объекту, может изменяться под влиянием поля “Я”. В первом случае измененное состояние “Я” не будет существовать независимо; скорее, оно будет устанавливаться и поддерживаться полем объекта. В последнем случае то же самое касается изменения объекта, которое будет вызываться и поддерживаться полем “Я”. Если мы уверены, что основные функциональные понятия физики применимы к динамике мозга, то такой взгляд на ситуацию представляет собой простейший путь, идя по которому мы можем осуществить наши надежды.

Чтобы прояснить этот момент, я вернусь к одному из наших прежних примеров. Когда в жаркий день я наслаждаюсь прохладительным напитком, испытываемое мной удовольствие относится к вкусу напитка и утолению моей жажды, а не к пауку на стене, не к размеру кресла передо мной и не к множеству других вещей в моем окружении. В головном мозге, особенно в той его части, где происходят определенные “Я-процессы” (self-processes), при этих условиях имеет место специфический процесс **B**, лежащий в основе моего переживания жажды. Теперь, когда я начинаю пить, другой процесс **A**, который соответствует прохладе и вкусу напитка, развивается именно в той части мозга, где раньше происходил только процесс, соответствующий моей жажде. С точки зрения предлагаемой теории, **A** сразу же начинает оказывать влияние на **B**, – влияние, которое зависит от характеристик **A** в их отношении к характеристикам **B**. Изменение, которое таким образом устанавливается, ощущается как удовольствие. Это изменение, я полагаю, столь же непосредственно определяется процессом **A**, как температура поверхности определяется падающими на нее лучами света или как оживление гаснущего огня определяется новым поступлением кислорода. Другими словами, вкус напитка и мое удовольствие не переживаются как отдельные факты: в моем опыте удовольствие вызвано вкусом напитка, потому что соответствующие процессы в головном мозге находятся именно в такой причинно-следственной связи. Инсайт, как он здесь определяется, является не более чем выражением этого факта. Естественно, такая же интерпретация должна быть дана и в тех случаях, когда, наоборот, возникает ощущение, что объект изменяется из-за определенной установки “Я”.

В своей первой формулировке наша теория выглядит настолько простой, что может показаться банальной. Но это впечатление исчезает, как только мы вспоминаем, как пришлось бы объяснять ту же ситуацию на основе ныне принятых представлений. Вновь механистическая и динамическая теории выглядят резко контрастирующими. Ни в рефлексах, ни в условных реакциях, ни даже в ассоциациях (как они обычно понимаются) качественные характеристики процесса не имеют никакого влияния за пределами локуса этого процесса. Воздействие событий в одной части мозга на ситуацию в других его частях всегда осуществляется через посредство проводящих (в достаточной степени) путей. Возникает первый процесс **A** как таковой, затем происходит передача нервных импульсов по определенным путям как второе событие и, наконец, осуществляется влияние в локусе **B** – третье событие, которое вызывается этими импульсами, а не особым характером **A**. При том же **A** в качестве начальной точки, если случилось бы так, что другой путь оказался более хорошим проводником, то был бы запущен другой процесс **C**, а не **B**. Появление **A** влияет на **B** только вследствие исторических условий, сложившихся к тому времени, когда **A** становится активным. Предположим, что мы могли бы немного изменить расположение нервных волокон. Возможно, если бы это было сделано по-настоящему, холодный напиток вызвал бы тогда у испытывающего жажду человека отвращение и гнев.

Возможно, что эта физиологическая интерпретация никогда эксплицитно не формулировалась. В таком случае это следовало бы сделать давно, потому что никакая другая

интерпретация не может быть дана исходя из тех понятий, которые в настоящее время широко приняты в неврологии и психологии. Почему теория прямого действия поля никогда не рассматривается? Почему, раз уж мы предпочитаем иметь дело с психологическими терминами, инсайт как фундаментальный и банальный факт психической жизни упоминается только несколькими психологами? Почему мы обсуждаем всевозможные психологические проблемы так, как будто механистические понятия являются единственными приемлемыми в науке понятиями? Я всего лишь обрисовываю последствия этой ситуации. Чем острее мы противопоставляем механистическую теорию и теорию поля, тем больше мы можем рассчитывать на прогресс нашей науки.⁸²

Я не могу считать сколько-нибудь полным описание некоторых переживаний в тотальном поле, которое мы дали к настоящему времени. Это, конечно, верно, что эмоциональные реакции обычно привязываются к их причинам именно таким образом. Но сами наши примеры говорят нам о том, что в них содержится больше, чем только эмоции. Возьмите раздражение, которое через какое-то время охватывает мужчину, сидящего в переполненном, шумном ресторане. Он не только испытывает нерасположение к своему окружению, но и сильное желание уйти. Другими словами, он хочет отстраниться от того, что, как он чувствует, является причиной его беспокойства. Более того, в его переживании этот импульс к определенному действию вытекает из данной ситуации так же непосредственно, как и его неудовольствие. Таким образом, этот мужчина непосредственно (путем инсайта) “усматривает” причинно-следственные отношения и в эмоциональной, и в мотивационной сфере.

Наша жизнь полна тривиальных примеров такого рода; но столь же очевидно, что импульсы к самым важным действиям также могут возникать похожим путем, который мы способны полностью понять. “Как” и “Почему” таких действий часто не более скрыты, чем причины возникновения наших чувств. Здесь я рассмотрю только примеры, которые относятся к более простому виду.

Прекрасным утром я сижу вполне себе довольный под ярко сияющим солнцем. Но через некоторое время я чувствую, что становится слишком жарко, и одновременно возникает

⁸² Интерпретация инсайта с точки зрения действия поля вступает в противоречие не только с современными неврологическими представлениями. Она также наводит на мысль, что некоторые положения, широко поддерживаемые философами науки, не могут быть полностью правильными. По мнению этих авторов, все понятия в науке, подразумевающие каузальность, являются лишь вспомогательными понятиями и не должны использоваться в строго эмпирическом описании физического мира. Наблюдения в физике, говорят эти авторы, не дают опыта (experience), соответствующего причинно-следственной связи. Если бы это было так, то понятиям “сила” и “поле” в науке отводилось бы только роль удобных математических инструментов, и как следствие мы не могли бы коррелировать наш опыт прямой внутренней детерминации с действием поля в головном мозге. При обсуждении этой проблемы мы должны понимать, что ученые на самом деле не опровергают причинные связи в физике; они всего лишь утверждают, что наблюдение в том виде, как оно сейчас используется в естественных науках, никогда не является наблюдением причинно-следственной связи как таковой. Иначе говоря, что касается науки, понятия причинности, силы и поля остаются пока недостаточно четко определенными, из чего следует, что любые эмпирические данные иного рода могут помочь в придании таким понятиям ясного смысла.

стремление уйти с этого места. Местечко в тени дерева по соседству выглядит приятным; и сразу же импульс уйти с открытого для солнечных лучей места превращается в стремление укрыться в тени дерева. Так же, как сначала особенности одного места побудили меня удалиться от него, так теперь особенности другого места вызывают побуждение приблизиться к нему. В обоих случаях имеет место инсайт: мы чувствуем, как в первом случае из особенностей данной ситуации развивается определенная тенденция, а затем, как другая часть поля дополнительно определяет направление импульса. Читателю не стоит забывать, что для нашей нынешней проблемы совершенно не имеет значения, известны ли нам тепловые характеристики тени благодаря предыдущему научению или мы узнаем о них более прямым способом.⁸³

Подобное описание можно дать и в случае испуга. Когда мы чувствуем, что неожиданное событие явилось причиной нашего испуга, одновременно возникает очень сильное побуждение отдалиться от этого события. И снова это стремление увеличить расстояние между пугающим событием и нашим “Я” переживается как прямое последствие этого события, так же как и сам страх. Ранее мы отмечали, как в описании Уотсоном поведения ребенка явный акт отдергивания руки от необычного объекта является не только данностью в поле зрения наблюдателя, но и картиной того, что происходит в собственном опыте ребенка.⁸⁴ Неужели кто-то считает, что ребенок переживает свой страх перед объектом и побуждение отдернуть руку как два несвязанных факта опыта? Или что, испытывая страх, ребенок мог бы в равной мере испытывать побуждение обнять или проглотить тревожащий объект? Юмист бы был вынужден настаивать на том, что дело обстоит именно так. По поводу того, что в этом примере объект стал пугающим только благодаря предыдущему научению, я еще раз замечу, что то, каким образом определенная характеристика становится частью поля, не имеет никакого отношения к той роли, которую она играет в этом поле (ср. с. 169–170).

Точно так же, как побуждение уйти или отдалиться непосредственно возникает у нас в определенных ситуациях, противоположное стремление ощущается нами как адекватное в других ситуациях. Выше я упомянул случай, когда тень привлекает человека, который в течение некоторого времени подвергался воздействию жаркого солнца. Подобные случаи столь часты, что приводить конкретные примеры представляется излишним. Ребенок,

⁸³ Я не забываю, что относящиеся к низшим уровням возбуждаемые части нашего организма демонстрируют реакции, которые до известной степени похожи на описанные здесь реакции, и все же относятся к движениям рефлекторного типа. Под воздействием укола нога отдернется благодаря рефлексу. Но из таких фактов не может быть выведено никаких возражений против нашего описания других фактов. В каких-то своих отправлениях организм, несомненно, напоминает самую настоящую машину; в то же время в других, а именно в тех, в которых участвует “Я”, переживаемая каузация и соответствующая полевая динамика могут играть решающую роль. Нет причин, по которым оба вида функций не должны выполняться в одной и той же системе.

⁸⁴ Кстати, здесь у нас есть пример организованных событий в *перцепции*, которые говорят нам кое-что о причинно-следственной связи между определенными частями поля (ср. с. 171). По крайней мере, отнесение отдергивания руки к конкретному объекту было очевидным в наблюдении Уотсона.

которого Уотсон видел тянущимся к голове животного, несомненно, чувствовал себя “привлеченным” этим интересным объектом. Когда в Испании тореадор действует на арене особенно искусно и смело, восхищение толпы часто заставляет зрителей настолько сильно устремляться в направлении своего героя, что, не имея возможности самим выйти на арену, они наклоняются вперед и тянутся к нему, чтобы стать как можно ближе. Иногда напряжение становится настолько большим, что шляпы, носовые платки и т. п. летят вниз в направлении импульса. Была ли у этих людей привычка связывать с восхищением приближение, а не другие тенденции, выработана постепенно – подобно тому, как гримаса недовольства или постукивание левой ногой могли бы быть с таким же успехом сочетаны с восхищением путем соответствующего обусловливания? Иногда я с особой остротой чувствую, что независимо от того, являемся ли мы интроспекционистами, бихевиористами или кем-то еще, главная разделительная линия в сообществе современных психологов прошла бы, скорее всего, так: по одну сторону оказались бы признающие непосредственную детерминацию, как она объясняется в этой главе, а по другую – допускающие только “связи” в том смысле, который вкладывается в этот термин механистической теорией.

В качестве последнего примера я возьму простую практическую ситуацию. Допустим, зачем-то я хочу сломать деревянную доску. Я надавливаю на нее, и одновременно с ощущением сопротивления доски моему усилию я также вижу и чувствую, как доска поддается в направлении оказываемого на нее давления. Неужели мы действительно должны верить Юму, когда он утверждает, что в моем опыте податливость доски так же не связана с моим усилием, как ее цвет или, к примеру, движение облака? На самом деле я чувствую, как доска уступает моему давлению на нее так же, как я чувствую себя уступающим, когда мой друг и я меряемся силой на руках, – и я проигрываю схватку. Кроме того, как только доска начинает поддаваться, я сразу же стремлюсь усилить давление, и опять эта новая тенденция переживается как следствие изменения сопротивления доски.

В чем общий смысл этих примеров? В опыте нам открываются не только формальные отношения между определенными фактами или событиями в нашем окружении и нашими реакциями на них, но и конкретные причинно-следственные связи между ними. Попробуйте представить себе, что следующее происходило в виде простой последовательности: во-первых, я испытываю дискомфорт рядом с горячим радиатором (но я не знаю, пока постепенно не научусь этому, что мой дискомфорт относится к жаре); во-вторых, как следующее переживание, совершенно не связанное с первым, я ощущаю побуждение переместиться в определенном направлении (но я не знаю, пока не научусь, что это направление означает “подальше от жары”); и, в-третьих, опять же, как отдельный, несвязанный с предыдущими переживаниями факт, я обнаруживаю, что перемещаюсь в направлении, соответствующим увеличению расстояния между радиатором и мной (хотя я не знаю, пока не научусь, что направление этого движения имеет какое-либо отношение к тому объекту или к тому побуждению, которые переживались минуту назад). Я нахожу почти невозможным перечислить эти факты опыта так, чтобы каузальные референции полностью

отсутствовали, как если бы юмисты были правы. Человеческий язык с его импликациями и референциями, которые все время направляют нас от одного слова или предложения к другому, должен быть самым раздражающим инструментом для любого последователя Дэвида Юма. Когда мы читаем слова предыдущих предложений, инсайт образуется сразу, как бы мы не пытались предотвратить его вторжение. То, что я хочу донести до читателя, это, конечно же, то, что согласно Юму ни одно переживание не может требовать появления другого переживания. И все же, похоже, что некоторые переживания делают именно это, причем всегда.

Теперь, когда понятие инсайта было применено к переживаемым моторным тенденциям и к реальным движениям и действиям, я еще раз вернусь к функциональным понятиям, которые преобладают в наше время, и тем самым попытаюсь сделать динамическую, или полевую, теорию более ясной по контрасту с ними. Рассмотрим механистическую теорию в ее самой строгой разновидности. Согласно этой теории, последовательность “ощущение жары – ощущение стремления двигаться в определенном направлении – фактическое движение в этом направлении” вызвана тем, как центры головного мозга соединяются проводящими путями. Ощущение жары имеет кортикальный коррелят где-то в мозге. Из этого места особенно хорошо проводящие волокна ведут в другое место, возбуждение которого сопровождается стремлением двигаться в определенном направлении. Это место опять-таки связывается высокопроводящими нервными волокнами с еще одним местом, в котором начинаются реально действующие иннервации определенных мышц. Эволюция проделала замечательную работу по установлению этих нервных связей. Они таковы, что на самом деле второе звено в цепи – это тенденция удалиться от жаркого места, а не презрительно ухмыляться или размахивать руками. Подобным же образом оказывается надлежаще устроенной и связь с правильным центром иннервации. Ибо эта связь действительно заставляет нас в течение какого-то времени удалиться от жары, тогда как при других связях мы могли бы в той же ситуации начать хохотать или шлепать себя по лбу. В результате нашего действия мы, безусловно, испытываем удовлетворение. Но и оно тоже является делом соединительных путей, которые гарантируют, что приведен в действие будет мозговой центр, отвечающий за чувство облегчения, а не, к примеру, за чувство отчаяния. Как бы то ни было, если бы эта интерпретация человеческих действий была правильной, мы никогда не смогли бы понять ни одну из последовательностей, которые происходят в нашей жизни. Например, если в одной и той же ситуации, но при разных связях, за ощущением сильной жары последовало бы сильное желание ущипнуть себя за нос, вслед за ним – быстрое перемещение к источнику тепла, а после этого – любое чувство любого рода, такая последовательность была бы столь же разумно объяснимой, как и реальная последовательность. Ибо последняя также была бы *простой* последовательностью, к которой такие термины, как понимание или инсайт, никогда не могут быть применены. Как они могут быть применены, когда в этой схеме отсутствует первая предпосылка понимания? Эта первая предпосылка – непосредственное участие природы первых фактов в детерминации

последующих фактов, иными словами, динамическая или полевая детерминация последовательностей, а не определение их геометрией соединительных путей.

После сказанного выше вряд ли надо возвращаться к тезису, объясняющему такие последовательности посредством образования вторичных связей, т. е. ассоциаций и условных реакций. Согласно ассоцианистам, ассоциации образуются вслепую, в том смысле, что природа данных событий не оказывает никакого влияния на их ассоциацию. Более того, как только ассоциация образована, соответствующее воспоминание, как предполагают ассоцианисты, должно опять-таки быть делом высокопроводящих путей, так же как и последовательность рефлексов. В результате все, что только что было сказано о последовательности рефлексов, остается в силе для объяснений на основе ассоциаций или условных реакций. В поведении любую последовательность можно было бы установить с тем же успехом, как и реальную последовательность, при условии многократного повторения подходящей объективной последовательности. Исход этого процесса снова зависел бы только от проводимости путей. Таким образом, термины “понимание” и “инсайт” опять оказались бы неприменимыми.⁸⁵

Наша следующая задача – дать нашу собственную интерпретацию таких последовательностей. Мы предложили физиологическую интерпретацию того, каким образом переживаемые эмоциональные состояния относятся нами к их переживаемым причинам. Эта интерпретация теперь будет усилена, с тем чтобы включать наши моторные тенденции и последующие реальные движения и действия.

Положительное или отрицательное эмоциональное состояние, как уже говорилось, ощущается как последствие характерного факта, так как физиологический коррелят данной эмоции напрямую вызывается процессами, которые репрезентируют этот факт. Так, в нашем примере дискомфорт человека ощущается им как вызванный чрезмерной жарой, потому что кортикальный коррелят теплового опыта изменяет состояние определенных частей мозга в таком отношении, которое, в переживании, означает дискомфорт. Однако стремление удалиться от источника тепла воспринимается как вызванное жарой столь же непосредственно, как и чувство дискомфорта. Следовательно, мы должны снова дать интерпретацию с точки зрения действия физиологического поля. Другими словами, процесс, лежащий в основе чувства дискомфорта, – это не только прямой эффект жары, как она репрезентирована в головном мозге, а вектор, развивающийся одновременно и не менее

⁸⁵ Примерно в то время, когда было готово первое издание этой книги, профессор Торндайк модифицировал понятие ассоциации, а потом распространил эту модификацию на “закон эффекта”. Закон эффекта гласит, что биологически выгодные эффекты движений усиливают связи, действие которых привело к этим движениям, а значит и к этим эффектам. В первоначальной формулировке закона эффекта неявно предполагалось, что любые последовательности, независимо от их природы, укреплялись таким образом, если только приводили к биологически благоприятному результату. Согласно новому взгляду, к которому пришел тогда профессор Торндайк, “принадлежность” (“belonging”) данных событий облегчает их связь. Является ли “принадлежность” фактом, который зависит от характеристик рассматриваемых событий, и поэтому способна обеспечить нам инсайт? Дело обстоит не так. Если мы последуем за Торндайком, “принадлежность” должна оказаться не более чем переживанием того, что первое событие “сопровождается” вторым событием.

непосредственно. Этот вектор распространяется от процессов, репрезентирующих жару (и ее источник), к той части мозга, в которой создается коррелят дискомфорта, и его направление действия – стремиться увеличить расстояние между ними. Если теперь субъект действительно удаляется от источника тепла, что происходит в мозгу? По мере увеличения объективного расстояния увеличивается и соответствующее расстояние в головном мозге, что является именно тем изменением, которое подразумевается в направлении вектора, как оно задано моментом раньше. Нетрудно увидеть, что в этой интерпретации мы снова следуем принципу изоморфизма. Ибо, в опыте, фактическое движение ощущается в согласии с побуждением к движению, которое сопровождало дискомфорт; т. е. человек, о котором идет речь, имеет инсайт относительно связи между его стремлением двигаться в определенном направлении и его фактическим движением.

Я готов признать, что эти замечания далеки от полного объяснения обсуждаемых фактов. Даже если отбросить вопрос о точной природе вектора, который действует при таких обстоятельствах, мы не объяснили, почему наличие такого вектора в головном мозге имеет тенденцию сопровождаться движениями, соответствующими направлению вектора. Похоже, что в первые месяцы после рождения ребенок не способен тотчас же выполнять такие движения, которые соответствовали бы его заинтересованности конкретными объектами. Поэтому мы должны спросить себя, как постепенно достигается соответствие между переживаемыми тенденциями (или соответствующими физическими векторами в мозге) и реальными движениями. Кто-то сочтет, что между этими двумя фактами нет никакой естественной связи, или, другими словами, что первоначально за любым тенденциями (и соответствующими векторами в мозге) могут следовать любые мыслимые движения конечностей. Если бы это было так, все правильные последовательности движений пришлось бы заучивать полностью и без исключения. Другое предположение состоит в том, что направление реальных движений имеет тенденцию совпадать с направлением переживаемых двигательных побуждений (или соответствующих кортикальных векторов); и что в раннем детстве этого согласования пока еще нет просто потому, что к этому времени не завершено созревание нервной системы. Некоторые наблюдения говорят в пользу второго, а не первого предположения. Несмотря на это, в настоящее время мы, видимо, не можем сказать, как направление кортикального вектора придает соответствующее направление фактическому движению, – что нам надо было бы сделать, если бы второе предположение было правильным.

Очевидно, одна из главных задач теории поля – найти правильный ответ на этот вопрос. В то же время необходимо подчеркнуть, что даже если правильные движения приходилось бы заучивать, это научение все равно происходило бы под влиянием заданных кортикальных векторов. Среди всех движений, которые могли бы произойти в той или иной ситуации, те, которые имеют определенное направление, оказались бы выделенными благодаря тому, что их появление соответствует направлению преобладающего вектора. По этой причине только такие конкретные движения приводили бы к уменьшению напряжения,

которое в то время имеет место в головном мозге. Можно ожидать, что этот факт имеет существенное влияние на процесс научения. Но, повторяю, мы пока не убеждены в том, что именно научение и только оно одно устанавливает правильные отношения между ситуациями, векторами и движениями. При рассмотрении этого вопроса, как, впрочем, и при обсуждении многих других, кажется, что естественная судьба гештальтпсихологии – стать гештальтбиологией.

БИБЛИОГРАФИЯ

Глава I

W. S. Hunter: *Human Behavior*. 1928.

K. Koffka: *The Growth of the Mind*. 1924. Second edition, 1928.

J. B. Watson: in *Psychologies of 1925* (Ed. by C. Murchison).

A. P. Weiss: *A Theoretical Basis of Human Behavior*. 1925.

Глава II

K. Koffka: *Principles of Gestalt Psychology*. 1935.

W. Köhler: *Dynamics in Psychology*. 1940.

W. Köhler: “Die Methoden der psychologischen Forschung beim Affen”. *Abderhaldens Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden*, VI, D. 1921.

W. Köhler: *The Place of Value in a World of Facts* (Ch. IV). 1938.

Глава III

M. Bentley: *The Field of Psychology*. 1924.

D. Katz: *The World of Color*. 1935.

K. Koffka: "Gestalt Psychology". *Psychol. Bull.*, 19, 1922.

K. Koffka: *The Growth of the Mind*. 1928.

K. Koffka: *Principles of Gestalt Psychology*. 1935.

W. Köhler: "Akustische Untersuchungen III". *Zeitschr. f. Psychol.*, 72, 1915.

W. Köhler: "Über unbemerkte Empfindungen und Urteilstäuschungen". *Zeitschr. f. Psychol.*, 63, 1913.

Глава IV

K. Koffka: *The Growth of the Mind*. 1924.

W. Köhler: *Gestaltprobleme und Anfänge einer Gestalttheorie*. 1924.

W. Köhler: "Komplextheorie und Gestalttheorie". *Psychol. Forsch.* 6, 1925.

W. Köhler: *Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand*. 1920

W. Köhler: *The Place of Value in a World of Facts* (Ch. VIII). 1938.

W. Köhler: "Zur Theorie der Regulation". *Arch. f. Entwicklungsmech*, 112, 1927.

M. Wertheimer: *Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie*. 1925.

M. Wertheimer: "Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt, I". *Psychol. Forsch.*, 1, 1921.

Глава V

W. Köhler: "Bemerkungen zur Gestalttheorie". *Psychol. Forsch.*, 11, 1928.

W. Köhler: "Komplextheorie und Gestalttheorie". *Psychol. Forsch.*, 6, 1925.

W. Köhler: *Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand*. 1920

W. Köhler: *in Psychologies of 1925* (Ed. by C. Murchison).

M. Wertheimer: "Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt, II". *Psychol. Forsch.*, 4, 1923.

Глава VI

E. von Hornbostel: *Festschrift Meinhof*. 1927.

L. Klages: *Vom Wesen des Bewusstseins*. 1921.

W. Köhler: *Die Methoden der psychologischen Forschung an Affen* (Cf. Ch. II).

W. Köhler: *The Place of Value in a World of Facts* (Ch. IV). 1938.

Глава VII

W. Köhler: *Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand*. 1920

W. Köhler: *Psychol. Forsch.*, 4, 1924.

E. Rubin: *Visuell wahrgenommene Figuren*. 1921.

W. Sander: *Ber. ü. d. 9. Kongress f. exper. Psychologie*. 1927.

M. Wertheimer: "Gestalt Theory". *Social Research*, 11, 1944.

M. Wertheimer: *Psychol. Forsch.*, 4, 1924.

Глава VIII

M. Bentley: *The Field of Psychology*. 1924.

G. Katona: *Organizing and Memorizing*. 1940.

K. Koffka: *The Growth of the Mind*. 1924.

R. M. Ogden: *Psychology and Education*. 1926.

O. Selz: *Die Gesetze des geordneten Denkverlaufs*. 1913.

J. van der Veldt: *L'Apprentissage du mouvement et l'automatisme*. 1928.

Глава IX

E. Becher: *Gehirn und Seele*. 1911.

W. Köhler: *Dynamics in Psychology* (Ch. III). 1940.

J. von Kries: *Die materiellen Grundlagen der Bewusstseinserscheinungen*. 1901.

K. Lewin: *Psychol. Forsch.*, 1 and 2, 1921, 1922.

K. Lewin: *Vorsatz, Wille und Bedürfnis*. 1926.

W. Poppelreuter: *Zeitschr. f. Psychol.*, 61, 1912,

Глава X

W. Benary: *Psychol Forsch.*, 2, 1922.

W. Dilthey: *Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie*. 1894.

K. Duncker: *The Pedagog. Sem.*, 23, 1926.

K. Duncker: "On Problem Solving". *Psychol. Mon.*, 58 (5), 1945.

T. Erisman: *Die Eigenart des Geistigen*. 1924.

K. Jaspers: *Psychopathologie*. 1921.

K. Koffka: *The Growth of the Mind*. 1924.

K. Koffka: *Psychol. Forsch.*, 9, 1927.

W. Köhler: *Arch. f. Entw. Mech.* 1927.

W. Kohler: *Mentality of Apes*. 1925.

W. Köhler: *Die Methoden der psychologischen Forschung an Affen*. 1922 (Cf. Ch. II).

W. Köhler: *The Place of Value in a World of Facts*. 1938.

K. Lewin: *Vorsatz, Wille und Bedürfnis*. 1927.

M. Wertheimer: *Productive Thinking*. 1945.

M. Wertheimer: *Schlussprozesse im produktiven Denken*. 1920.

A. N. Whitehead: *Science and the Modern World*. 1925. New York: New American Library (Mentor Books, No. MD-162). 1948.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

- ГЛАВА I. ОБСУЖДЕНИЕ БИХЕВИОРИЗМА
- ГЛАВА II. ПСИХОЛОГИЯ КАК МОЛОДАЯ НАУКА
- ГЛАВА III. КРИТИКА ИНТРОСПЕКЦИИ
- ГЛАВА IV. ДИНАМИКА В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕХАНИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
- ГЛАВА V. СЕНСОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
- ГЛАВА VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ДАННОСТЕЙ
- ГЛАВА VII. ПОВЕДЕНИЕ

- ГЛАВА VIII. АССОЦИАЦИЯ
- ГЛАВА IX. ВСПОМИНАНИЕ
- ГЛАВА X. ИНСАЙТ